This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

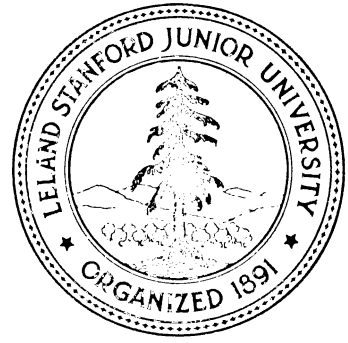
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

№ 125

Occ. II. 5
Mic-# 3292.



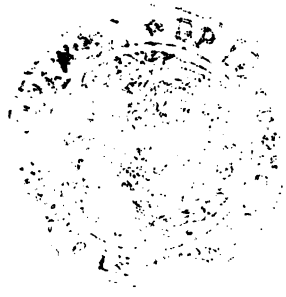
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Y vols
10/21
K/66
K/59
I
XXII a/4
125

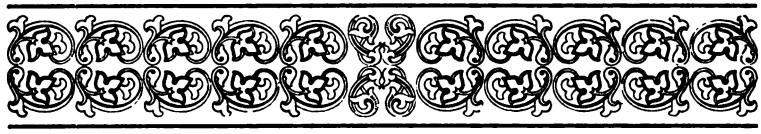
К/66

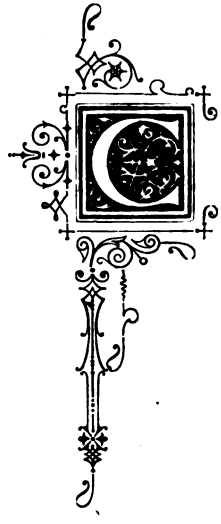
I
135

ПОВѢСТИ, СКАЗКИ И РАЗСКАЗЫ.



Vagner, N. P.





Повѣсти и Сказки

и

Разсказы

Кота-Мурлыки.

Томъ первый.

I. Слово.—II. Въ потьмахъ.—III. Князь Костя.—IV. Дѣвъ стѣнки.
V. Мирра.—VI. Собаки и люди.—VII. [illegible]

С.-Петербургъ.

1890.

PG 3470
V2
v. 1

B47528

Инв. № II, 635

ПРОВ. 1977 г.

СЛОВО.

Старый наборщикъ, глухой отъ паралича, нѣмой отъ рожденья, набралъ пять буквъ и составилось: «Слово».

Эти буквы лежали одна отъ другой далеко, въ ящикахъ кассы, лежали по алфавиту, въ которомъ не было мысли, лежали какъ мертвыя буквы, но наборщикъ сложилъ ихъ, не понимая, не думая, какъ природа—и въ буквахъ явилась жизнь, и эта жизнь выразила «Слово».

Откуда оно явилось? Что въ немъ за сила? Что давило ее въ прошедшемъ? Что сулитъ она въ будущемъ?

Что было за дѣло до всѣхъ этихъ вопросовъ старому наборщику! Онъ не говорилъ ни слова, онъ не слышалъ словъ, онъ не понималъ ихъ жизни, потому что всѣхъ силъ его только доставало на то, чтобы не умереть съ голоду, и онъ жилъ и работалъ какъ мертвая буква.

Но имѣющіе уши, чтобъ слышать, будутъ слушать слово, чтобы не жить на свѣтѣ, какъ мертвая буква.

Оно родилось раньше мысли и чувства, родилось потому что воздухъ могъ дрожать и нервы слуха чувствовать это дрожаніе.

Оно родилось какъ музыка чувствъ, та музыка, которая такъ чутко говоритъ нашему сердцу. Оно прозвучало въ устахъ ребенка и въ этомъ звукѣ откликнулась неразрывная связь прошедшаго съ будущимъ, матери съ сыномъ.

И если въ этой связи прозвучала любовь, то и она родилась, какъ и слово, изъ воздуха и свѣта, и родилась

вмѣстѣ съ ними въ томъ безграничномъ мірѣ, который зовутъ мірозданіемъ.

И великія дѣла совершали любовь и слово. Они скрѣпляли народы въ одну семью, они связывали ихъ съ ихъ землей, съ ихъ родной колыбелью. Они сплотили великій народъ Іеговы, избавили его отъ плѣна и привели въ обѣтованную землю. И тамъ, на Голгофѣ, свершилось кровавое дѣло искупленія. На крестѣ Любовь воплотилась въ слово и полетѣло это слово по цѣлому міру и зазвучало истиной, свободой и любовью.

Но люди раздѣлили слово съ истиной и любовью—и стало слово мертвой буквой, и много слезъ и крови пролилось изъ-за этой буквы...

И вошелъ ядъ въ слово, и стало оно убивать людей смертью.

Широко разѣвалъ мѣдный левъ свою пасть на площади св. Марка и проглатывалъ ядовитое слово. А на другое утро находили мертвымъ того, кого оно убило, того, чье сердце, можетъ быть, дышало правдой и любовью.

«Слово и дѣло»! глухо говорилъ страшный призракъ въ бѣломъ саванѣ, бродя зимней ночью по пустыннымъ улицамъ большихъ городовъ. И тотчасъ же схватывали того, кто услыхалъ этотъ страшный призывъ, и въ рукахъ палача, въ мукахъ безчеловѣчныхъ, онъ говорилъ слово, которое не вязалось съ дѣломъ.

И съ тѣхъ поръ раздѣлились слово и дѣло. И чѣмъ болѣе росло, богатѣло, выигрывало слово, тѣмъ болѣе бѣднѣло, проигрывало дѣло.

Но была связь между словомъ и дѣломъ, и эту связь называли мыслью, той мыслью, которая всѣмъ должна управлять, потому что въ ней суть и сила правды. Но сковали мысль—и стало слово бездушнымъ звукомъ...

А время мчится, нарубая косой знаки, и по этимъ зна-

камъ люди узнаютъ, сколько они проплыли въ широкомъ морѣ развитія человѣческаго духа.

И свершится кругъ, и неизбѣжное станетъ настоящимъ.

Слово снова будетъ свободнымъ и соединится съ дѣломъ чтобы не быть мертвой буквой.

Оно сольется съ мыслью, и мысль получитъ новую силу, она станетъ живымъ словомъ.

И соединится оно съ чувствомъ, и ложь исчезнетъ, и всѣ народы проснутся отъ тяжелаго сна и подадутъ братски руки другъ другу—и тогда въ великомъ свободномъ словѣ прозвучитъ: человѣчность!

ВЪ ПОТЬМАХЪ.

(Сказка).

Въ городъ Айршингтонъ пріѣхалъ мистеръ Артингсонъ и городъ взволновался. Всѣ передавали другъ другу: «Вы слышали, слышали! пріѣхалъ Артингсонъ;—онъ здѣсь»!

Мѣстная газета крупнымъ шрифтомъ тотчасъ же напечатала:

Онъ здѣсь.

«Сегодняшняго числа совершилось замѣчательное событіе въ нашей городской хроникѣ. Мистеръ Артуръ Джонъ Артингсонъ, этотъ геніальный художникъ-писатель, поэтъ, музыкантъ, осчастливилъ нашъ городъ своимъ посѣщеніемъ».

Затѣмъ слѣдовала краткая и невѣрная біографія мистера Артингсона, въ которой все было если не искажено, то преувеличено. Статья заканчивалась слѣдующими словами: «онъ сказалъ:

Пусть геній человѣка
Для міра будетъ идеаломъ.

Мы можемъ сказать, что этотъ геній воплотился въ Артура Артингсона!»

Статья принесла редакціи чистаго дохода 3,000 дол-

ларовъ, а авторъ ея, онъ же и редакторъ, онъ же и предсѣдатель клуба «Движенья»,—толстенькій, веселый и юркій мистеръ Тоунсъ, только что дождавшись выхода первыхъ листковъ №, былъ уже съ ними въ клубѣ «Движенья», который какъ разъ находился противъ клуба «Твердости»,—клуба, возникшаго въ силу соперничества съ клубомъ «Движенья».

— «Почтенные собратья!» — ораторствовалъ мистеръ Тоунсъ въ клубѣ «Движенья»,—городъ долженъ что нибудь предпринять, что нибудь сдѣлать для нашего почтеннаго гостя, для нашего великаго, геніальнаго мистера Артингсона. Я предполагаю, что сегодня же слѣдуетъ устроить въ честь его митингъ, и я не отказываюсь, если позволите, произнести рѣчь на тему: только геніальные люди — суть истинные вожди всякаго движенья!»

— «Да! да! Мы согласны,—браво, браво!»—раздавались клики одобренія со стороны членовъ клуба...

— «Это тѣмъ болѣе необходимо,—продолжалъ мистеръ Тоунсъ, — что клубъ «Твердости» собирается также дать митингъ въ честь Артингсона; надо предупредить ихъ!..

— «Предупредить, предупредить!—заговорило собранье со всѣмъ жаромъ благородной конкуренціи...—Мы сейчасъ же отправимъ къ Артингсону депутатовъ; мы будемъ имѣть честь просить его сдѣлать намъ честь и явиться сегодня же въ семь часовъ на митингъ!.,»

И работа закипѣла. Тотчасъ же были выбраны депутаты, тотчасъ же они отправились къ Артингсону, тотчасъ же было составлено объявленіе, которое немедленно передано въ типографію и она набрала чуть не аршинными буквами и сейчасъ же оттиснула 50,000 экземпляровъ этого объявленія о чудовищномъ митингѣ, который устраиваетъ клубъ «Движенья» въ честь мистера Артингсона.

А, между тѣмъ, самъ мистеръ Артингсонъ вовсе не

подозрѣвалъ и не думалъ объ этой вознѣ, о всѣхъ хлопотахъ, которыя онъ причинилъ, или, вѣрнѣе говоря, о тѣхъ долларахъ, которые онъ доставитъ своей особой и клубу «Движенья», и лично его предсѣдателю мистеру Тоунсу. Онъ проснулся поздно, потому что съ вечера много работалъ и легъ утомленный. Онъ и всталъ тоже слегка утомленный. Сонъ скупо подкрѣпилъ его.

Не смотря на сорокъ два года, его можно было считать почти красавцемъ. Серебристая сѣдина, довольно сильно замѣтная, придавала какой-то особенный блескъ и живость его свѣтлорусымъ, длиннымъ кудрямъ. Онъ не носилъ ни усовъ, ни бороды, ни бакенбардъ, онъ говорилъ, что все это мѣшаетъ ему, связываетъ его лицо, заслоняетъ его черты. Онъ хотѣлъ быть откровеннымъ, вполнѣ откровеннымъ со всѣми, со всякимъ «меньшимъ братомъ своимъ»,— этотъ странный мистеръ Артингсонъ. Говорили, что лицо его напоминало портретъ Шиллера, но это лицо было красивѣе. Въ немъ не было германскаго склада, а былъ, если можно такъ выразиться, всемірный, всенаціональный типъ. Въ немъ правильность всѣхъ линій, правильность античная, соединялась съ красотой тѣхъ отношеній, которыя мы видимъ во всѣхъ умныхъ лицахъ. И въ особенности были хороши глаза его, задумчивые и ясные, немного грустные, открытые, блестящіе, какого-то неопредѣленнаго сѣро-голубаго цвѣта, съ темными лучистыми струйками вокругъ зрачковъ. И въ особенности хорошо было это лицо, когда Артингсонъ задумывался, когда вмѣстѣ съ этой думой наплывало, поднималось въ груди его сильное чувство и онъ вдругъ съ глубокимъ вздохомъ взмахивалъ головой, откидывалъ ее и вмѣстѣ съ этимъ отбрасывалъ назадъ всѣ его длинныя, свѣтлорусыя, серебристыя кудри, высоко поднимавшіяся надъ его высокимъ лбомъ. Онъ обрѣзалъ бы и эти кудри—они также мѣшали ему—но ихъ такъ любила его уже не молодая

жена, добрая Джелла. Любили ихъ и дѣти его, въ особенности младшая дочь, четырехлѣтняя Эмма, которая съ такою любовью гладила, перебирала и цѣловала эти мягкія, шелковистыя кудри

— Папа!—говорила она, — я люблю тебя, но я также люблю твои волосы—они такіе милые, мягкіе и добрые...

Депутація отъ клуба «Движенье» явилась къ мистеру Артингсону въ то самое время, когда онъ только что надѣлъ свое широкое сѣрое пальто, которое такъ свободно и стройно обрисовывало его высокую фигуру. Мистеръ Артингсонъ былъ слегка озадаченъ, удивленъ и даже непріятно пораженъ просьбой депутаціи. Онъ хотѣлъ сохранить инкогнито и вдругъ устраивается цѣлая овація, которую онъ не любилъ по принципу.

— Вы насъ обидите, вы жестоко обидите насъ серъ,— ораторствовалъ толстенькій мистеръ Тоунсъ, съ паѳосомъ потрясая въ воздухѣ его маленькой жирной ручкой...— Мы... то есть, весь городъ, все общество, хочетъ выразить вамъ глубокое, безконечное уваженіе; вы такъ много сдѣлали вашими чудными твореніями для цѣлаго округа, для цѣлой страны... Позвольте же, о! позвольте поблагодарить васъ, ибо «благодарность есть наслажденье человѣческаго духа», какъ вы сами сказали въ одномъ изъ вашихъ безсмертныхъ твореній!..

— Да, да! сэръ!... подтвердили другіе депутаты,—наши чувства... дайте намъ выразить наши чувства... дайте имъ свободу!..

И мистеръ Артингсонъ согласился дать свободу чувствамъ другихъ и жалъ руки со всей энергіей, и чуть не обнималъ депутатовъ, и только въ тайнѣ шепталъ: о велика та страна, гдѣ сознаются и цѣнятся всѣ широкія движенія, все, что можетъ сдѣлать слабый смертный для прогресса!.. И какъ только ушла депутація, разсчитывая все-таки, чтобы

клубъ былъ поддержанъ съ честью и съ самой большой денежной выгодой, только что самъ мистеръ Артингсонъ собрался уходить по дѣлу, по тому дѣлу о маленькомъ его имѣніи, которое привело его въ Айршинтонъ, какъ слуга отеля подалъ ему карточку съ надписью: миссъ Анна Драйлингъ.

Едва успѣлъ онъ прочесть это имя, какъ съ радостью бросился на встрѣчу миссъ Драйлингъ, въ свѣтлый широкій корридоръ, устланный бархатными коврами, а миссъ Драйлингъ, вся запыхавшись, всходила на широкую лѣстницу третьяго этажа.

— Вы ли это!!.. Миссъ Драйлингъ... Вы пріѣхали ко мнѣ прежде, чѣмъ я явился къ вамъ...

— Я, я, я сэръ... я, Артуръ, — я пріѣхала къ вамъ и увидала васъ послѣ... кажется пятнадцати лѣтъ разлуки... И почтенная миссъ Драйлингъ совсѣмъ задыхалась, можетъ быть отъ волненія, можетъ быть оттого, что лѣстница была высока, не по годамъ миссъ Драйлингъ—вѣдь она была цѣлыми шестью годами старше мистера Артингсона.

Это былъ его старый, старый другъ, на которомъ онъ чуть, чуть не женился, но отъ этой женитьбы можетъ быть спасла его и во всякомъ случаѣ отвела сама миссъ Драйлингъ.

— Я старше васъ, сказала она Артуру Артингсону,— старше чуть не шестью годами, а женщины скорѣе старѣются, въ нихъ раньше пропадаетъ то, что притягиваетъ васъ къ намъ—красота... а умъ, чувства—развѣ для нихъ вы хотите жениться на мнѣ сэръ Артингсонъ... Но вѣдь все это ваше, оно останется вашимъ до гроба, въ видѣ неизмѣнной дружбы, а можетъ быть пойдетъ и дальше въ ту таинственную страну, которой мы не знаемъ... Чего же вы хотите отъ меня, мистеръ Артуръ... Моей красоты... обладанія мною...

Да! она такъ-таки и сказала, эта прямая миссъ Драйлингъ: обладанія мною!... И мистеръ Артуръ, послѣ этого формальнаго отказа, долго хандрилъ, мечталъ и думалъ, и, наконецъ, додумался до того, что миссъ Драйлингъ права.

И онъ женился на другой, разсудительной, любящей и доброй миссъ.

— Я счастливъ, счастливъ...—шепталъ онъ, цѣлуя маленькія, похудѣлыя, зачерствѣлыя ручки миссъ Драйлингъ... И слезы выступали на глазахъ, и онъ смотрѣлъ и дивился, какъ могла такъ измѣниться миссъ Драйлингъ въ эти пятнадцать лѣтъ. Въ послѣдній разъ онъ оставилъ ее еще бодрой, а теперь передъ нимъ старуха, старуха, которой было сорокъ восемь лѣтъ. Правда, ея высокій, стройный станъ не согнулся. Глаза блестѣли тѣмъ же свѣтлымъ блескомъ свѣтлой молодости: но множество мелкихъ морщинокъ собралось вокругъ этихъ глазъ и немного съузило ихъ разрѣзы. Множество глубокихъ складокъ набѣжало на впалыя щеки, эти пышныя «розы ливана», какъ называлъ ихъ когда-то мистеръ Артингсонъ. Чудные, черные, волосы и теперь еще тяжелой косой обвивали высокій лобъ миссъ Драйлингъ, но теперь (увы!) они сильно подернулись пепломъ сѣдаго времени... Однимъ словомъ, миссъ Драйлингъ, была совсѣмъ не прежняя миссъ Драйлингъ. За то костюмъ ея былъ тотъ же, какъ во дни былые, всегдашній неизмѣнный черный костюмъ, драповое платье, застегнутое на шеѣ чернымъ аграфомъ въ видѣ креста. Съ этимъ платьемъ миссъ Драйлингъ никогда не разставалась; въ немъ выражалось, по ея словамъ, «презрѣніе къ бреннымъ иллюзіямъ міра сего». Должно сказать, что ея убѣжденія были немного аскетичны.

— Ну что,—спрашивала она, когда Артингсонъ вводилъ ее въ свой номеръ—я стара, я старуха, я была права... помните...—И Артингсонъ еще разъ поцѣловалъ ея меленькія

костлявыя и немного дрожавшія ручки, съ длинными, на концахъ какъ бы расплывшимися, пальцами.

Они говорили долго, горячо, какъ-будто всѣ практическіе вопросы были имъ чужды, какъ-будто они родились оба не въ Америкѣ, а въ какой-то идеальной націи.

— А я васъ похищаю,—сказала, наконецъ, миссъ Драйлингъ, съ ея обычной улыбкой,—похищаю на цѣлый вечеръ.

— Увы, сказалъ Артингсонъ, я сегодня на митингѣ, только-что передъ вашимъ пріѣздомъ я далъ слово депутатамъ клуба «Движенье»...

— Это ничего,—говоритъ рѣшительно миссъ Драйлингъ, —вы пріѣдете къ намъ въ 10, въ 12, въ 2 часа ночи, мы будемъ ждать васъ всю ночь... Это будетъ исключительное необыкновенное событіе... У меня будутъ два, три моихъ и вашихъ близкихъ знакомыхъ и вы увидите мою племянницу... Говорятъ она похожа на меня, какъ двѣ капли воды, когда я была молода... И говоря эти послѣднія слова, миссъ Драйлингъ вдругъ сконфузилась, замигала, покраснѣла и даже слезки выступили на ея большихъ, свѣтлыхъ глазахъ, окаймленныхъ лучистыми морщинками.

— Я буду! о я непремѣнно буду, моя дорогая миссъ Драйлингъ,—сказалъ Артингсонъ, пожимая ея руку...

И когда она уѣхала, то мистеръ Артингсонъ глубоко задумался. Его дѣло, его практическое дѣло съ одной стороны, его полновѣсные доллары, а съ другой... съ другой, какъ странно играетъ судьба человѣкомъ! Развѣ можно сравнивать его Джеллу теперь съ миссъ Драйлингъ, съ умной миссъ Драйлингъ, но всетаки старой старухой. А можетъ быть она постарѣла до времени собственно потому, что принесла всю себя въ жертву его счастью. Она любила его, да; въ этомъ онъ былъ глубоко убѣжденъ и вотъ слѣды этой любви, подавленной, изуродованной; она сказалась въ этихъ морщинахъ, въ этихъ посѣдѣлыхъ волосахъ. Безъ этой

сильной страсти можетъ быть она бы еще сохранилась, сохранилась даже въ сорокъ восемь лѣтъ, а теперь!.. И Артингсонъ глубоко вздохнулъ, широкимъ взмахомъ откинулъ всѣ свои кудри назадъ и, взглянувъ на часы, отправился устраивать свои практическія дѣла.

Въ семь часовъ, съ аккуратностью истаго американца, онъ явился на митингъ. Тамъ уже все кипѣло жизнью. Пятнадцать тысячъ человѣкъ громкими рукоплесканіями привѣтствовали его пріѣздъ; повсюду въ воздухѣ, на высокихъ шестахъ, струились разноцвѣтные флаги; играла музыка, играло солнце на всей толпѣ, стоявшей на лужайкѣ и махавшей шляпами, платками, и кричавшей изо всей силы, и заглушавшей и криками и рукоплесканіями громкую музыку. Овація, однимъ словомъ, была полная, митингъ вышелъ какъ нельзя болѣе удачнымъ, къ полному торжеству и удовлетворенію и мистера Артингсона, и членовъ клуба «Движенья». Мистеръ Тоунсъ въ его рѣчи сдѣлалъ очень крупный намекъ на недавнее мѣстное событіе. Съ недѣлю тому назадъ, «правовѣрные» похитили изъ Айршинтона и его окрестностей цѣлый десятокъ дѣвицъ и увели въ ихъ «нечестивый Новый Іерусалимъ», въ это «гнѣздо Ваала», въ эту «клокочущую гіенну содомскаго отверженія», какъ ораторствовалъ мистеръ Тоунсъ,—«но ты!—продолжалъ онъ, обращаясь уже спеціально къ Артингсону,—ты, освѣщающій все свѣтомъ твоего генія, брось свои громы и въ это гнѣздо растлѣнія, порази козлищъ, чтобы они не заражали наше доброе стадо, нашихъ агнцевъ невинныхъ, чтобы ихъ ангелы смотрѣли безтрепетно на небесахъ, на ликъ Отца ихъ небеснаго!..»

И этотъ мистическій, библейскій возгласъ произвелъ самое сильное дѣйствіе на слушателей, не потому, чтобы тонкій голосокъ мистера Тоунса могъ производить какое-нибудь сильное дѣйствіе. Нѣтъ, слушатели были тронуты

просто потому, что въ ихъ сердцахъ еще царствовала паника отъ недавняго похищенія. Отцы и матери боялись за своихъ дочерей, братья за сестеръ, женихи и поклонники за своихъ невѣстъ и дульциней. И вотъ почему почтенный, коротенькій мистеръ Тоунсъ ловко взволновалъ все стадо и оно откликнулось восторженнымъ браво на его библейскій текстъ...

Настала очередь отвѣчать мистеру Артингсону, и онъ также всталъ на столъ во всю вышину своего высокаго роста; глаза его вдохновенно горѣли, на нихъ стояли слезы, все лицо его, симпатичное и красивое, стало еще красивѣе. Онъ постоялъ нѣсколько мгновеній и, тяжело дыша и оглядывая восторженнымъ взглядомъ все собраніе, все море головъ, всѣ лица, глаза, устремленные на него съ жаднымъ вниманіемъ и, взмахнувъ руками,—началъ громкимъ, мягкимъ, привѣтливымъ голосомъ, въ которомъ, какъ будто изъ глубины всѣхъ чувствъ дрожали самыя искреннія, еще нетронутыя струны.

«Други и братья круга земнаго!..
О! передастъ-ли безсильное слово
То, что трепещетъ въ сердцѣ раскрытомъ,
Что манитъ великимъ, могучимъ магнитомъ
Въ высь, въ ширину, въ тѣ завѣтныя сферы,
Куда все стремится съ любовью и вѣрой...
Тамъ, тамъ источникъ, тамъ съединенье
Всѣхъ начинаній, всѣхъ нашихъ стремленій!..
Пусть темныя силы, безумныя страсти
Играютъ надъ духомъ—не въ ихъ слабой власти
Задуть яркій свѣточь сердецъ возрожденья...
Настанетъ «день оный», исчезнутъ сомнѣнья,
И люди прозрѣютъ, другъ друга узнаютъ,
Падутъ на колѣна, поймутъ, зарыдаютъ;
Поймутъ, гдѣ спасенье и правда, и сила,
Поймутъ что по братски весь міръ съединило,
И скажутъ: мы знаемъ Тебя, Властелина!
О! будь же намъ Пастырь—мы стадо едино!..»

И когда замеръ послѣдній, дрожавшій звукъ послѣдняго слова Артингсона—собраніе все окаменѣло, окаменѣло на одно мгновеніе и вдругъ разразилось неистовой бурей. Все кричало, хлопало, летѣли вверхъ платки, шляпы, трости зонтики, многіе обнимались по-братски, многіе плакали. Это было дѣйствительно «едино стадо». Какая-то пожилая почтенная и вся растрепанная мистриссъ протиснулась къ самому Артингсону; она вскочила на стулъ и подняла къ нему милаго курчаваго мальчика съ грезовской головкой. Мальчикъ плакалъ и протягивалъ къ Артингсону ручки. Артингсонъ взялъ его на руки, крѣпко прижалъ къ сердцу, цѣловалъ, и мальчикъ цѣловалъ его, и слезы ихъ смѣшались и катились по бѣлому жилету Артингсона. И когда собраніе увидало эту патетическую сцену—новый взрывъ рукоплесканій, новый громъ, какъ приливъ волны въ бурю, поднялся неистовый могучій, несокрушимый... Все было наэлектризовано, всѣ опасенія, вся паника, навѣянная мистеромъ Тоунсомъ, исчезли; и если бы теперь, среди этого собранья, явились правовѣрные мормоны, можетъ быть, оно отнеслось бы къ нимъ если не по братски, то съ снисхожденіемъ....

Наконецъ утихъ, замолкъ этотъ взрывъ, многимъ стало совѣстно, точно послѣ опьяненія. Многіе начали обсуждать, что такое сказано, гдѣ тутъ смыслъ, гдѣ дипломатическій смыслъ—многіе начали даже неодобрять рѣчь-стихи вдохновеннаго поэта. А мистеръ Тоунсъ вертѣлся около него. Онъ говорилъ, что вдохновенная безсмертная мысль мистера Артингсона уже записана стенографами, и что онъ вѣроятно не откажетъ въ позволеніи напечатать этотъ великій экспромптъ, какъ плодъ мѣстнаго вдохновенія, въ мѣстной газетѣ. И Артингсонъ, еще подавленный собственнымъ волненіемъ и еще не понимая, что и кто ему говоритъ, жалъ маленькую ручку мистера Тоунса и говорилъ: «конечно, конечно!».

Впрочемъ, это волненіе, или, правильнѣе говоря, настроеніе, совершенно овладѣло имъ и не покидало его цѣлый вечеръ, вплоть до поздней ночи.

Когда онъ въ одиннадцать часовъ оставилъ митингъ и, сѣвъ въ коляску, отправился къ миссъ Драйлингъ, то глаза его также блестѣли. Слезы, все разрѣшающія слезы, не унесли его волненія; онъ какъ то смутно чувствовалъ, что праздникъ, настоящій праздникъ будетъ впереди, что тамъ что-то ждетъ его радостное, неуловимое, неопредѣленное. Онъ какъ будто смутно сознавалъ тѣ волненія, которыя нахлынутъ на него, когда онъ переступитъ порогъ этого коттэджа, такъ ему знакомаго, и въ который онъ такъ часто входилъ съ такимъ глубокимъ чувствомъ любви, восторга, упованія, въ томъ поэтическомъ полуснѣ, который можетъ спускаться на свѣтлыхъ крыльяхъ только на поющее сердце беззаботной, свѣтлой молодости.

И онъ наконецъ переступилъ этотъ порогъ; онъ увидѣлъ и эту лѣстницу, уставленную старыми кипарисами, и эту статую амура надъ фонтаномъ, передъ которой онъ произнесъ когда-то сонетъ-экспромптъ слушавшей его въ смущеніи миссъ Драйлингъ. Только кипарисы теперь сильно выросли и мѣстами пожелтѣли, а на амурѣ выступили какія-то черныя пятна, вѣроятно отъ плесени, разъѣдающей даже мраморъ.

И жутко, и странно было Артингсону въ этой средѣ, въ этихъ комнатахъ, въ этомъ салонѣ. Какъ будто онъ проснулся отъ долгаго сна и снова передъ нимъ та же, когда-то милая, уютная обстановка, но уже онъ не тотъ. Что-то широкимъ колесомъ прокатилось по его жизни, немного помяло ее, сдѣлало полнѣе, сложнѣе, пожалуй даже лучше. Но гдѣ же вы, свѣтлые беззаботные порывы, эти радужныя, звучныя иллюзіи, или вы еще ждете тамъ, въ неизвѣданномъ будущемъ!...

Да! онъ не тотъ! Да и она не та. Эта прежде столь милая миссъ Драйлингъ, которая теперь хлопотала около него съ такимъ добродушіемъ. И съ какимъ удивленіемъ встрѣтилъ онъ въ салонѣ ея всѣхъ своихъ старыхъ знакомыхъ; и всѣ эти гости были проникнуты такимъ же добродушіемъ, какъ и сама хозяйка; они такъ рады были снова увидѣться съ мистеромъ Артингсономъ, они такъ любовно, чуть не со слезами, смотрѣли въ его открытые глаза, и такъ крѣпко, чуть не до слезъ, жали руку этому чудному Артингсону. И мистеръ Пепчинсъ, сухощавый маленькій старичекъ, философъ, съ большимъ сморщеннымъ лбомъ, живыми, бодрыми глазками, и такой привѣтливой пріятной улыбкой, и мистеръ Гринъ, восторженный и честный, высокій, тонкій, неуклюжій, съ большими черными глазами на выкатѣ, съ большимъ острымъ носомъ, съ толстыми губами, съ длинными вьющимися черными волосами и съ тонкой длинной шеей, которая казалась еще длиннѣе отъ отложныхъ громадныхъ воротничковъ. И мистеръ Литль—степенный, важный и необыкновенно ученый; мистеръ Литль—толстый, неуклюжій, большой, не смотря на его кличку, съ румяными щеками, съ сѣдыми волосами, съ густыми черными бровями и, наконецъ, съ чернымъ густымъ клокомъ волосъ подъ подбородкомъ. Наконецъ, и миссъ Трайль и миссъ Вудъ, обѣ были здѣсь. Обѣ маленькія, обѣ юркія, восторженныя, обѣ страстно любившія все, весь Божій міръ, обѣ старыя миссъ,—одна блѣдная съ прищуренными голубоватыми глазками, съ полнымъ подбородкомъ, другая—не только розовая, но даже красная, немного насмѣшливая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, жалостливая, готовая броситься въ огонь и въ воду за каждую букашку.

Да! все это были старые добрые знакомые, чуть не друзья Артингсона, всѣхъ онъ хорошо зналъ назадъ тому пятнадцать лѣтъ, когда жилъ въ Айршингтонѣ, и всѣхъ собрала

теперь въ своемъ салонѣ эта предупредительная миссъ Драйлингъ. Она какъ будто развернула страницу изъ жизни Артингсона, страницу старую, давно прочитанную, и которую онъ можетъ теперь снова прочесть, не смотря на то, что эта страница пожелтѣла, полиняла и что многія буквы въ ней стерлись. Но эти недостающія буквы еще дороже для воспоминаній сердца.

— О! только сердце любящей и любившей женщины можетъ читать въ томъ миломъ прошломъ, въ которомъ намъ было все дорого, потому что сердце всего больше дорожитъ своимъ чувствомъ, а сердце... развѣ это не самъ человѣкъ, какъ онъ есть, со всѣми его индивидуальными страстями—могучими, великими или пошлыми?

— О да, да,—отвѣтили на этотъ вопросъ, предложенный Артингсономъ, чуть не цѣлымъ хоромъ и мистеръ Пепчинсъ, и мистеръ Гринъ, и мистеръ Литль, и обѣ миссъ Трайль и Вудъ.

Всѣ были довольны и счастливы въ ихъ прошломъ, счастливы настоящей минутой, и мистеръ Артингсонъ еще разъ оглянулъ эту незабвенную для его сердца большую комнату, съ мягкою, немного полинялою мебелью, съ большими зеркалами и каминами и большою дверью на балконъ, весь убранный зеленью; а вотъ и онъ прижался, въ углу, тоже старый другъ, маленькій ройяль.

— О! миссъ Драйлингъ! Вы позволите?—спросилъ Артингсонъ, быстро подходя къ ройялю.

— Мистеръ Артингсонъ, старый дорогой другъ, мистеръ Артингсонъ!—вскричала миссъ Драйлингъ, идя за нимъ вслѣдъ.—Вы дома, вы совершенно дома; развѣ вы не въ кругу тѣхъ лицъ, которыя хорошо, слишкомъ хорошо знаютъ наши прежнія чувства и... уважаютъ ихъ; о, я надѣюсь, глубоко уважаютъ. И она оглянулась на всѣхъ этихъ лицъ. И тотчасъ-же мистеръ Пепчинсъ закивалъ энергически го-

ловой въ знакъ полнаго безапелляціоннаго подтвержденія, а миссъ Трайль замигала глазками и на этихъ глазкахъ выступили слезки, а высокая грудь старой миссъ тяжедо вздохнула.

Артингсонъ сѣлъ за ройяль. Онъ ударилъ по немъ нѣсколькими аккордами и эти аккорды, неизвѣстно какъ, будто случайно, сложившись, были началомъ одного изъ тѣхъ старыхъ, вдохновенныхъ созданій, которыя написалъ онъ здѣсь, и которыя были сыграны, въ первый разъ на этомъ самомъ, уже пожелтѣвшемъ, немного дрожащемъ, но все-таки пѣвучемъ и сильномъ, ройялѣ.

И вслѣдъ за этимъ аккордомъ, какъ бы сама собою, полилась та же самая, старая мелодія, но полная нестарѣющей силы; мелодія страстная, тоскующая, въ которой звучали слезы неудовлетворенной страсти, и улетавшая въ безконечность, какъ все, неудовлетворенное, все незаконченное, неопредѣленное.

Долго игралъ Артингсонъ, долго слушали его безмолвные слушатели, и только когда мелодія разросталась въ полные, могучіе, глухіе, волнующіеся аккорды или плакала и замирала въ грустныхъ жалобахъ, они переглядывались съ изумленіемъ, какъ бы не вѣря этой силѣ звуковъ, этимъ смѣлымъ и законченнымъ переливамъ, въ которыхъ какъ будто воплощалась вся великая душа человѣка, со всѣмъ ея страданьемъ, со всѣмъ сладостнымъ трепетомъ невыразимаго, широкаго чувства любви.

Тихо, матовымъ свѣтомъ горѣла большая лампа на большомъ кругломъ столѣ; тихо свѣтили полночныя звѣзды на темномъ небѣ, сквозь широкія двери балкона. Артингсонъ вдругъ остановился. Нѣсколько нотъ, нѣсколько звуковъ напомнили ему то, что казалось давно безвозвратно кануло въ бездну прошедшаго. Они напомнили ему забытую мелодію и забытыя слова одного романса. Онъ изорвалъ и сжегъ

его, похоронилъ безъ воспоминаній и вдругъ онъ снова выплылъ въ памяти, какъ-то странно отдававшей теперь все, что было создано при этой самой обстановкѣ, которая теперь окружала Артингсона.

Онъ снова заигралъ. Куплетъ ожилъ съ прежней силой и звучнымъ голосомъ онъ запѣлъ также ожившія, воскресшія слова. Въ этомъ голосѣ снова явилась нѣга страсти, онъ былъ также свѣжъ, крѣпокъ и мелодиченъ, какъ въ дни былые. Онъ пѣлъ:

Ангелъ ли бѣлый иль бѣлая птица
Тамъ въ отдаленьи крылами сверкаетъ;
Море ли плещетъ, иль блещетъ зарница,
Или далекая пѣснь замираетъ?
Мракъ иль сіянье! Покой или трепетъ!
О милый другъ! другъ желанный ты мой!
Кто безпокойному сердцу отвѣтитъ?..
Море любви ему въ вѣчности свѣтитъ,
Свѣтитъ желанный покой!

И когда звучала эта пѣсня, то подъ говоръ ея звуковъ страстныхъ, широкихъ, подъ говоръ самой пѣсни неопредѣленной, нескладной, безумной, какъ безумна юность, передъ глазами Артингсона, внутри его—тамъ, тамъ, изъ какихъ-то темныхъ, неизвѣстныхъ тайниковъ, выступалъ чудный образъ молодой головки. Эта была головка миссъ Драйлингъ, но только совсѣмъ другая, полная поэзіи, силы, головка съ страстными, огненными глазами, съ какимъ-то неопредѣленнымъ, но могучимъ, восторженнымъ, любящимъ взглядомъ и когда Артингсонъ поднялъ глаза—передъ нимъ на яву, въ очью, въ дѣйствительномъ мірѣ, стояла эта головка и смотрѣла на него своими страстными, широко раскрытыми, грустными и любящими глазами.

Да! тутъ произошло что-то странное, необыкновенное. Артингсонъ слегка поблѣднѣлъ. Онъ чувствовалъ ясно, что это не сонъ, даже не иллюзія, что передъ нимъ стоитъ,

облокотившись на ройяль, образъ этой чудной дѣвушки или женщины, которая была сейчасъ тутъ внутри его, въ душѣ, образъ, завернутый въ какой-то широкій серебристый плащъ.

«Ангелъ ли бѣлый иль бѣлая птица!»

И смотритъ на него этотъ образъ въ упоръ своими сверкающими, безтрепетными глазами, и чудными линіями изогнуты ея алыя губы, и всѣ разсыпаны по плечамъ ея густые, высоко вскинутые надъ бѣломраморнымъ лбомъ, черные играющіе кудри, и какъ хороши эти судорожно сжатыя, бѣлыя чудныя руки, на которыя она облокотилась...

— Вотъ она,—говоритъ миссъ Драйлингъ,—вотъ она, моя дикая Джени, моя племянница!..

Но Артингсонъ ничего не видитъ, не слышитъ. Онъ не можетъ понять, что съ нимъ дѣлается и отчего онъ не можетъ отвести глазъ отъ этого страннаго образа, который такъ впился въ него своими немигающими, страстными, восторженными, чуть не плачущими глазами.

И вдругъ она протянула одну изъ своихъ бѣлыхъ, стройныхъ, неподражаемыхъ рукъ, и указывая на клавиши ройля, произнесла повелительнымъ звучнымъ голосомъ, какъ музыка страсти.

— Играйте, пойте, сэръ, дальше, вы должны играть, тамъ—есть еще куплеты.

И Артингсонъ, не понимая почему она приказываетъ, и почему онъ повинуется, и не отводя глазъ отъ этихъ чудныхъ глазъ, которые приковали его какими-то непонятными чарами, заигралъ и запѣлъ:

Безумье блаженства, безумье страданья,
Бренныя струны сердца людскаго!
Горе и радость, смѣхъ и рыданье,
Туда-ль вы стремитесь, гдѣ вѣчное Слово,
Гдѣ вѣчной любви и сіянье, и трепетъ?

О! милый другъ, другъ желанный ты мой,
Кто безпокойному сердцу отвѣтитъ?..
Море любви ему въ вѣчности свѣтитъ.
Свѣтитъ желанный покой!

И когда мистеръ Артингсонъ кончилъ послѣднее слово, когда замеръ послѣдній звукъ подъ его дрожащими пальцами, то опять совершилось что-то необыкновенное. Всѣ, которые были въ комнатѣ, всѣ обступившіе и слушавшіе Артингсона, молчали и недоумѣвали, что это значитъ, даже сѣдой мистеръ Литль, распрямивъ свои черныя брови, смотрѣлъ на всѣхъ, и всѣ съ недоумѣніемъ поглядывали другъ на друга. Что это? Развѣ въ первый разъ въ жизни они слышатъ музыку, развѣ передъ ними геніальный виртуозъ? Отчего же они всѣ возбуждены, потрясены этими звуками, этими странными словами, этой неопредѣленной, дикой, въ ея фантастическихъ порывахъ, пѣсни. Что это такое?

Но только что кончилъ Артингсонъ, и не прошло, не разрѣшилось это сомнѣнье, какъ случилось опять еще болѣе удивительное и необъяснимое.

— Играйте, играйте же сэръ,—произнесла она все тѣмъ же звучнымъ, повелительнымъ голосомъ.

Что же такое играть дальше?—подумалъ онъ—и самъ не свой, не зная, что дѣлаетъ, онъ ударилъ по клавишамъ и съ первыми аккордами акомпанимента, она, она сама запѣла страстнымъ и нѣжнымъ, звучнымъ контральто:

Безсильное чувство, безсильное слово!
Ты рвешься, ты стонешь въ тяжелыхъ оковахъ,
Ты пробуешь сбросить цѣпи земныя
И унестись въ небеса голубыя!
Но чтожъ тамъ обниметъ, что тебя встрѣтитъ?..
О! милый другъ, другъ желанный ты мой!
Кто безпокойному сердцу отвѣтитъ?..
Море любви ему въ вѣчности свѣтитъ,
Свѣтитъ желанный покой!

И когда вырвался послѣдній звукъ изъ ея высокой груди и, задрожавъ, заплакавъ, исчезъ въ воздухѣ, то всѣ окаменѣли, даже мистеръ Пепчинсъ раскрылъ свой маленькій ротикъ. Но разумѣется больше всѣхъ былъ пораженъ самъ Артингсонъ, и онъ имѣлъ полное право быть изумленнымъ и даже окаменѣть въ его изумленьи. Онъ вскочилъ какъ безумный, не зная, гдѣ онъ, кто передъ нимъ, фея, волшебница, злой демонъ, ангелъ. Вѣдь то, что она теперь пропѣла, онъ не ввѣрялъ никому, онъ самъ забылъ, совершенно забылъ этотъ третій куплетъ; онъ даже забылъ что существуетъ этотъ куплетъ, и вдругъ она, она пропѣла его... Кто же она? Какая непонятная, невиданная сила въ этой дѣвушкѣ!..

— Мистеръ Артингсонъ! дорогой другъ мой! что съ вами, вы взволнованы!—вскричала миссъ Драйлингъ, бросившись къ нему, блѣдному, дрожавшему и готовому упасть въ обморокъ,—у васъ руки похолодѣли.

И всѣ съ изумленіемъ и участіемъ бросились къ нему.

— Вы больны!?—вскричала торопливая миссъ Трейль.

Только *она*, одна *она*... (Мистеръ Артингсонъ не могъ подумать объ этой дѣвушкѣ, не могъ назвать ее иначе, какъ однимъ неопредѣленнымъ мѣстоименіемъ—*она*), она посмотрѣла на него гордо своими сверкающими глазами, покачала своей чудной головкой, и, опустивши ее, тихо, плавно прошла и скрылась въ растворенную дверь балкона, и Артингсону показалось, что не женскій образъ, а что-то туманное, неопредѣленное промелкнуло передъ нимъ.

«Ангелъ ли бѣлый, иль бѣлая птица!»

— Миссъ Драйлингъ!—вскричалъ онъ, чувствуя какъ сердце его замираетъ и схватился дрожавшей холодной рукой за свою пылавшую голову.—Миссъ Драйлингъ, дайте мнѣ, ради Бога, стаканъ воды, льду, чего нибудь!

«Что я!? подумалъ онъ, пьянъ, брежу, или бываютъ сны на яву, или свершаются и дѣйствительно могутъ свершаться чудеса въ этой реальной, законной, положительной жизни? Или все это фокусъ, случайность! Или объ этомъ нельзя еще даже думать—это выше всякой мысли, анализа, всякаго опыта

А между тѣмъ миссъ Драйлингъ хлопотала, вся перепуганная, и вмѣстѣ съ ней хлопотали около Артингсона и миссъ Трайль и миссъ Вудъ. Онѣ усаживали и укладывали его на мягкій диванъ, мочили ему голову уксусомъ четырехъ разбойниковъ и даже афинской водой.

— Это нервы, это все нервы дѣйствуютъ — говорилъ мистеръ Литль тихимъ и такимъ докторальнымъ шопотомъ, какъ будто онъ сразу все разрѣшилъ и все объяснилъ.

— О! да, да, сэръ,—подтверждалъ мистеръ Пепчинсъ,—онъ очевидно взволнованъ, взволнованъ... этотъ митингъ и эта восторженная музыка.

— И притомъ воспоминанье,—вставилъ какимъ-то подавленнымъ, хриплымъ басомъ мистеръ Гринъ.

— О, воспоминанье! воспоминанье!.. прошептала миссъ Вудъ, съ какимъ-то выдавленнымъ вздохомъ и подняла свои маленькіе глазки прямо къ потолку.

— Миссъ Драйлингъ,—сказалъ Артингсонъ какимъ-то беззвучнымъ голосомъ, приподнимаясь съ дивана,—я выйду на балконъ.

— О! да, да, сэръ,—подхватила миссъ Драйлингъ,—воздухъ чистый освѣжитъ вашу утомленную голову.

И онъ вышелъ на балконъ.

Его тянуло туда и онъ какъ-то смутно сознавалъ это. Онъ очень хорошо понималъ, что-то, что промелькнуло передъ нимъ, не можетъ быть призракомъ, что это дѣйствительно дѣвушка; онъ даже понялъ теперь, что это племянница миссъ Драйлингъ, и въ то же время ему казалось, что она могла улетѣть, расплыться въ туманѣ.

— Да почему же она не можетъ улетѣть?—спрашивалъ его какой-то дикій, внутренній голосъ и онъ не могъ, рѣшительно не могъ объяснить, въ своей отуманенной головѣ: —почему она не можетъ улетѣть?

«Какъ ангелъ бѣлый, иль бѣлая птица».

Онъ вышелъ на балконъ; широкимъ просторомъ, свѣжимъ и теплымъ воздухомъ ночи охватило его и снова вернулся къ нему этотъ прежній человѣческій складъ мысли.

Она была тамъ, она стояла въ зелени, облокотившись на перила, она смотрѣла неподвижно куда-то вдаль, въ туманъ, надъ широкимъ озеромъ, на яркія полуночныя звѣзды.

Онъ подошелъ къ ней:

— Миссъ Драйлингъ!—сказалъ онъ и какъ-то странно отозвалось это имя въ его душѣ, имя, казалось, ему совсѣмъ чужое и вмѣстѣ съ тѣмъ родное, любимое. И гдѣ, въ какихъ далекихъ, ночныхъ сновидѣніяхъ, грезахъ безвозвратной юности онъ видѣлъ эту чудную головку, или ему только кажется это, также, какъ все теперь ему только кажется!

— Миссъ Драйлингъ!—сказалъ онъ, и она повернула къ нему лицо и глаза, сверкавшіе даже въ ночномъ сумракѣ,—миссъ Драйлингъ, я желалъ спросить васъ... извините—этотъ вопросъ глубоко смущаетъ, давитъ меня... Я желалъ бы спросить васъ то, что вы пропѣли такъ недавно, этотъ третій куплетъ моего романса, онъ вамъ принадлежитъ... или... или вы слышали, читали его гдѣ нибудь...

— Мистеръ Артингсонъ,—сказала она, сдвинувъ брови, сказала тѣмъ же сильнымъ пѣвучимъ контральто, которымъ пѣла этотъ романсъ,—я этого сама не знаю, я пѣла, потому что должна была пѣть, потому что внутри меня что-то пѣло... а что такое, какія слова я пропѣла, я этого сама не знаю: не знаю точно также, почему какой-то голосъ сегодня съ утра твердилъ мнѣ: *онъ* пріѣдетъ; не знаю почему, какая-

то сила заставила меня выдти къ вамъ, когда вы пѣли романсъ.

Артингсонъ почувствовалъ опять, что какая-то горячая волна приливаетъ въ его голову, что даже ночной, свѣжій воздухъ не освѣжаетъ ея.

— Миссъ Драйлингъ, — началъ онъ, стараясь уловить какую нибудь нить въ этомъ темномъ хаосѣ,—миссъ Драйлингъ, вы согласитесь, однако, что все это странно, болѣе чѣмъ странно... Припомните, можетъ быть вы когда нибудь слышали отъ кого нибудь слова этого романса, можетъ быть... онъ остановился, онъ хотѣлъ сказать—можетъ быть они сами сложились въ вашей головѣ, въ вашемъ сердцѣ, можетъ быть мысль и чувства человѣка могутъ передаваться другому, когда и тамъ, и здѣсь звучитъ отвѣтный строй. Но онъ не сказалъ ничего. Онъ только чувствовалъ, что все это какая-то дичь, чепуха, и схватилъ себя за голову обѣими руками. — Я просто, кажется, рехнулся, подумалъ онъ, — не даромъ, она, моя добрая Джелла, такъ боялась, чтобы я не сошелъ съ ума.

А миссъ Драйлингъ вдругъ порывистымъ движеніемъ отшатнулась отъ перилъ балкона и подошла къ нему. Глаза ея еще сильнѣе засверкали, брови сильнѣе сдвинулись, она протянула къ нему ея чудныя руки, прекрасныя даже въ темнотѣ вечера...

— Мистеръ Артингсонъ.—сказала она,—да развѣ вы не знаете, что мы, всѣ мы, ходимъ въ потьмахъ. Развѣ мы знаемъ, что горитъ тамъ... въ этихъ далекихъ звѣздахъ, развѣ мы знаемъ, что творится вокругъ насъ? Какой умъ, какія страсти скрыты въ этомъ туманѣ, что клубится надъ озеромъ. Я вижу тамъ мелькаетъ какое-то бѣлое пятно, какой-то волнующійся призракъ, я слышу какой-то смутный шумъ и чудный звукъ, который носится, плаваетъ надъ этимъ озеромъ въ ночномъ туманѣ. Слышите ли вы его?

И дѣйствительно Артингсонъ вдругъ услыхалъ, или ему показалось, что онъ услыхалъ какой-то неопредѣленный звукъ; онъ пронесся какъ жалоба грустная, мелодичная, какой-то чудовищной невидимой птицы и исчезъ тамъ, въ недосягаемыхъ пространствахъ эфира.

Артингсонъ вздрогнулъ и отшатнулся отъ нея, отъ этого страннаго существа, которое стояло въ видѣ такого обольстительнаго женскаго образа передъ нимъ, и, не отнимая руки отъ головы, въ которую стучали какими-то горячими молотами, онъ вбѣжалъ въ комнату...

— Миссъ Драйлингъ, другъ мой! миссъ Драйлингъ! — вскричалъ онъ,—я долженъ уѣхать. Гдѣ моя шляпа?.. Мнѣ кажется я съ ума схожу...

И онъ схватилъ шляпу, и едва коснувшись протянутой руки миссъ Драйлингъ, не понимая, что она говоритъ и что хотятъ отъ него эти лица, которыя стоятъ передъ нимъ съ такимъ искреннимъ сожалѣніемъ; онъ бросился вонъ изъ этой странной, заколдованной атмосферы.

— Я провожу васъ, сэръ, — кричалъ ему, догоняя его, мистеръ Литль, и на бѣгу онъ звонилъ въ колокольчикъ и кричалъ: гдѣ грумъ, гдѣ коляска?..

Онъ усадилъ въ нее мистера Артингсона, какъ маленькаго ребенка; онъ такъ заботливо предлагалъ ему понюхать Smith's-Triplessence и такъ убѣдительно объяснялъ ему, что разстройство нервовъ можетъ быть пагубно, очень пагубно. Онъ говорилъ ему о сильномъ на нихъ дѣйствіи музыки, вина, душнаго вечера, поэтическаго настроенія и женщинъ, въ особенности женщинъ.

Но Артингсонъ и слушалъ, и не слушалъ этого обязательнаго, начитаннаго и разсудительнаго мистера Литль. Онъ ничего не понималъ, не помнилъ, что онъ говоритъ, и что съ нимъ дѣлается. Когда онъ вернулся къ себѣ, онъ принялъ какія-то успокаивающія капли, обвязалъ себѣ голову

полотенцемъ, намоченнымъ въ самой холодной водѣ, а главное старался ни о чемъ не думать, ни о чемъ не представлять себѣ, и мало-по-малу волненіе улеглось, струны затихли, сердце начало стучать ровнымъ, мѣрнымъ стукомъ и онъ заснулъ, какъ убитый.

II.

На другой день Артингсонъ всталъ усталый, вялый и сонный. Онъ посмотрѣлъ въ зеркало на свое поблѣднѣвшее лицо, на свои тусклые глаза и рѣшилъ, что такъ нельзя, что никогда онъ не былъ такъ утомленъ, что вчера возбужденіе нервовъ было страшное, и все, что было вчера, было дѣйствительно только возбужденіе нервовъ. Однимъ словомъ, мистеръ Артингсонъ пришелъ къ тому же заключенію, къ которому пришелъ и разсудительный, практическій мистеръ Литль.

И онъ принялся распечатывать письма, только что принесенныя съ почты, письма отъ его жены, отъ его милой жены, отъ его дѣтей... Онъ съ такимъ наслажденіемъ читалъ строчки любимой, дорогой руки:

«Другъ мой милый и дорогой мой Артуръ!» (писала эта рука).

«Я пишу къ тебѣ почти тотчасъ же послѣ твоего отъѣзда, пишу собственно затѣмъ, чтобы ты былъ покоенъ, чтобы ты зналъ, что всѣ мы и въ твоемъ отсутствіи помнимъ о тебѣ, вспоминаемъ постоянно и ждемъ тебя. Посылаемъ тебѣ нашъ искренній любовный привѣтъ и цѣлуемъ тебя крѣпко. Твоя глубоко, искренно любящая

«Джелла».

«Дорогой, милый другъ мой, отецъ мой»! писала четырнадцати-лѣтняя дочь его, Лида. «Странно!.. мнѣ скучно

безъ тебя—я очень хорошо знаю, что ты скоро вернешься, что мы разстались не надолго, и что мы не вѣчно будемъ жить съ тобой, но мнѣ скучно безъ тебя. Я почти готова плакать. Мнѣ все кажется, что съ тобой случится что-то недоброе. Ахъ! дорогой мой! Какъ крѣпко, крѣпко люблю я тебя. Я молюсь за тебя, прошу тебѣ защиты, благословенья отъ Того, Кто одинъ можетъ защитить отъ всего весь родъ людской. Обнимаю тебя и желаю одного, чтобы ты скорѣе, скорѣе вернулся къ намъ. Твоя Л.».

Въ концѣ письма было крупными буквами вкривь и вкось написано: «Милый папа! я тебя люблю, право люблю. Твоя Э.».

И мистеръ Артингсонъ съ радостью и благодарнымъ чувствомъ читалъ эти строки. Его лицо сіяло и слезы накипали на сердцѣ.

Онъ вспомнилъ и жену свою, милую Джеллу, такую любящую, добрую и разсудительную, съ такими кроткими, большими сѣрыми глазами; онъ вспомнилъ и свою Лиду, умную не по лѣтамъ, умную и красивую дѣвушку. Но сквозь всѣ эти воспоминанія невольно являлся образъ другой головки, этой странной, таинственной миссъ Джени Драйлингъ. И зачѣмъ онъ являлся?! И что за странное существо такое, что говорила она ему вчера, что такое свершилось вчера?

Но Артингсонъ встряхивалъ своими длинными кудрями и, чуть ли не въ двадцатый разъ, давалъ себѣ слово не думать больше о вчерашнемъ вечерѣ, и все-таки думалъ. И этого мало. Онъ даже отправился къ миссъ Драйлингъ, отправился, разумѣется, послѣ всѣхъ своихъ практическихъ дѣлъ, переговоривъ съ нѣсколькими нотаріусами, совершивъ какой-то контрактъ на 2,000 долларовъ пожизненной ренты, наконецъ, продавъ какія-то бумаги на 25.000 долларовъ.

Миссъ Драйлингъ сама его встрѣтила на лѣстницѣ; она

издали съ балкона увидала его и выбѣжала къ нему навстрѣчу такъ быстро, какъ только позволяли ей ея старческія ноги.

— Ну, что вы, что съ вами?—разспрашивала она, пристально глядя ему въ лицо.—Я такъ безпокоилась за васъ... я хотѣла уже послать къ вамъ, ѣхать сама...

— О благодарю, тысячу разъ благодарю!—говорилъ мистеръ Артингсонъ.

— Это пѣніе, музыка и этотъ митингъ разстроили васъ... Притомъ, я думала, не была ли причиной, какой нибудь невольной причиной — моя племянница. Ахъ! Мистеръ Артингсонъ, еслибъ вы знали, какъ я несчастна!.. Садитесь, садитесь вотъ сюда... я все разскажу. Я до сихъ поръ не писала вамъ объ этомъ, но моя Джени... эта милая, дорогая Джени... порой она причиняетъ мнѣ такія глубокія огорченія!—И на глазахъ миссъ Драйлингъ выступили слезы.—Я не могу винить ее,—продолжала она, вытирая какъ-то порывисто эти надоѣдныя слезы.—О! какъ же я могу ее винить! Я думаю, что она сама несчастна, и можетъ быть, болѣе несчастна, чѣмъ ея несчастные отецъ и мать... О! Артуръ! вы знаете ихъ горькую, плачевную судьбу...

Мистеръ Артингсонъ молча кивнулъ головой, не отрывая своихъ грустныхъ, задумчивыхъ глазъ отъ разсказчицы.

Передъ нимъ, на одно мгновенье, промелькнули два образа, образа, полные юныхъ, свѣтлыхъ силъ и безвременно исчезнувшіе въ могилѣ. Оба, онъ и она, такъ странно, какъ то фантастически любили другъ друга. Онъ былъ какой-то восторженный мистикъ, фанатикъ, красавецъ собой, рослый, статный, съ южнымъ колоритомъ, съ большими черными, страстными глазами. Онъ увлекалъ многихъ своими проповѣдями въ какую-то маленькую, темную секту фотозофовъ и секта быстро разрасталась, и точно также быстро рухнула съ его смертью. Онъ умеръ вскорѣ послѣ жены, маленькаго,

худенькаго существа, которое умѣло только любить, плакать и молиться. Мистеръ Драйлингъ считалъ ее ангеломъ хранителемъ его жизни, и когда она умерла, отъ быстрой скоротечной болѣзни, вскорѣ послѣ родовъ Джени,—онъ не взлюбилъ этого ребенка. Онъ мучился, положительно мучился цѣлый годъ, безумствовалъ, совершалъ небывалые, неслыханные поступки. Секта вѣрила въ него, какъ въ пророка, и вдругъ, въ одинъ вечеръ, его нашли мертвымъ въ его собственномъ саду, въ кустахъ надъ рѣчкой. Говорили, что онъ отравился, другіе утверждали, что его отравили. Но темное дѣло осталось темнымъ!

Миссъ Драйлингъ взяла къ себѣ ребенка, дочь ея брата, маленькую Джени, и воспитала ее съ такой заботливостью, съ такой нѣжной любовью, съ какой рѣдкая мать воспитываетъ ея собственную дочь.

— Ахъ, вы не можете представить, дорогой мой мистеръ Артингсонъ,—говорила миссъ Драйлингъ, складывая руки,—вы не можете себѣ представить, какъ я люблю ее! И она стоитъ этой любви, это чудная дѣвушка, добрая, умная и талантливая; но она... она... голосъ ея задрожалъ.—Она немного разстроена здѣсь,—и миссъ Драйлингъ показала на свою голову, помахала рукой около своего лба и голосъ ея порвался. И снова слезы побѣжали изъ ея покраснѣвшихъ глазъ.

— Неужели это неизлѣчимо?—вскричалъ Артингсонъ съ такимъ теплымъ участіемъ.

Миссъ Драйлингъ покачала головой и начала шопотомъ, быстрымъ, отрывочнымъ, наклонясь къ Артингсону:

— Она была въ той сектѣ, въ той ужасной сектѣ «просвѣщенныхъ»!.. Вѣдь вы знаете, это какіе-то бѣшеные, поврежденные... И она проповѣдовала тамъ на митингахъ, на ихъ безобразныхъ митингахъ!.. И сколько мнѣ стоило труда. Ахъ! сколько стоило труда мнѣ, мой дорогой другъ, возвратить эту бѣдную овцу снова въ мой домъ!

— Но почему же вы думаете, что она помѣшана?—спросилъ довольно рѣзко мистеръ Артингсонъ, хотя и мягкимъ, задушевнымъ шопотомъ.

— О!—вскричала миссъ Драйлингъ и начала такъ быстро вертѣть своей головой, какъ будто въ этомъ верченьи и были всѣ самыя неопровержимыя убѣжденія и доказательства.—У ней грезы, галюцинаціи,—прошептала она такъ таинственно, что Артингсонъ только по движенію ея губъ могъ догадаться, что такое она сказала.

— Но почему же вы думаете?...—снова спросилъ онъ.

— Ахъ! мистеръ Артингсонъ,—перебила его миссъ Драйлингъ, снова переходя въ восторженное состояніе,—но если бы вы знали, какая эта добрая, добрая чудная дѣвушка!...

И вдругъ миссъ Драйлингъ оглянулась и замолкла.

Позади нея стояла она сама, эта добрая, добрая, чудная дѣвушка.

Мистеръ Артингсонъ подошелъ къ ней и протянулъ ей руку. Онъ прямо, довѣрчиво смотрѣлъ на это лицо и невольно дивился—не красотѣ его, хотя красота была дѣйствительно поражающая,—онъ дивился перемѣнѣ этого лица. Онъ искалъ въ немъ то страстное, гордое, торжествующее выраженіе, которое такъ сильно взволновало его вчера, и не находилъ.

Передъ нимъ стояла красивая дѣвушка, съ такими ласковыми, довѣрчивыми глазами, съ такой милой улыбкой и такъ просто отъ души пожала она его руку и смотрѣла на него съ невинной дѣтской лаской...

— Миссъ Джени,—сказалъ онъ,—я до сихъ поръ не могу придти въ себя отъ того, что случилось вчера вечеромъ... я удивляюсь до сихъ поръ, что это было такое?

— Я не знаю,—отвѣчала она, садясь подлѣ него на кресло,—о чемъ вы говорите, сэръ, я не знаю—говорила она, по-

правляя обѣими руками свои чудныя роскошныя кудри—о чемъ вы меня спрашиваете, сэръ?

И странное дѣло! Даже голосъ ея былъ совсѣмъ другой; онъ былъ такой же пѣвучій, мелодичный, но въ немъ не звучала ни одна могучая, страстная, повелительная нота. «Это рѣшительно другая дѣвушка!» рѣшилъ мистеръ Артингсонъ.

— Я не знаю, сэръ, ничего! что случилось вчера. Я только смутно помню, что мы видѣлись съ вами, что вы играли, что я, кажется, пѣла... но что вы играли, и что я пѣла—я рѣшительно ничего не помню.

Артингсонъ обернулся къ миссъ Драйлингъ, какъ будто въ ней отыскивая разрѣшеніе этому странному недоумѣнію.

— Вы видите, видите, дорогой мой другъ,—говорили глаза миссъ Драйлингъ,—вы сами видите. Я была права, жестоко права,—и она качала головой и грустно улыбалась.

— Миссъ Джени,—заговорилъ вдругъ Артингсонъ какимъ-то рѣзкимъ, но глубоко откровеннымъ голосомъ,—мы сейчасъ говорили съ моимъ дорогимъ другомъ, съ вашей теткой...

— Съ моей матерью,—поправила его Джени,—съ моей матерью, сэръ. Я называю миссъ Драйлингъ не иначе, какъ моей дорогой мэмъ, и я думаю, что я права. Она отдала мнѣ все, что можетъ отдать своей дочери родная мать,—она отдала мнѣ свое сердце.

— Съ вашей матерью,—продолжалъ настойчиво Артингсонъ, нисколько не смущаясь этой поправкой и находя ее совершенно законной.—Мы говорили, миссъ Джени, о странностяхъ вашего характера, ума, сердца. Она разсказывала мнѣ, что вы были въ этой непонятной сектѣ, въ этой общинѣ «просвѣщенныхъ».

— Да, сэръ! Я не только была, я до сихъ поръ въ ней моими чувствами, умомъ, убѣжденіями.

— Но вѣдь эта секта, миссъ Джени, ни во что не вѣритъ!—произнесъ съ ужасомъ Артингсонъ.

Джени покачала головой.

— Вы ошибаетесь, сэръ; вы получили превратныя, очень превратныя понятія о «просвѣщенныхъ». Если вѣрой вы называете то неопредѣленное чувство; которое основывается только на влеченіяхъ сердца, одного сердца то этой вѣры «просвѣщенные» дѣйствительно не имѣютъ; но развѣ, сэръ это вѣра? Мы видимъ, что мірозданіе лежитъ въ предѣлахъ неуловимой, безпощадной законности; мы стараемся узнать эту законность, мы стремимся къ этому всѣми нашими помыслами, желаніями, трудами; мы ищемъ истину, мы жаждемъ ея свѣта и мы вѣримъ, да, мы вѣримъ, что дождемся этого свѣта! Развѣ это не вѣра?!

— Но, миссъ Джени!—вскричалъ съ удивленіемъ Артингсонъ,—вѣдь это ересь, вы не можете узнать ничего, что выше человѣческаго знанія—есть предѣлы земному! Тамъ, тамъ, только въ вѣчной жизни можетъ явиться эта истина, которой вы ищете, и то для немногихъ, для избранныхъ, для тѣхъ, кто «сердцемъ святъ, что чистъ душой»!

— Вы сами проповѣдуете ересь,—сказала, грустно качая головкой, Джени и смотря прямо на него своими ясными, черными глазами (Боже! какъ хороша она, думалъ Артингсонъ. Все въ лицѣ ея чудо совершенства, ума, граціи и удивительной, поражающей гармоніи!)—Развѣ пророки, вдохновенные глашатаи истины или поэты не знали ее. Или все, что они говорили, все, что сказано въ преданіяхъ, все это ложь или вы сами на себѣ не испытали этой силы вдохновенія? Развѣ къ вамъ не являлись тѣ минуты, когда человѣкъ какъ будто прозрѣваетъ, какъ будто видитъ дальше, чѣмъ онъ можетъ видѣть въ другія простыя, обыденныя минуты нашей прозаической жизни?

Артингсонъ приподнялся съ дивана. Его поразила эта

странная, небывалая мысль и это сопоставленіе. Ему показалось оно непростительной профанаціей.

— Миссъ Джени,—вскричалъ онъ,—да развѣ можно сравнивать то, что говоримъ мы, даже въ минуты вдохновенія, съ тѣмъ, что открываютъ намъ эти люди въ минуты ихъ великаго просвѣтленія! Вѣдь мы только растолковываемъ и собираемъ, по клочкамъ, земныя человѣческія чувства, а они, они...

— Не только можно, но даже должно, сэръ, сказала Джени самымъ убѣдительнымъ тономъ.—Если вы согласитесь, что поэтъ и всѣ. возвѣщающіе истину, говорятъ одно—одни больше, другіе меньше, то вы согласитесь также, что каждый человѣкъ, который не лжетъ, не лѣнится и стремится узнать истину, идетъ по тѣмъ же стопамъ, по той же дорогѣ. Одни творятъ больше, другіе меньше и кто рѣшитъ: больше ли созидаетъ вдохновенный пророкъ, поэтъ или ученый? Если одинъ открываетъ намъ великія истины, то другой указываетъ на ихъ примѣненія въ области чувства, третій—въ области ума. Неужели же вы скажете, что ученый работаетъ по пустому и поэтъ лепечетъ пустяки, что искусство и наука—ложь и призраки ума и чувства! Вѣдь вы сами поэтъ и музыкантъ!

Прошло нѣсколько мгновеній. Артингсонъ ничего не могъ отвѣтить. Онъ никогда не шелъ такъ далеко, для него вѣра была вѣрой, наука—наукой; искусство—искусствомъ. Такое широкое обобщеніе для него казалось немыслимымъ, потому что онъ никогда объ этомъ не думалъ.

— Но неужели же,—прошепталъ онъ,—все это по вашему одно и то же; неужели же вы думаете, что вѣра, наука и искусство идутъ къ одному, что они сливаются?!

— Да, мы убѣждены въ этомъ,—сказала Джени,—мы ищемъ вездѣ истину, и если художникъ и ученый не будутъ искренны, если они не будутъ работать ради истины,

ради одной истины, то ихъ созданья будутъ ничтожны, эфемерны или то, что они дѣлаютъ, дѣлаютъ не они, а сама Истина, тотъ законъ, тѣ случайности, которыхъ мы не знаемъ, которыхъ мы ищемъ, для того, чтобы не бродить въ потьмахъ.

Артингсонъ снова задумался. Онъ снова былъ пораженъ. Новое ученье, новый свѣтъ открывался передъ нимъ. Высоко приподнявъ брови, онъ посмотрѣлъ на миссъ Драйлингъ; но миссъ Драйлингъ изображала олицетворенный ужасъ.—«Вы видите говорили ея испуганные глаза, вы видите, что это эретичка, безбожница, а между тѣмъ, это моя племянница, моя дорогая, милая Джени, которую я люблю такъ сильно, потому что она умная и добрая, добрая дѣвушка...

— Но миссъ Джени,—сказалъ Артингсонъ,—вѣдь это все странно и неопредѣленно; вѣдь въ этомъ нѣтъ никакихъ вѣрованій; развѣ можетъ удовлетворять васъ только знаніе, развѣ вы найдете возможнымъ дойти до убѣжденія въ существованіи вѣчной жизни, въ необходимости человѣчности и братской любви?..

Джени посмотрѣла на него съ удивленіемъ—она не вдругъ поняла, о чемъ онъ спрашиваетъ; они, очевидно, говорили разными языками.

— Мистеръ Артингсонъ,—отвѣтила она,—чего мы не знаемъ, того мы не можемъ ни признавать, ни отвергать; но какъ же мы можемъ отвергать то, что существуетъ. Любовь существуетъ, оно дѣйствительно существуетъ—это міровое чувство. И мы стараемся узнать, опредѣлить всѣ рода, всѣ оттѣнки этого чувства, опредѣлить его связь съ другими явленіями и вліяніе его на эти явленія. Изъ каждаго чувства мы стараемся извлечь какъ можно больше пользы для нашего дѣла, для дѣла просвѣщенія, и что намъ за дѣло до человѣчности, до любви христіанской, мы адеп-

ты новаго ученья. Нашъ кружокъ, наша община работаетъ постоянно съ любовью къ ея дѣлу, къ дѣлу знанія во всѣхъ его видахъ, и вотъ ея задачи и цѣли, а до піетизма намъ нѣтъ дѣла...

— Что же это!—вскричалъ Артингсонъ,—это просто ученое общество ваше ученіе или секта?

— Нѣтъ! «просвѣщенные» не составляютъ такого ученаго общества, какія вы привыкли видѣть. Нашъ уставъ и наши принципы совсѣмъ иные... Да вы развѣ никогда не читали нашего журнала?

Артингсонъ сознался, что не читалъ. Онъ читалъ только возраженія, ожесточенные и грубые нападки на этотъ журналъ и эти нападки распространялись въ числѣ нѣсколькихъ сотъ тысячъ экземпляровъ въ одномъ изъ извѣстныхъ изданій. И вотъ эти-то нападки или это изданіе доставили сектѣ «просвѣщенныхъ» весьма странную и самую нелѣпую репутацію. Но развѣ существуетъ такая нелѣпость, въ которую не увѣровали бы въ самой прогрессивной странѣ, въ той странѣ, гдѣ сталкивается такая громадная масса всякихъ интересовъ, гдѣ конкурренція несется на всѣхъ парахъ, влечетъ все впередъ и роетъ яму чуть не каждому, на каждомъ шагу!

— Я сейчасъ принесу вамъ нашъ журналъ,—сказала, вставая, Джени и ушла бойкой походкой.

— Вы видите, видите, дорогой мой другъ!—быстро заговорила и замигала глазами миссъ Драйлингъ,—что же я могу тутъ сдѣлать? Вы видите, какъ она увлечена и какъ болитъ, о! какъ болитъ мое бѣдное сердце.

— Не унывайте, миссъ Драйлингъ,—утѣшалъ ее Артингсонъ—другъ мой. Можетъ быть, зло не такъ сильно—я самъ еще не понимаю, что это за странное ученье такое. Въ немъ, очевидно, какіе-то софизмы, какая-то небывалая юная философія, которая исчезнетъ, какъ все юное, и обратится къ строгимъ принципамъ великаго ученія.

Но, произнося эти слова, мистеръ Артингсонъ самъ былъ не вполнѣ увѣренъ, что онъ говорилъ истину.

— Вотъ онъ!—сказала, входя, миссъ Джени и подала Артингсону небольшую пачку печатныхъ листковъ. На первомъ изъ нихъ стояло:—«The Enlightener»—«*Просвѣтитель*».

— Вы позволите взять ихъ съ собой?—сказалъ Артингсонъ съ любопытствомъ перелистывая журналъ.

— О да, да!.. Хотя я вовсе не желаю пропаганды. Мы всѣ не желаемъ ея, мистеръ Артингсонъ. Мы убѣдились, что пропаганда приводитъ много званныхъ и мало избранныхъ, мало тѣхъ, которые могли бы трудиться съ умомъ, любовью и талантомъ. И вотъ почему, мы только изрѣдка устраиваемъ митинги и принимаемъ нѣкоторыя, самыя невинныя, мѣры для того, чтобы собрать для общества немного денежныхъ средствъ. Мы ищемъ капиталовъ, мы ищемъ средствъ повсюду, поодиночкѣ, строго взвѣшивая шансы и разбирая способности. Но, къ сожалѣнію—прибавила Джени грустнымъ голосомъ,—изъ тѣхъ немногихъ, которые работаютъ въ общинѣ, очень часто случай, прирожденныя симпатіи похищаютъ у насъ...

И вдругъ она остановилась, взглянула на миссъ Драйлингъ, бросилась передъ ней на колѣна и, цѣлуя ея руки, заговорила быстро, самымъ искреннимъ задушевнымъ голосомъ:

— О! мэмъ, мэмъ, моя дорогая, родная, я не дѣлаю никакого намека, я не о себѣ говорю—ты знаешь, что я забыла о себѣ, что я живу для тебя, для твоей жизни бѣдной, разбитой...

Артингсонъ былъ пораженъ словами, страстнымъ порывомъ этой дѣвушки. Его сердце сжалось: вѣдь это о тебѣ говорятъ! подсказало оно. И онъ чувствовалъ, что здѣсь передъ нимъ два больныхъ сердца,—одно пылавшее къ нему одному глубокой любовью, плачетъ теперь разбитое, похо-

роненное, а другое, другое отдало себя вполнѣ этому разбитому сердцу, оно пожертвовало самыми дорогими, разумными, человѣческими симпатіями, для того, чтобы это сердце могло жить... И мистеръ Артингсонъ ясно сознавалъ, что онъ разбилъ это сердце; онъ теперь только вполнѣ понялъ, что не только душа, но и тѣло миссъ Драйлингъ должно было принадлежать ему, и, снисходительно отказавшись отъ тѣла, онъ разбилъ самую душу.

Да! его положеніе было невыносимо неловко.

А миссъ Драйлингъ совершенно расплакалась, чуть не до истерики. Она цѣловала ея племянницу, ея милую Джени, цѣловала ея чудные глаза, руки съ такимъ страстнымъ порывомъ, какъ будто ей было не сорокъ восемь, а только двадцать лѣтъ.

— Простите, простите, дорогой мой другъ,—залепетала она сквозь слезы и рыданія, протягивая къ нему трепещущую руку.—Простите эту глупую безумную сцену!..—И онъ схватилъ эту руку и покрылъ ея нетолько поцѣлуями, но поздними, тихими слезами.

— Сэръ!—сказала Джени,—вы навѣрное останетесь здѣсь до вечера, я надѣюсь... я мечтаю, что у васъ вечеръ свободенъ.—И она вынула быстро изъ кармана флаконъ и подала его миссъ Драйлингъ, потомъ такъ же быстро вынула изъ другаго кармана другой флаконъ и, наливъ на ея розовую ладонь какую-то ароматическую, острую жидкость, начала смачивать ею виски и голову миссъ Драйлингъ.

— О! успокойся, моя дорогая мэмъ, я съ тобою, я не покину тебя, я люблю тебя,—шептала она.

И такъ нѣженъ, такъ былъ полонъ могучихъ звуковъ любви этотъ пѣвучій голосъ.

Артингсонъ и удивлялся, и любовался на это лицо, которое дышало силой жизни и дѣлало такой рѣзкій контрастъ съ старческимъ, страдающимъ лицомъ миссъ Драйлингъ.

— Я остаюсь, миссъ Джени, и повѣрьте, какія бы ни были дѣла, занятія, я остался бы,—говорилъ Артингсонъ,—если это только можетъ успокоить моего дорогаго друга, успокоить васъ, миссъ Джени.

И онъ остался; онъ былъ такъ разговорчивъ и одушевленъ за обѣдомъ, онъ говорилъ съ полной искренностью ребенка, онъ разсказывалъ такія подробности о его семейной жизни и съ такимъ чувствомъ описывалъ его счастье, его Джеллу, его дѣтей, что миссъ Драйлингъ невольно схватила его руку и такъ крѣпко пожала ее, какъ будто хотѣла сказать: видишь ли, я была права, и всѣмъ этимъ ты мнѣ обязанъ.

А послѣ обѣда она совсѣмъ опустилась. Старческое, дряхлое утомленье обхватило ее.

— Мэмъ! дорогая моя!—говорила Джени,—ты прилягъ здѣсь,—и она быстро перекатила своими прекрасными и сильными руками маленькій диванчикъ къ самому балкону:—ты прилягъ здѣсь; теплый вечерній воздухъ успокоитъ тебя.—И она положила на диванчикъ двѣ мягкихъ подушки.

— Я лягу,—говорила миссъ Драйлингъ,—можетъ быть я даже усну, а ты уведи мистера Артингсона туда—къ себѣ. Покажи ему твои приборы и аппараты. Я надѣюсь, онъ не будетъ взыскателенъ... Я успокоюсь и буду снова человѣкомъ, еще полнымъ жизни, хотя эта жизнь не нужна ни для кого и всѣмъ мѣшаетъ!..

Но Джени не дала договорить ей, она закрыла ей ротъ поцѣлуемъ и уложила ее на диванъ, поправила подушки и долго, долго, тихо цѣловала ея лобъ, пока чуткій сонъ, какъ будто навѣянный этими нѣжными поцѣлуями, не спустился на все это усталое, разбитое существо.

— Что же?—сказала она чуть слышнымъ шопотомъ Артингсону, приложивъ палецъ къ губамъ,—пойдемте ко мнѣ, въ мою келью.

И, оглядываясь поминутно назадъ, на цыпочкахъ, она повела его за собой.

Они прошли нѣсколько комнатъ, поднялись по витой чугунной лѣстницѣ въ верхній этажъ и, сквозь небольшую переднюю, вошли въ комнату или скорѣе залу, на порогѣ которой остановился съ изумленіемъ Артингсонъ.

Прежде всего его обдало ароматомъ всевозможныхъ невиданныхъ, громадныхъ цвѣтовъ, которые стояли на всѣхъ почти окнахъ-балконахъ этой комнаты. Всѣ простѣнки ея были уставлены шкафами, обвѣшаны гравюрами и фотографіями; затѣмъ вся середина ея была загромождена столами, на которыхъ были разбросаны книги, рукописи, разставлены какіе то странные инструменты физическіе или химическіе. Множество разныхъ банокъ широкихъ, плоскихъ стояло на этихъ столахъ и на одномъ изъ нихъ, подъ огромнымъ стеклянымъ колпакомъ, качались рычаги, вертѣлись колеса, дѣйствовалъ какой-то странный аппаратъ, который чуть не каждую минуту звенѣлъ чуть слышно невидимыми мелодичными колокольчиками.

— Садитесь, сэръ,—сказала Джени, придвинувъ къ одному столу мягкое, широкое кресло,—я принимаю васъ въ моей кельѣ или лабораторіи, назовите ее, какъ хотите. Я называю ее маленькимъ уголкомъ, которымъ я должна довольствоваться по-неволѣ. О! еслибъ вы видѣли наши лабораторіи, тамъ въ нашей общинѣ, въ нашемъ храмѣ Истины!

— Миссъ Джени!—сказалъ изумленный Артингсонъ,—я не знаю, чему здѣсь удивляться; я назвалъ бы этотъ уголокъ кабинетомъ ученаго, если бы здѣсь не было столько цвѣтовъ; и я не понимаю, неужели вы можете жить, работать въ этой тяжелой, ароматной атмосферѣ?!

— Могу, сэръ; я къ ней привыкла—это единственное мое утѣшеніе... О! Не думайте, что я сожалѣю о тѣхъ потеряхъ, о тѣхъ жертвахъ, которыя я принесла моей доро-

гой мэмъ. Нѣтъ!.. Я просто люблю цвѣты, ихъ свѣжесть, ихъ благоухающую атмосферу, и если ихъ ароматъ становится слишкомъ тяжелымъ; невыносимымъ для нервовъ, то мнѣ стоитъ только открыть этотъ кранъ, и газъ, который скрытъ тамъ въ резервуарѣ, нахлынетъ въ воздухъ и уничтожитъ раздражающій запахъ этихъ эфирныхъ маслъ.

— Но, миссъ Джени!.. мнѣ кажется, вы просто ученый. Что это тамъ у васъ на томъ столѣ? Мнѣ кажется, маленькіе акваріи, а тамъ, подъ этими стеклянными колпаками, растутъ какія-то растеньица... и этотъ инструментъ загадочный... что это такое? Это все ваши работы, ваши занятія?..

— Да, сэръ, я работаю, какъ долженъ работать, я полагаю, каждый человѣкъ; я работаю надъ многимъ понемногу, сколько позволяютъ мнѣ мои маленькія силы и средства, и—если хотите—я васъ посвящу отчасти въ наши таинства, потому что мы, всѣ члены общины, дѣйствительно работаемъ втайнѣ. Мы ищемъ во всемъ общей связи, разгадокъ великихъ явленій и вотъ почему почти ничего не печатаемъ изъ нашихъ работъ, не печатаемъ потому, что мы не связываемъ съ ними наши имена. Мы трудимся не для себя, а для дѣла и публикуемъ только тогда, когда изъ общихъ нашихъ усилій выходитъ какой нибудь общій стройный выводъ. Вотъ посмотрите, здѣсь,—говорила она, приподнимая нѣсколько стеклянныхъ колоколовъ,—воспитываются растенія подъ вліяніемъ различныхъ силъ, и весь вопросъ сводится къ тому, насколько эти силы измѣняются въ этихъ маленькихъ растеніяхъ и являются какъ будто чѣмъ-то особеннымъ. Вопросъ очень сложный и я тружусь только надъ самой маленькой долей его. Другіе, мои товарищи, мнѣ помогаютъ. Здѣсь въ этой машинѣ или аппаратѣ (и она подвела его къ большому стеклянному колпаку, которымъ былъ прикрытъ этотъ аппаратъ), здѣсь совершается, такъ сказать,

учетъ всѣхъ силъ, которыя дѣйствуютъ въ этой комнатѣ. Каждый солнечный лучъ, заходящій сюда, оставляетъ здѣсь слѣды его непосредственнаго вліянія и въ тепловыхъ и въ свѣтовыхъ отпечаткахъ, а по нимъ можно вывести учетъ этого вліянія, какъ дѣйствующей, возбуждающей силы на все, что здѣсь находится, растетъ, развивается. Вотъ здѣсь, сэръ,—и она изъ большаго картона вытащила пачку какихъ-то синевато-лиловыхъ бумажекъ, испещренныхъ множествомъ линій кривыхъ, ломаныхъ,—здѣсь вы видите образчикъ тѣхъ бюллетеней, которые ведетъ этотъ инструментъ—и записываетъ каждую минуту, каждую секунду... А тамъ—она быстро опустилась, сѣла на полъ и встряхнула каскадомъ ея черныхъ волосъ, и, какъ бы невольно, подлѣ нея опустился Артингсонъ—тамъ... она распахнула дверцы шкафа, на которомъ стоялъ приборъ. Вы видите другую еще болѣе сложную часть аппарата.

Артингсонъ заглянулъ внутрь и дѣйствительно увидалъ цѣлое громадное пространство. Часть его даже уходила подъ полъ и терялась гдѣ-то въ темной глубинѣ. И все это громадное пространство было занято множествомъ валиковъ, шестерней, колесъ, рычажковъ, винтовъ, трубокъ, цѣлой батареей какихъ-то длинныхъ, тонкихъ стеклянныхъ сосудовъ, цѣлымъ строемъ какихъ-то табличекъ. Все это вертѣлось, двигалось, опускалось, поднималось, то медленно, то съ неуловимой для глаза быстротою и какой-то тихій смѣшанный гулъ и неуловимый, тонкій запахъ поднимался отъ этого чудовищнаго прибора, который составлялъ какой-то особенный міръ.

— Здѣсь,—объясняла Джени, и объясняла съ увлеченіемъ, которое такъ сильно блестѣло въ ея прекрасныхъ глазахъ, здѣсь вы видите другую сторону учета. Каждый газъ, который смѣшивается съ воздухомъ въ этой комнатѣ, каждое испареніе отражаются въ этомъ аппаратѣ; на немъ можно

узнать всякое химическое соединеніе, которое моментально, въ минимальныхъ количествахъ появляется въ этой комнатѣ. Все, что пролетитъ въ здѣшней атмосферѣ, тотчасъ мгновенно улавливается и записывается этимъ аппаратомъ... А здѣсь, — и Джени распахнула дверцы другаго отдѣленія шкафа,—здѣсь записываются колебанія воздуха, всѣ звуковыя волны, весь теперешній разговоръ нашъ съ вами. Видите, какъ сильно хлопочетъ и работаетъ этотъ аппаратъ, теперь, когда наши слова заставляютъ его работать.

Но Артингсонъ ничего не видалъ больше; его изумленіе достигло предѣловъ. Никогда, нигдѣ онъ не читалъ, не слыхалъ объ томъ, что совершалось теперь въ-очію, передъ его глазами. Точно какой-то сказочный, волшебный міръ открывался передъ нимъ и при томъ все это совершалось въ какой-то своеобразной, странной и такой красивой, удивительно красивой обстановкѣ. На всемъ была видна какая-то чудная гармонія, все это сочеталось въ общій строй и эта громадная комната и весь ея странный порядокъ со множествомъ самыхъ разнообразныхъ запутанныхъ предметовъ и эти громадные ароматные цвѣты и блескъ заходящаго солнца на всемъ и, наконецъ, эта чудная дѣвушка, подъ лучами этого солнца, какъ будто сама сіяющая сильнѣе всякаго солнца, дышущая самымъ полнымъ совершенствомъ красоты, чуднымъ ароматомъ юности, силы, ума, таланта. И все это измѣрялось, записывалось этимъ страннымъ инструментомъ этимъ волшебнымъ чудовищемъ, которое такъ таинственно дѣйствовало передъ нимъ всѣми своими колесами, валиками, рычажками и шумѣло какимъ-то шепчущимъ, мягкимъ шумомъ и звенѣло мелодичными, серебряными колокольчиками.

— Миссъ Джени, — сказалъ онъ, быстро вставая съ полу,—я просто ослѣпленъ; я чувствую, что начинаю терять, всякую способность мыслить ,всякое пониманіе, соображеніе

все это точно чудо какое-то, которому и хочется вѣрить и не смѣешь вѣрить—до того оно необыкновенно.

Она закрыла дверцы шкафовъ и сама поднялась съ полу.

— Мистеръ Артингсонъ, — сказала она съ грустью,— еслибъ вы знали какъ много въ этомъ аппаратѣ не совершеннаго, какъ много надо работать, сколько ума и таланта потратить на то, чтобы онъ служилъ дѣйствительно полнымъ наблюдателемъ всѣхъ явленій даже въ этой комнатѣ. Вы, вы не были бы изумлены ни его дѣйствіемъ, ни его сложностью. Правда, онъ замѣняетъ человѣка, даже нѣсколькихъ человѣкъ, но что же изъ этого. Тамъ у насъ есть аппараты, которые могутъ записывать даже мысли, даже чувства человѣка, но какъ все это сложно, запутано и какихъ трудовъ требуетъ управленіе и работа съ этими аппаратами! И затѣмъ, развѣ они даютъ разгадку? Они даютъ только матеріалъ, надъ которымъ нужно работать цѣлые годы, цѣлые десятки лѣтъ.

Артингсонъ былъ снова пораженъ; снова его мысль, удивленіе было возбуждено этими неслыханными результатами.

— Миссъ Джени,—вскричалъ онъ,—такъ-ли я васъ понялъ! Вы говорите, что мысли и чувства могутъ быть записаны и измѣрены? Вы можете измѣрить душу человѣка!..

— То-есть индивидуальность, вѣроятно хотѣли вы сказать. Да, сэръ! до нѣкоторой степени, и я вамъ могу показать примѣръ тому, даже на этомъ моемъ маленькомъ бѣдномъ аппаратѣ. — Она быстро наклонилась къ шкафу, въ которомъ машина записываетъ звуки, раскрыла его и передвинула въ немъ какой-то механизмъ.—Я поставила его для сильныхъ звуковыхъ волнъ и теперь посмотрите на результатъ его работы.

И она быстро пошла въ дальній уголъ этой комнаты. Въ этомъ углу, подлѣ камина, стояло маленькое піанино,

котораго Артингсонъ до сихъ поръ не замѣтилъ, и надъ этимъ піанино на полкахъ статуэтки, слѣпки съ разныхъ знаменитыхъ классическихъ произведеній древней Греціи. Тамъ были коллекціи рукъ, ногъ и экорше въ разныхъ позахъ.—Она сѣла за піанино и Артингсонъ опустился подлѣ нея на табуреткѣ.

Его сердце билось тѣмъ тихимъ, тяжелымъ тактомъ, который является при сильномъ волненіи. Онъ весь былъ наэликтризованъ, всѣмъ, что его окружало. и все это связывалось какъ въ центрѣ въ ней, въ этой удивительной дѣвушкѣ, на которую онъ не могъ смотрѣть иначе, какъ съ восторгомъ благоговѣнія, какъ на существо, выше котораго онъ не встрѣчалъ во всѣ года своей, уже пожилой жизни.

И при этомъ благоговѣніи онъ въ то же время ясно сознавалъ, чувствовалъ, что это существо дѣтски доброе и что между нимъ и ей нѣтъ ничего, никакихъ тайнъ, недоразумѣній, что ихъ сердца родныя, близкія.

— Я вамъ съиграю одну и ту же мелодію съ разными оттѣнками чувствъ, сказала она и начала играть какой-то странный, бѣглый и глубокій presto appassionato. — Но въ этой игрѣ, при всей ея восхитительной, безукоризненной техникѣ, было все мертво, деревянно.

И, между тѣмъ, Артингсонъ слушалъ съ увлеченіемъ эту мастерскую, виртуозную игру, этотъ странный мотивъ, въ которомъ было гораздо больше силы мысли, чѣмъ во всѣхъ твореніяхъ Моцарта и Бетховена.

— Что это такое?—спросилъ онъ,—стараясь припомнить, гдѣ, когда онъ слышалъ эту чудную мелодію.

Но, не отвѣчая ему, она сказала:

— А теперь, сэръ, слушайте тоже самое, только иначе выраженное.

Она какъ-будто задумалась на одно мгновенье, не отры-

вая рукъ отъ піанино и все лицо ея странно преобразилось: — глаза поднялись кверху, заблѣстѣли невыразимымъ блескомъ, грудь заколыхалась и по всему ея тѣлу, казалось, пробѣжала какая-то странная дрожь, какъ зыбь, еще не улегшагося бурнаго моря. Она взяла morendo, глухо, первые басовые аккорды и вдругъ разразилась цѣлымъ потокомъ страстныхъ, восторженныхъ звуковъ, въ которыхъ каждая нота любила, страдала, молила и глохла какъ жизнь молодая и безвременно погибшая!

Артингсонъ вскочилъ. Онъ никогда не слыхалъ такой музыки, такой восторженной страстной музыки, въ которой, казалось ему, выразились всѣ человѣческія страсти и страданія, всѣ ихъ бури и скорби, ихъ отчаяніе и наслажденіе жизнью.

— Миссъ Джени,—вскричалъ онъ,—что это такое? Что за удивительная, сильная музыка?

Но опять, не отвѣчая ему, она быстро встала, руки ея еще дрожали, еще не улеглось волненіе въ груди.

— Смотрите, сэръ! — сказала она, опускаясь къ шкафу и вынимая изъ него двѣ длинныхъ, свернутыхъ полосы бумаги, разграфленной на мелкія клѣточки. Вотъ, смотрите, какая громадная разница между простой игрой и между игрой съ одушевленіемъ, и она показывала ему ломанныя линіи, начертанныя на этихъ клѣточкахъ. Вы видите, какъ высоко поднимается, дрожитъ каждый страстный звукъ. Отсюда изъ этихъ двухъ линій можно вычислить самое напряженіе страсти, чувства въ его оттѣнкахъ.

Но Артингсонъ почти не слушалъ, не понималъ, не хотѣлъ слушать, что она толковала.

— Миссъ Джени! меня больше занимаетъ эта музыка, самая музыка, которую вы играли! Откуда это? Позвольте я попробую.

И, не дожидаясь позволенія, онъ началъ пробовать вос-

произвести это музыкальное море страсти. Оно еще звучало въ его ушахъ, въ его сердце; ему жаль было растаться съ этимъ чуднымъ непостижимымъ сочетаньемъ звуковъ.

— Это, сэръ, одинъ кусокъ изъ нашихъ практическихъ упражненій, изъ связи музыки и чувства.

Онъ не слушалъ ея, онъ старался уловить тонъ аккордовъ —хоть часть, малую часть этихъ дивныхъ звуковъ.

— Не такъ, сэръ, не такъ,—поправляла она и, наклоняясь къ его лицу цѣлымъ моремъ своихъ ароматныхъ волосъ, дрожавшими пальцами она показывала ему аккорды и мелодію.

Но ни аккорды, ни мелодія не давались ему, онъ чувствовалъ себя въ какой-то странной, опьяняющей атмосферѣ. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ видѣлъ, что пальцы ея не только бѣгали по клавишамъ, бѣгали съ неуловимой быстротой, но они какъ-то странно дрожали. Они производили такіе быстрые, повторяющіеся удары, которыхъ не въ состояніи произвести, казалось ему, ни одинъ піанистъ.

— Миссъ Джени,—сказалъ онъ, невольно откидываясь назадъ отъ ея чудной молодой, трепещущей и волнующейся фигуры,—миссъ Джени! ваши пальцы, мнѣ кажется, иначе устроены. Что это за странный, невыданный, такой тушъ!

— О, сэръ,—сказала она, и улыбнулась ея доброй привѣтливой улыбкой, — это очень просто. Тутъ не столько нервы, сколько мышцы играютъ роль, мышечное чувство.— Она достала съ полки надъ піанино гипсовую женскую ручку, на которой были показаны всѣ мышцы, всѣ ихъ тонкія нѣжныя ленты.

— Вотъ, сэръ,—говорила она,—что необходимо развить для того, чтобы достичь этихъ быстрыхъ tremolo,—и она показала ему эти тонкія ленты — и я развила ихъ съ помощью магнитно-электрическихъ токовъ, развила такъ, что

они видны даже сквозь покровы,—и она поднесла къ его глазамъ ея чудную ручку.—О! какъ хороша, неподражаемо хороша была эта ручка! Въ ней все было гармонія, грація, сила, какія-то особенныя, удивительно красивыя выпуклости и углубленія проходили по ней, круглились легкими волнующимися линіями и исчезали на концахъ пальцевъ и въ чудныхъ окраинахъ ладони...

— И этого мало,—говорила она съ какимъ-то дѣтскимъ увлеченіемъ, стараясь открыть, растолковать ему весь чудный механизмъ этой игры. — Эта сила мускуловъ въ пальцахъ отражается въ кисти, въ мышцахъ руки, даже предплечія.—И быстрымъ движеніемъ она открыла весь широкій бѣлый кисейный рукавъ платья и обнажила передъ нимъ всю свою сверкающую, бѣлую античную руку.

Нѣтъ, это была не просто античная рука, въ ней было что-то высшее, болѣе сложное. Такъ красивы, непередаваемо красивы были всѣ ея волнистые изгибы, возвышенія и округлости. Онъ готовъ былъ молиться на эту руку, на весь этотъ образъ чудной, казалось ему, неземной красоты.

— Миссъ Джени!--спросилъ онъ тихо и восторженно,— вы, вы, записывающіе и мысли и чувства, вы механическими пріемами сливающіе чувство и музыку... скажите пожалуйста: опредѣлили-ли, измѣрили-ли, записали-ли вы *любовь*? Разгадали-ли вы, что это за повелительное чувство, зажигающее кровь въ человѣкѣ, заставляющее дрожать всѣ его нервы и уносящее его въ какой-то безпредѣльный, вѣчный міръ, въ даль неисповѣдимаго вѣчнаго?!

Она посмотрѣла на него съ удивленіемъ, на его блестѣвшіе глаза и вдругъ быстро опустила руку. Тонкая краска смущенія, стыда разлилась по ея лицу, заблестѣла сквозь кисею платья, какъ блѣдный пурпурный отблескъ зари.

— Мистеръ Артингсонъ!—сказала она грустно и робко,

сдвинувъ тонкія брови, — это одно и можетъ быть единственное чувство, которое мы не можемъ опредѣлить, взвѣсить во всѣхъ его безконечныхъ проявленіяхъ... И зачѣмъ вы мнѣ предлагаете этотъ странный вопросъ?!—И она взглянула на него и тотчасъ же снова опустила ея черныя рѣсницы. Она не могла выдержать этого восторженнаго взгляда Артингсона, который смотрѣлъ на нее въ упоръ, не мигая, какъ-бы заколдованный этимъ чуднымъ видѣньемъ, этимъ образомъ смущенной, застыдившейся красоты.

— Ну, вотъ и я!—раздалось позади его.

Онъ вздрогнулъ и обернулся къ миссъ Драйлингъ.

— Я теперь опять человѣкъ,—говорила любезно миссъ Драйлингъ. — Я къ вашимъ услугамъ, дорогіе мои... А ты моя родная, ты, надѣюсь, была любезна съ мистеромъ Артингсономъ, съ этимъ чуднымъ мистеромъ Артингсономъ! О, простите меня, простите, дорогой мой, сэръ Артуръ! Мнѣ теперь такъ хорошо, свѣжо послѣ этого освѣжающаго сна. Мнѣ хочется болтать, шалить, какъ малому ребенку, и она обняла одной рукой Джени, а другую протянула Артингсону.

И цѣлый вечеръ она была бодра и разговорчива. Она припоминала самые смѣшные случаи изъ ихъ прежней, молодой жизни. Но Артингсонъ разсѣянно слушалъ и не отвѣчалъ ея шутливому настроенію. Внутри его проходили какія-то неуловимыя, тревожныя тѣни. Тамъ открывался новый міръ, новые вопросы, цѣлый рядъ вопросовъ. И Джени сама не знала, что съ ней творится. Что-то такъ же новое, небывалое, нахлынуло, обхватило ее и перевернуло всѣ чувства и мысли. Все, чѣмъ жило ея сердце такъ полно и беззавѣтно, все это вдругъ показалось ей мелкимъ. И эти всѣ аппараты, и вся эта трудная, сложная работа, словомъ все, что она считала святымъ, высшимъ, великимъ, всѣ вопросы «просвѣщенныхъ» и только одинъ вопросъ, вопросъ, кото-

рый привелъ ее въ смущенье: вопросъ, что такое любовь? звучалъ во всемъ существѣ ея. И всего сильнѣе смущало ее то, что она не могла теперь смотрѣть на Артингсона прямо, просто, какъ смотрѣла еще такъ недавно, какъ привыкла смотрѣть на всѣхъ, съ самаго дѣтства.

Нѣсколько разъ она пыталась заговорить съ нимъ по прежнему, какъ съ другомъ ея дорогой мэмъ (о! болѣе, гораздо болѣе, чѣмъ съ другомъ) и не могла. Она уважала его по прежнему, это она ясно, отчетливо сознавала, даже больше, чѣмъ прежде. Но что же смущало ее и не отталкивало (о! нѣтъ), но влекло къ нему, какъ влечетъ потокъ, бурливый, сильный, легкую пушинку, упавшую въ него случайно. Она чувствовала этотъ потокъ въ ея всколыхавшемся сердцѣ и не могла совладать съ нимъ. И въ первый разъ измѣнялъ ей тотъ сложный и строгій анализъ, съ которымъ относились ко всѣмъ явленіямъ всѣ «просвѣщенные».

— Ну что, мой дорогой другъ,—спрашивала миссъ Драйлингъ Артингсона, когда они остались вдвоемъ,—вы говорили съ ней, вы убѣждали ее?

— Миссъ Драйлингъ, дорогой мой другъ, сказалъ онъ. —Я ничего не могу теперь отвѣчать вамъ. Прежде всего я изумленъ, подавленъ способностями, дѣятельностью миссъ Джени. Дайте мнѣ подумать. Я могу только теперь завѣрить васъ, что во всю мою жизнь, въ цѣлую жизнь мою, я не встрѣчалъ другаго подобнаго, удивительнаго созданія!

И миссъ Драйлингъ пристально посмотрѣла на него и перемѣнила тэму разговора. Но на всѣ тэмы Артингсонъ не отзывался. Его постоянно волнующаяся, восторженная натура куда-то ушла въ глубь, къ тѣмъ широкимъ, широкимъ вопросамъ, которые вставали тамъ, внутри его ума или сердца—онъ не могъ рѣшить. Что такое знаніе? И что такое вѣра? постоянно вертѣлось во всемъ существѣ его

и чувствовалъ онъ, что эти великіе вопросы поставила *она* (опять эта *она!*).

Въ десять часовъ, смущенный, разсѣянный, жалуясь на головную боль, онъ простился съ миссъ Драйлингъ и съ ней, съ этой удивительной дѣвушкой.

Онъ отыскалъ свою шляпу въ гостиной, въ этой шляпѣ лежала пачка «Просвѣтителя». Онъ схватилъ ее, спряталъ на грудь, подъ сюртукъ и, надѣвъ шляпу, выбѣжалъ вонъ.

На улицѣ обступила его шумная возня городской жизни, но онъ не замѣчалъ ее. Сновали кэбы и прохожіе, кричали разносчики и газетчики, гудѣли шарманки, расхаживали полисмены съ ихъ длинными палками и черствыми физіогноміями и угрюмо и подозрительно осматривали снующій народъ. Одна разнощица, толстая, высокая, красная, рябая, въ вязанномъ высокомъ чепцѣ, загородила дорогу Артингсону и совала ему въ глаза связку длинныхъ сосисокъ: «Вотъ, сэръ,—кричала она,—свѣжія, свѣжія, свѣжѣе всякихъ новостей и новаго президента!». Артингсонъ отстранилъ ее и быстро шелъ дальше или, правильнѣе говоря, бѣжалъ, ничего не видя, ничего не слыша!

«Я ребенокъ,—думалъ онъ,—я дѣйствительно ребенокъ—я не могу сладить съ своими чувствами; или я дуракъ, сумасшедшій, или все, что передо мною совершается—все это дѣйствительно сонъ, сказка, фантастическая сказка и она, эта волшебница, это загадочное, умное, о! черезъ-чуръ умное, даже, ученое и кроткое, любящее, восторженное, и вмѣстѣ съ тѣмъ, простое, о! какъ ребенокъ простое, странное существо...

Онъ прошелъ чуть не полдороги и думалъ все о томъ же, объ одномъ и томъ же, вспоминая, удивляясь, объясняя и снова недоумѣвая.

Почти около отеля, гдѣ онъ жилъ, усталый, измученный,

онъ нанялъ извозчика и, пріѣхавъ домой, тотчасъ же бросился писать письмо.

«Дорогая моя Джелла! писалъ онъ, я не знаю гдѣ я и что со мной. Ты, всегда разсудительная, покойная, не волнующаяся, ты и теперь съ недоумѣніемъ прочтешь мое письмо и подумаешь, что я, по обыкновенью, по моей пылкой, восторженной натурѣ, опять принялъ слюду за золото, или хрусталь за алмазъ. Но я желалъ бы, чтобы ты была здѣсь, сама была здѣсь и взглянула бы и оцѣнила это странное, непонятное, это чудное существо, съ которымъ столкнула меня судьба».

И онъ описалъ Джени именно въ тѣхъ волшебныхъ, радужныхъ краскахъ, въ которыхъ она ему представлялась.

«О!—писалъ онъ,—какъ бы я желалъ, какъ бы я былъ счастливъ, если бы наша Лида походила на эту дѣвушку. Я знаю, дорогой другъ мой, что ты имѣешь слабость къ нашей дорогой Лидѣ, что для тебя она кажется полнымъ совершенствомъ, но если бы ты видѣла эту дѣвушку, эту чудную дѣвушку, о! ты сказала бы, что я правъ!..»

«Я пробуду здѣсь,—заканчивалъ свое письмо Артингсонъ,—пробуду еще нѣсколько дней и полечу къ тебѣ, моя родная. О! если бы ты знала, какъ мнѣ хочется скорѣе вырваться изъ этого омута, изъ этого хаоса, который охватилъ и мое сердце, и мою голову? Цѣлую, крѣпко цѣлую нашу Лиду, благодарю ее за письмо, и нашу Эмму. Твой, твой до гроба и за гробомъ.

«Артуръ».

Но хаосъ, о которомъ писалъ этотъ Артуръ, вѣрный и до гроба и за гробомъ, его родной Джеллѣ, обхватилъ дѣйствительно все его существо.

Когда онъ писалъ письмо, то передъ нимъ стоялъ, нѣтъ, не стоялъ, а наклонялся своей чудной головкой, съ ароматными кудрями образъ этой «волшебницы», этой «уди-

вительной дѣвушки». Но когда онъ кончилъ письмо и легъ въ постель, то снова этотъ образъ носился надъ нимъ невидимый, неуловимый. Онъ чувствовалъ его присутствіе вокругъ себя и тамъ, тамъ, гдѣ-то внутри, въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ взволнованнаго сердца.

— Что же это такое,—подумалъ онъ?!... и наконецъ, послѣ долгихъ усилій, рѣшилъ: «это просто та пахучая атмосфера, въ которой я пробылъ такъ долго, она вызываетъ этотъ образъ, нераздѣльный съ ней въ моемъ воспоминаніи.

И онъ, не разсуждая дальше, довольный этимъ первымъ попавшимся подъ руку объясненіемъ, схватилъ «The Entlightener» и началъ читать его съ жадностью, съ наслажденіемъ, какъ-будто каждую страницу перевертывалъ передъ нимъ, на каждую строку указывалъ этотъ образъ чудной благоухающей дѣвушки.

Вотъ что читалъ онъ:

III.

«Мой просвѣщенный читатель!» такъ начиналась первая, передовая статья перваго номера. «Можетъ быть ты самый ученѣйшій и просвѣщеннѣйшій человѣкъ, но ты, вѣрно, согласишься, что при всей твоей учености и просвѣщеніи, жизнь твоя остается до сихъ поръ неустроенною. Ты, если не дрожишь за твои полновѣсные доллары, то можетъ быть дрожишь за эту собственную твою жизнь, которой угрожаютъ тифы, чахотки, удары и нервные, и апоплексическіе и громовые, и тысячи случайностей, которыя ждутъ тебя на каждомъ шагу, изъ-за каждаго угла... Но, положимъ, ты застрахованъ, хотя разумѣется не безсмертенъ, но застрахованы ли всѣ твои привязанности, все, что дорого тебѣ въ твоихъ друзьяхъ, въ твоей семьѣ?.. Но положимъ и здѣсь ты

покоенъ, а гдѣ же гарантіи противъ тебя самого, противъ твоего самоубійства, твоихъ страстей, противъ всѣхъ тѣхъ неустройствъ, которыя бушуютъ внутри тебя самого и противъ тѣхъ безпорядковъ, которые разлагаютъ общество медленно и неотразимо?!»...

«Пойми, говорила далѣе статья, что наука и жизнь должны идти рука объ руку; не та наука, которая дробится въ мелочахъ, зарывается въ спеціальностяхъ, ищетъ дождевыхъ червей, но наука, ведущая тебя прямо къ свѣту, освѣщающая путь твоей жизни идущей въ потьмахъ, не смотря на весь блескъ солнечнаго свѣта, который можетъ быть погаснетъ не сегодня, такъ завтра, потому что ни одна компанія въ цѣломъ мірѣ не гарантировала прочности этого свѣта!...

«Тамъ, тамъ, говорила та же статья, немного далѣе,—въ неразгаданныхъ тайникахъ скрыто и твое будущее, и твое счастье. Не ищи его въ фантазіяхъ мистическихъ утопій; въ здѣшней или въ будущей жизни, — если таковая существуетъ, — все равно, оно лежитъ въ одномъ, — свѣтломъ источникѣ этой жизни,—въ Истинѣ, всеобъемлющей, всемогущей, которую мы называемъ на нашемъ бренномъ, обманчивомъ языкѣ сознаньемъ, наукой, умомъ, чувствомъ, любовью, не понимая, что всѣ эти опредѣленія, мимолетныя и мимоидущія «слова, слова, слова!..»

. . . . . .

«Случайность, читалъ далѣе Артингсонъ въ другой статьѣ,—есть частное явленіе, въ какомъ-либо общемъ кругѣ, столкнувшееся и пересѣкшееся явленіями другого круга или нѣсколькихъ круговъ. Слѣдовательно, намъ необходимо узнать, изучить начало и развитіе всѣхъ круговъ для того, чтобы разъяснить и предупредить или вызвать случайности. Въ мірѣ планетъ, при ихъ движеніи, могутъ быть разныя комбинаціи и мы можемъ предсказать ихъ, вычислить зара-

нѣе. То же самое можетъ наука современемъ сдѣлать и въ мірѣ случайностей; но здѣсь циклы сложнѣе, элементы дробнѣе и многочисленнѣе; почти каждая частица матеріи можетъ быть источникомъ отдѣльнаго цикла явленій»...

Да! Но наука никогда не дойдетъ до этого, подумалъ Артингсонъ.

«Подъ именемъ музыки», — читалъ онъ далѣе, въ спеціальной статьѣ, озаглавленной: **Что такое музыка?**...— «подъ именемъ музыки обыкновенно понимаютъ извѣстныя сочетанія звуковыхъ волнъ, извѣстныя колебанья воздуха, которыя могутъ произвести въ нашихъ нервахъ тотъ или другой строй, но при этомъ опредѣленіи упускаютъ изъ виду то обстоятельство, что воздухъ есть смѣсь двухъ газовъ, и что колебанія какихъ бы то ни было газовъ, даже самыхъ тонкихъ и болѣе упругихъ, могутъ являться въ видѣ звуковыхъ волнъ. Съ другой стороны, звуковая волна можетъ замѣняться свѣтовой или тепловой, а эти послѣднія превращаются въ электромагнитныя волны нашихъ нервныхъ токовъ. Слѣдовательно, задачи музыки лежатъ, во 1-хъ, въ разгадкѣ всѣхъ звуковыхъ колебаній, во 2-хъ, въ разгадкѣ этихъ колебаній въ нервахъ, въ 3-хъ, въ разрѣшеніи, какимъ образомъ эти колебанія сливаются съ жизнью, какой переворотъ производятъ онѣ въ ея строѣ и какіе благотворные результаты онѣ вносятъ въ этотъ строй; наконецъ, въ 4-хъ, эти задачи разсматриваютъ звуковыя колебанья, какъ часть общихъ міровыхъ явленій, и указываютъ, какимъ образомъ они могутъ сливаться со всею дѣятельностью и развитіемъ человѣчества...»

Артингсонъ прочелъ нѣсколько разъ прежде чѣмъ понялъ смыслъ этого страннаго мѣста, и когда понялъ, онъ невольно приподнялся съ постели. — «Да вѣдь это новый міръ, новый особенный міръ, вскричалъ онъ! — Ну! а если все это сумасбродство?! Да иначе не можетъ быть, и ничего

здѣсь нѣтъ, кромѣ бездоказательныхъ фантазій и философскихъ соображеній!»

И онъ съ жаромъ принялся читать цѣлый длинный рядъ статей, которыя были напечатаны въ нѣсколькихъ нумерахъ подъ разными рубриками. Но фантазіи не было въ этихъ статьяхъ. Философскихъ соображеній тоже не оказалось. Все это были чисто практическіе результаты, чисто эмпирическіе выводы. Приводилось множество опытовъ, цѣлый рядъ чертежей, объясняющихъ ихъ, приводились даже математическія вычисленія и длинныя формулы испещряли цѣлыя страницы.

И чѣмъ яснѣе, убѣдительнѣе становились для Артингсона эти выводы, тѣмъ яснѣе, отчетливѣе являлась передъ нимъ фигура этой странной загадочной дѣвушки, наклонившейся надъ піанино и быстро, неуловимо, быстро, игравшей передъ нимъ дрожавшими tremolo страстную, божественную музыку.

— Я просто, кажется, весь проникся ароматомъ ея комнаты,—подумалъ онъ,—мнѣ все чудится этотъ запахъ, этотъ тонкій, нѣжный, освѣжающій и вмѣстѣ съ тѣмъ раздражающій запахъ... Или эти листы пропитались ея атмосферой? И онъ хотѣлъ поднести къ лицу эти листы, и вдругъ ему бросился въ глаза крупный заголовокъ:

«**Что такое любовь?**»

— Вотъ онъ неразрѣшимый вопросъ!—подумалъ Артингсонъ, и глаза его жадно впились и забѣгали по строкамъ статьи.

«Это одно изъ самыхъ великихъ и неопредѣленныхъ явленій, говорила статья. Это явленіе міровое, и названіе собственно любви мы обыкновенно придаемъ только одному виду его; при томъ и этотъ видъ заключаетъ въ своей рубрикѣ множество частныхъ категорій. Въ общихъ явленіяхъ это чувство можетъ быть выражено даже въ міровомъ притяженіи, если только это притяженіе можетъ быть сведено

на магнитную силу. Затѣмъ, магнитныя явленія, или, вообще, разнородныя электрическія напряженія, представляются стимулами и возбудителями влеченій, симпатій и, вообще тѣхъ чувствъ, которыя мы называемъ любовью...

«Любовь,—читалъ далѣе Артингсонъ,—является вмѣстѣ съ индивидуальностью и именно съ ней связывается все, что обыкновенно называютъ чувствомъ самосохраненія, эгоизмомъ, самолюбіемъ, со всѣми ихъ производными: честолюбіемъ, гордостію, скупостью»...

«Все это, весь комплексъ этихъ страстныхъ отношеній возникъ въ силу простого сознанія собственной индивидуальности и ея отношеній къ окружающему міру»...

Далѣе статья указывала, какимъ путемъ онъ возникъ, разбирала и объясняла, какъ всѣ органы нервной системы и другихъ системъ участвуютъ въ явленіяхъ этой индивидуальной любви. Статья представляла множество примѣровъ, наблюденій, даже опытовъ...

«Совсѣмъ другой родъ любви, говорила она далѣе, мы видимъ въ тѣхъ отношеніяхъ, которыя можемъ назвать собственно любовью или симпатіями безсознательными и сознательными. Разсмотримъ сперва симпатіи безсознательныя. При этихъ симпатіяхъ является не простое индивидуальное стремленіе, хотя эти симпатіи и выражаются часто въ сильномъ желаніи обладать предметомъ, который намъ нравится; но при полномъ развитіи этого чувства, самый этотъ предметъ, независимо отъ насъ, становится возбудителемъ нашихъ чувствъ и, такъ сказать, центромъ притяженія...»

Затѣмъ статья разбирала явленія любви матери и любви половой, сравнивая ихъ, указывая сходство съ одной стороны и глубокую разницу съ другой. Далѣе она устанавливала категоріи для этихъ явленій и объясняла ихъ сущность. Эта сущность скрывалась въ удивительно сложныхъ физіологическихъ и психологическихъ явленіяхъ организма и пре-

имущественно въ колебаніяхъ электромагнитныхъ волнъ въ нервахъ. Изъ этого основанія, поставленнаго на фактической почвѣ, статья шла дальше; она распредѣляла категоріи симпатій не только въ разныхъ темпераментахъ, но и въ разныхъ націяхъ; она разбирала, какъ называла она, полярность отношеній между разными варіантами организмовъ мужчины и женщины, она входила въ удивительныя, самыя тонкія физіологическія и анатомическія подробности.

— Какой, однако, грубый цинизмъ!—невольно подумалъ Артингсонъ, котораго оттолкнуло это подробное описаніе разныхъ частей организма. Онъ не привыкъ къ этимъ труднымъ изслѣдованіямъ. Они казались ему чѣмъ-то грубымъ, матеріальнымъ, при представленіи о такомъ идеальномъ чувствѣ, какъ любовь.

Но вдругъ все его вниманіе было приковано однимъ описаніемъ.

Статья подъ одной изъ категорій, именно 32-й, описывала его, мистера Артингсона, его страстный, умный и талантливый организмъ. Она описывала его натуру, его чувства, однимъ словомъ, это былъ точный, вѣрный портретъ его даже до мельчайшихъ подробностей его души и тѣла.

— Это они съ меня списали!—подумалъ онъ съ сильнымъ изумленіемъ.

«Такія натуры, говорила статья, требуютъ для своихъ законныхъ симпатій такихъ же страстныхъ и талантливыхъ, неудовлетворенныхъ натуръ. Только тогда получаютъ ихъ симпатіи правильное естественное теченіе, и, если при этомъ онѣ рѣдко достигаютъ того довольства, которое даетъ имъ такъ называемое семейное счастье, то за то дѣти ихъ являются въ видѣ также страстныхъ и талантливыхъ натуръ, которыя могутъ быть въ высшей степени производительны для жизни цѣлаго общества».

«Для мужчинъ этой категоріи, говорила статья, симпа-

тическую пару составляютъ брюнетки съ цвѣтомъ тѣла десятой клѣтки спектра; съ роскошно развитыми черными волосами и съ электрическимъ напряженіемъ въ 0,8 м., съ большими разрѣзами глазъ, съ большими черными (степень Е) глазами...»

И чѣмъ далѣе шло это описаніе, тѣмъ яснѣе и яснѣе изъ него выходилъ образъ ея, этой дѣвушки, этой загадочной миссъ Джени. И когда статья, съ прежнимъ цинизмомъ начала входить во всѣ тонкія анатомическія подробности, то руки мистера Артингсона слегка задрожали, глаза подернулись туманомъ и онъ съ негодованіемъ бросилъ листки журнала...

— Все это чепуха!—вскричалъ онъ вслухъ,—чепуха и сумасбродство; глупыя фантазіи разтлѣннаго воображенія!

И между тѣмъ, въ то же мгновеніе онъ опять съ жадностью схватился за эти глупыя фантазіи... Впрочемъ, онъ перевернулъ цѣлую страницу.

«Всѣ наши наблюденія, говорила статья, сдѣланы надъ 30,000 субъектовъ и 2,000 труповъ. Мы нѣсколько разъ повѣряли наши опыты, и если не печатаемъ теперь всѣхъ длинныхъ рядовъ цифръ, всѣхъ таблицъ, составленныхъ нами, то это потому, что мы желаемъ вполнѣ закончить наши работы и привести ихъ къ полнымъ, цѣльнымъ и связнымъ результатамъ»...

Артингсонъ, пропустилъ цѣлыхъ два §§ и остановился на § подъ рубрикой: *безсознательная и подавленная любовь дѣвушки*. Онъ съ новою жадностью началъ читать его.

«Одно изъ страстныхъ и самыхъ неопредѣленныхъ явленій, говорилъ параграфъ, представляетъ подавленная любовь дѣвушки,—любовь, которая можетъ появиться вдругъ, внезапно, вслѣдствіе встрѣчи съ мужчиной, который составляетъ ея симпатическую пару, и которая можетъ быть подавлена въ силу разныхъ случайныхъ обстоятельствъ. Всего

чаще эта любовь переходитъ въ мистическое чувство, какъ и всякая половая любовь...»

Артингсонъ отшатнулся отъ этихъ страшныхъ строкъ и задумался надъ ними.

«Это просто какой-то животный, грубый матеріализмъ!»— рѣшилъ онъ, и читалъ дальше.

«Мы не будемъ указывать,—говорила статья,—на тѣ болѣзненныя, патологическія явленія, которыя происходятъ при этихъ грустныхъ случайностяхъ. Онѣ изслѣдованы въ медицинѣ, онѣ являются въ видѣ истерики, мигреней, satyriasis и т. п. Для насъ важенъ переходъ въ одно состояніе, въ состояніе quasi-болѣзненное, при которомъ нервные электромагнитные токи приходятъ въ соприкосновеніе съ электромагнитнымъ токомъ всей окружающей обстановки, состояніе, при которомъ почти всѣ циклы случайностей становятся доступными для организма и онъ видитъ не только все его окружающее чрезвычайно ясно, хотя и безсознательно, видитъ на далекія разстоянія, но онъ можетъ видѣть прошедшее и даже слѣдить за развитіемъ цикловъ случайностей въ довольно отдаленномъ будущемъ. При этомъ странномъ состояніи индивидуумъ не только можетъ отгадывать состояніе другого родственнаго для него по магнитическому напряженію индивидуума,—онъ можетъ угадывать всѣ его мысли, чувства, онъ можетъ даже воспроизводить то, что было утрачено памятью въ мысляхъ и чувствахъ этого симпатичнаго для него индивидуума. Въ этомъ случаѣ, само собой понятно, могутъ воспроизводиться какъ музыкальные звуки, такъ и поэтическія мысли, отвѣчающія этимъ звукамъ, потому что онѣ прямо совпадаютъ съ электро-магнитными волнами нервовъ двухъ индивидуумовъ, взаимно симпатизирующихъ другъ другу. Въ этихъ странныхъ явленіяхъ, любовь совершаетъ какъ бы полный оборотъ. Она снова входитъ въ область міровыхъ явленій,

въ область общихъ магнитныхъ токовъ, общихъ свойствъ тяготѣнія!...»

Артингсонъ не читалъ далѣе—не могъ читать. Въ его памяти вдругъ воскресла эта вечерняя сцена, когда онъ, увлеченный воспоминаніемъ прошлаго, съ такимъ восторженнымъ одушевленіемъ игралъ позабытый, на вѣки, казалось ему, позабытый романсъ, и вдругъ передъ нимъ явилась она, эта чудная дѣвушка и пропѣла этотъ романсъ съ такой силой и правдой.

«Потемки, мы ходимъ въ потьмахъ, сэръ!»—припомнилось ему...

И весь подавленный этой загадочной, фантастической сценой, онъ отбросилъ листки «Просвѣтителя»—онъ не могъ дальше читать ихъ.

— «Все можно объяснить,—думалъ онъ,—но ничего нельзя разгадать»; и въ тоже время чувствовалъ, что эта безсильная сентенція была просто порывъ отчаянья; что эта статья, эта странная статья была права, что въ ней точно такая-же правда, какъ въ этой чудной, правдивой дѣвушкѣ.

Онъ загасилъ лампу, онъ закрылъ глаза и старался припомнить свою милую, свою родную Джеллу и Лиду и всѣхъ, которыми такъ дорожило его сердце.

— «Завтра они получатъ мое письмо и какъ они всѣ обрадуются. Лида даже расплачется и поцѣлуетъ—о! непремѣнно поцѣлуетъ это письмо».

Но сквозь всѣ эти представленія, насильственныя представленія, передъ нимъ вставалъ все тотъ же образъ этой волшебницы, съ сверкающими, восторженными, кроткими и любящими глазами, образъ брюнетки съ цвѣтомъ тѣла десятой клѣтки спектра, съ роскошно развитыми волосами, съ большими черными глазами...

— «Господи!—прошепталъ Артингсонъ,—это просто наважденіе!»

Да! онъ дѣйствительно прошепталъ это, хотя и не вѣрилъ ни въ какія навожденія.

Онъ усиленно зажималъ глаза, онъ старался отвлечься отъ этого ароматнаго запаха, который окружалъ его своей повелительной, подавляющей атмосферой, отъ этого смутнаго шелеста легкаго платья, который, казалось ему, раздавался въ его ушахъ. Онъ перевертывался съ одного бока на другой, тяжело дышалъ, и тихо, дремотно всхлипывая, заснулъ въ утомленіи, ища какой-то руки, какъ ребенокъ ищетъ руки своей матери.

Но и сонъ его былъ тревоженъ и страненъ. И во снѣ передъ нимъ являлся все тотъ же образъ этой дѣвушки, его симпатичной пары, являлся, въ легкой бѣлой одеждѣ, «какъ ангелъ бѣлый иль бѣлая птица!» Образъ этотъ смотрѣлъ на него такими страстными глазами, глазами «подавленной первой любви». Онъ вдругъ взмахивалъ передъ нимъ своими руками. О! какими чудными, плѣнительными руками!..

. . . . . .

Онъ съ ужасомъ просыпался, онъ слышалъ, какъ трепетно билось его сердце, какъ стучала кровь въ его вискахъ и снова засыпалъ подъ вліяніемъ тяжелаго кошмара.

И снова, являлся ему все тотъ же образъ. «Смотри сюда!» говорилъ онъ. И видѣлъ онъ, какъ вертѣлись передъ нимъ въ громадной, темной безднѣ безконечные рычажки, колеса, винты.

«Это записываютъ твои мысли, твои чувства, всѣ твои тайныя помышленія, потому что ничто не скроется передъ судомъ вѣчной, великой Истины!»

И онъ снова просыпался весь въ холодномъ поту.

Онъ уснулъ, наконецъ, крѣпкимъ, безчувственнымъ, сномъ, когда тонкій дремлющій свѣтъ утра синеватымъ туманомъ освѣтилъ всю комнату.

IV.

На другой день онъ тотчасъ же отправилъ письмо къ женѣ и вслѣдъ за нимъ самъ отправился въ банкирскую контору Барнквайра и К°. Оттуда онъ заѣхалъ къ мистеру Литль. Онъ считалъ необходимымъ сдѣлать этотъ визитъ изъ стараго знакомства, благодарности и почтенія къ нему, почтенному, ученому мистеру Литль.

— Послушайте, сэръ, сказалъ онъ послѣ нѣсколькихъ самыхъ незначащихъ фразъ,—послушайте, сэръ, не знаете-ли вы, не слыхали-ли вы объ этой странной сектѣ «Просвѣщенныхъ»?

Мистеръ Литль высоко приподнялъ свои густыя черныя брови, составлявшія такой рѣзкій контрастъ съ его сѣдыми волосами.

— Я удивляюсь, сэръ Артингсонъ,—сказалъ онъ, махая рукой, — я даже изумленъ этимъ вопросомъ... Я глубоко сожалѣю нашу почтенную миссъ Драйлингъ... О! я очень хорошо понимаю, что увлеченіе молодости можетъ оправдать достойную, во всѣхъ отношеніяхъ достойную, миссъ Джени Драйлингъ... Но согласитесь, сэръ, что эта секта, эта секта... лишена всякаго человѣческаго смысла!

Но Артингсонъ не смутился этимъ рѣзкимъ приговоромъ и, рискуя быть не человѣкомъ, или, по крайней мѣрѣ, идти противъ человѣческаго смысла, снова обратился за разъясненіемъ къ сэру Литль.

— Сэръ,—сказалъ онъ,—я не могу быть компетентнымъ судьей, но я читалъ журналъ этой секты или общины, потомъ... потомъ я видѣлъ странный аппаратъ, который въ комнатѣ, въ обыкновенной комнатѣ, не герметически закупоренной, записываетъ полный приходъ и расходъ силъ, всѣ

химическія колебанія, всѣ звуковыя волны, даже разговоры, даже оттѣнки чувствъ.

Мистеръ Литль еще выше поднялъ его черныя брови, такъ что онѣ почти касались его сѣдыхъ волосъ.

— Смѣю васъ увѣрить, сэръ,—сказалъ онъ,—что все это сумасбродство, непостижимое сумасбродство. Это люди, неимѣющіе ничего общаго съ наукой, неимѣющіе никакого понятія о наукѣ. Это вполнѣ доказано, доказано и со стороны достопочтенныхъ членовъ Смитсоніанскаго Института, и со стороны Бостонскаго общества Естествоиспытателей, и со стороны Физическаго общества Филадельфіи... Это, это безумные фантазеры, которые думаютъ, что съ научными истинами можно распоряжаться, какъ съ шахматной игрой и переставлять шашки по усмотрѣнію собственной фантазіи и соображенія. Тутъ нѣтъ науки, сэръ, поймите, что тутъ вовсе нѣтъ науки. Они унижаютъ, развращаютъ это святое достояніе человѣчества!

Артингсонъ точно такъ же приподнялъ брови, хотя далеко не такъ высоко, какъ мистеръ Литль. Онъ ничего не могъ возразить противъ авторитетовъ, выставленныхъ этимъ ученымъ и разсудительнымъ мистеромъ; но онъ не могъ помириться съ этимъ безсиліемъ науки. Онъ видѣлъ, съ одной стороны свѣтъ, безпредѣльное могущество, цѣлое море поэтическихъ, золотыхъ сновъ,—а съ другой стороны — узкую, щепетильную разсудительность и потемки, глубокія потемки.

— Но, можетъ быть, сэръ,—сказалъ онъ настойчиво, хватаясь какъ утопающій за соломинку, можетъ—быть, у нихъ слишкомъ широкіе замыслы. Можетъ быть, они чрезвычайно дерзко обобщаютъ данныя въ ихъ философскихъ стремленіяхъ. Но неужели же въ этихъ стремленіяхъ они не достигнутъ до соединенія, до полнаго соединенія жизни съ наукой!

Если бы мистеръ Литль могъ поднять его брови выше лба, онъ навѣрное бы сдѣлалъ это, но, за невозможностью совершить этотъ страстный рефлексъ, онъ только еще сильнѣе раскрылъ свои сверкающіе глаза, его щеки покрылись даже румянцемъ, живымъ юношескимъ румянцемъ. Онъ даже пристукнулъ табакеркой по столу.

— Я уважаю васъ, сэръ! О! Я глубоко уважаю васъ,— сказалъ онъ, стараясь придать своему голосу искренній и мягкій тонъ,—но повѣрьте, что вы увлекаетесь, какъ увлекаются многіе этими сумасбродными бреднями. Жизнь, сэръ, есть жизнь, наука есть наука, и горе тому, кто дерзнетъ смѣшать даръ, божественный даръ человѣческаго духа, съ тѣмъ, что даютъ намъ скудныя, ограниченныя чувства и нашъ бренный разсудокъ!... Вы можете не вѣрить моему мнѣнію, справьтесь, въ протоколахъ Смитсоніанскаго Института, Филадельфійскаго общества преуспѣянія наукъ и искуствъ, или даже въ протоколахъ Бостонскаго общества Естествоиспытателей...

Артингсонъ уѣхалъ отъ мистера Литль еще болѣе смущенный, чѣмъ послѣ прочтенія статей «Просвѣтителя».

Можетъ быть, онъ и правъ, думалъ онъ,—но гдѣ же истина, гдѣ же свѣтъ, или дѣйствительно мы должны бродить въ вѣчныхъ потьмахъ?

Онъ заѣхалъ и къ мистеру Пепчинсу, къ этому добродушному, кроткому старичку, который встрѣтилъ его съ такой сіяющей улыбкой, чуть не со слезами на его маленькихъ, добренькихъ глазкахъ.

— Сэръ!—спросилъ его Артингсонъ,—не слыхали ли вы объ этой странной сектѣ «Просвѣщенныхъ?»

Сіяюшая улыбка мистера Пепчинса превратилась въ грустную.

— О, да, да, сэръ!—вскричалъ онъ,—я знаю эту секту, но я никого не осуждаю. Мы всѣ грѣшны, сэръ, мы всѣ

ходимъ во тьмѣ нашихъ заблужденій, но мы вѣримъ, сэръ, о, мы глубоко вѣримъ, по вашему собственному выраженію, что:

«Настанетъ день оный... и люди прозрѣютъ,
Поймутъ, гдѣ спасеніе и правда, и сила!..»...

Артингсонъ уѣхалъ отъ мистера Пепчинса еще болѣе смущенный

Что это,—думалъ онъ,—обскурантизмъ, глубокое невѣжество или въ ихъ словахъ истина, а тамъ—тьма, глубокая тьма заблужденья!

Онъ заѣхалъ, наконецъ, и къ миссъ Драйлингъ, онъ не могъ не заѣхать, онъ ѣхалъ мимо—онъ долженъ былъ заѣхать, хотя бы для того, чтобы узнать, что дѣлаетъ его дорогой другъ, миссъ Драйлингъ и не оставило ли какихъ-нибудь послѣдствій это вчерашнее разстройство, это внезапное разстройство.

Онъ нашелъ миссъ Драйлингъ грустной, озабоченной, а миссъ Джени при его входѣ тотчасъ же выбѣжала вонъ. Онъ могъ судить о ея недавнемъ присутствіи только по быстро опустившейся портьерѣ и по тонкому ароматному запаху, еще наполнявшему всю атмосферу около того кресла, на которомъ она сидѣла.

— О, мой другъ!—вскричала миссъ Драйлингъ, приподнимаясь съ дивана и, схвативъ въ свои маленькія ручки его руку, усадила его на то самое кресло, на которомъ еше не разсѣялась теплота этого благоухающаго и страннаго существа—я хочу просто допрашивать васъ, какъ друга, и вы, вы, надѣюсь, будете снисходительны къ этому допросу и я увѣрена, я убѣждена, что вы будете со мной искренни, какъ были всегда съ вашимъ любящимъ и вѣрнымъ другомъ. Скажите мнѣ, сэръ Артингсонъ, что произошло вчера между вами и моей Джени?.. О! не думайте, чтобы я что-нибудь

подозрѣвала недостойное васъ, моего друга. О! сэръ, я знаю, я хорошо знаю вашу честную натуру, вашъ возвышенный характеръ!.. Я только недоумѣваю не могу объяснить того, что дѣлается съ моей бѣдной Джени со вчерашняго вечера...

— Что же съ нею дѣлается, миссъ Драйлингъ?.. О, я такъ люблю все, что дорого вамъ!..

— Она, она просто больна, дорогой мой, и теперь, болѣе чѣмъ когда либо, я боюсь за ея бѣдный разсудокъ. Она бредила всю ночь, мечется, стонетъ, плачетъ, тоскуетъ и я не могу узнать причину, добиться отъ нея отвѣта, что съ ней?!. Она только повторяетъ: «я ничего не знаю, ничего, дорогая мэмъ, только сердце у меня бьется, трепещетъ, мнѣ тяжело, о! какъ мнѣ тяжело... куда-то влечетъ меня, я чувствую, что я въ какой-то пустынѣ и мнѣ недостаетъ... чего я сама не знаю!...» и она при этомъ утѣшала меня: «это все уляжется, утихнетъ, пройдетъ!..» И сегодня сегодня, дорогой мой, она совсѣмъ больна; она такая грустная, разсѣянная, такая убитая, да именно убитая. Мы принялись съ нею перечитывать ваши творенія. О! вы знаете, какъ я люблю ихъ, и притомъ она сама предложила, сама принесла книгу (И Артингсонъ дѣйствительно видѣлъ, что передъ нимъ лежалъ на столѣ томикъ: Works of Artur Artingson). Мы остановились съ ней на этомъ поэтическомъ чудномъ, миломъ созданіи, помните? —И она взяла книгу и прочла:

«Май, праздникъ жизни, сіянье,
Счастье любви и цвѣтовъ ароматъ!..
Что же ты, сердце, ноешь, тоскуешь?
О чемъ же ты плачешь, къ чему ты стремишься?
Словно тебя волны жизни качаютъ,
Какъ бурное море, средь ночи безъ звѣздъ,
Утлый челнокъ безъ руля и вѣтрила!

* *
*

«Или ты ищешь сердца другаго,
Которое также бы сильно любило
Май, праздникъ жизни, сіянье,
Счастье любви и цвѣтовъ ароматъ,
Которое-бъ также волны качали,
Какъ волны морскія, средь ночи безъ звѣздъ,
Утлый челнокъ безъ руля и вѣтрила!

— И на этомъ мѣстѣ, она разрыдалась, разрыдалась истерически, и потомъ вдругъ вздрогнула, прошептала поблѣднѣвъ: «онъ пришелъ, мэмъ, онъ здѣсь!..» бросила книгу и выбѣжала вонъ... Что это такое, Артингсонъ, другъ мой, другъ мой, что это такое? Мнѣ кажется, я сама начинаю сходить съ ума!—И она крѣпко прижала къ ея пылавшей головѣ платокъ, напитанный какою-то освѣжающею и пахучею жидкостью.

— Миссъ Драйлингъ,—сказалъ Артингсонъ глухимъ и слегка дрожащимъ голосомъ, быстро перевертывая шляпу въ рукахъ—у меня просто ноетъ сердце. Я радъ бы чѣмъ нибудь помочь вамъ, но что я могу сдѣлать, что могу объяснить. Сцена, которая такъ сильно взволновала и меня, и ее, была, мнѣ кажется, просто роковымъ, какимъ-то необъяснимымъ случаемъ. Я любовался, просто любовался, на миссъ Джени, я думаю, тутъ нечего нѣтъ... вы не найдете тутъ ничего предосудительнаго... Красота миссъ Джени... мое семейное положеніе, наконецъ, мои лѣта... все это, казалось мнѣ, извиняло... можетъ извинить меня передъ цѣлымъ свѣтомъ и въ моихъ собственныхъ глазахъ. Увлеченный этой красотой, такъ сказать, отуманенный, я имѣлъ дерзость спросить довольно рѣзко миссъ Джени, можетъ ли она записать на ея аппаратѣ, на ея удивительномъ аппаратѣ, чувство любви, можетъ ли она измѣрить его?.. Она вдругъ смутилась, застыдилась. Она была такъ хороша въ этомъ смущеньи, что я самъ былъ невольно смущенъ... Вотъ все, что случилось

вчера до вашего прихода. Остальное вы знаете...—Все это, миссъ Драйлингъ,—началъ Артингсонъ еще болѣе глухимъ и дрожащимъ голосомъ,—все это дѣйствительно роковое. Неужели миссъ Джени до сихъ поръ никого не любила, о! разумѣется, кромѣ васъ; но эта любовь... эта любовь не можетъ замѣнить все въ ея чувствахъ... Я съ ужасомъ сознаю,—говорилъ Артингсонъ и голосъ его почти прерывался,—я съ ужасомъ сознаю, что мое появленіе въ вашемъ домѣ назадъ тому двадцать лѣтъ было роковымъ для васъ, для вашего сердца, мой дорогой другъ!.. О! простите мнѣ это воспоминаніе, это неизгладимое воспоминаніе!.. А теперь... теперь... кто знаетъ, не играетъ ли снова судьба на тѣхъ же струнахъ, но только въ другой, молодой жизни?.. Вѣдь любовь можетъ вспыхнуть вдругъ, по капризу необъяснимаго чувства, по призыву сердца и чѣмъ, дольше было сдержано это сильное страстное чувство, тѣмъ сильнѣе, необузданнѣе оно вспыхиваетъ—притомъ самый темпераментъ, отношенія скрытой симпатіи... (Мистеръ Артингсонъ невольно увлекся «просвѣтителемъ», онъ началъ говорить, какъ будто самъ принадлежалъ къ этой сектѣ «просвѣщенныхъ»)... Во всякомъ случаѣ,—сказалъ онъ вдругъ, остановивъ это невольное увлеченіе—во всякомъ случаѣ, я долженъ скорѣе оставить вашъ домъ, проститься съ вами... О! могъ ли я думать, могъ ли я воображать, могъ ли представить себѣ, что какой-нибудь простой, незначительный случай, какое-нибудь странное совпаденіе обстоятельствъ причинитъ столько горя сердцу моего дорогаго, сильно любимаго друга!—И голосъ его совсѣмъ задрожалъ и оборвался, на глазахъ появились слезы.—Мы всѣ ходимъ въ потьмахъ, въ потьмахъ, дорогой мой другъ,—говорилъ онъ, быстро вставъ съ кресла и какъ-то судорожно застегивая, дрожавшими руками его черный сюртукъ...

Легкій шорохъ заставилъ обернуться его и миссъ Драй-

лингъ. Въ дверяхъ стояла Джени, радостная, сіяющая Джени. О! какъ невообразимо хорошо было ея лицо. Она подобрала за уши, по-дѣтски, всѣ ея длинныя кудри; но и безъ того ея лицо, его выраженіе было выраженіе добраго, невиннаго и довольнаго ребенка. Какъ привѣтливо, дружески протянула она руку Артингсону и какъ дѣтски откровененъ былъ ея голосъ, когда она сказала ему простое: здравствуйте, сэръ! И какъ блестѣли ея глаза и сильно волновалась ея высокая грудь.

— О, мэмъ, дорогая моя мэмъ!—сказала она,—мнѣ гораздо лучше; я теперь просто блаженствую; мнѣ такъ отрадно, легко; я надѣюсь, мистеръ Артингсонъ снова останется у насъ и мы, мы всѣ проведемъ цѣлый вечеръ вмѣстѣ. Не правда ли, сэръ Артуръ, не такъ ли, моя дорогая мэмъ?

— Миссъ Джени!— сказалъ Артингсонъ, нахмурясь, не смотря на нее, не смотря ни на кого,—я долженъ... я, къ сожалѣнью, долженъ удалиться... дѣла... и при томъ, при томъ... я долженъ ѣхать завтра... я такъ давно не видалъ моей семьи... моей милой Джеллы и Лиды и всѣхъ дорогихъ моихъ и, надѣюсь, также дорогихъ и моему доброму другу, миссъ Драйлингъ.

Краска сбѣжала съ лица миссъ Джени, она хотѣла что-то сказать и очевидно не могла. Ея грудь перестала колыхаться. Она окаменѣла, какъ статуя, глаза ея потухли.

— Прощайте, дорогой мой другъ!—сказалъ Артингсонъ, протягивая обѣ дрожащія руки къ миссъ Драйлингъ, и она смущенная, трепещущая протянула къ нему также обѣ руки и онъ пожалъ, поцѣловалъ ихъ беззвучнымъ поцѣлуемъ.—Прощайте, миссъ Джени!—сказалъ онъ глухимъ голосомъ, протягивая къ ней свою похолодѣлую руку.

И она, какъ автоматъ, тихо, мертвенно коснулась его руки.

Онъ быстро пошелъ вонъ, вонъ изъ этого омута страсти, безумія, опьянѣнія чувствъ.

Онъ слышалъ какой-то стонъ раздался позади его и, не оглядываясь, стиснувъ зубы, бѣжалъ по лѣстницѣ.

Онъ не видалъ, какъ задрожала она, какъ подхватила ее миссъ Драйлингъ, блѣдную, шатающуюся съ протянутыми руками къ нему.

— Джени, моя Джени, опомнись! Что съ тобою!

— Я люблю его, мэмъ,—простонала она,—я люблю его! И она рыдала, и судорожно билась на ея груди, какъ бѣлая птица.

А миссъ Драйлингъ, вся перепуганная, прикладывала къ ея горячему лбу платокъ, намоченный одеколономъ, шептала надъ ней молитву и брызгала водой на нее, трепещущую, полумертвую.

V.

Въ сердцѣ, въ чувствахъ, въ умѣ Артингсона теперь былъ полный хаосъ. Что бушевало, мелькало тамъ? Ни одной мысли, ни одного представленія не могъ уловить онъ. Онъ только сознавалъ, что онъ долженъ ѣхать, непремѣнно ѣхать туда, къ его милой Джеллѣ, къ его дорогой семьѣ. «Но почему же Джени не можетъ быть Джеллою, почему семья тебѣ дорога!» говорилъ ему глухой голосъ, именно тотъ самый голосъ, которымъ онъ прощался съ Джени.

Когда онъ возвратился въ свой номеръ, онъ тотчасъ бросился къ чемодану и вынулъ изъ него портреты Джеллы и Лиды, всѣхъ его дорогихъ; вынулъ и смотрѣлъ на нихъ, какъ на какихъ-то амулетовъ или боговъ-хранителей, которые могли его спасти, защитить отъ него самого.

Онъ даже бросился писать къ Джеллѣ, писать какое-то страстное письмо, и разорвалъ его на третьей строчкѣ. «Все это ложь, чепуха! вскричалъ онъ,—ложь сердца, ложь

ума!» И онъ стиснулъ свой лобъ, стиснулъ руки такъ, что хрустнули суставы его длинныхъ и тонкихъ пальцевъ.

Онъ бросился на постель, онъ силился заснуть и не могъ. Онъ лежалъ въ какомъ-то тяжеломъ, тупомъ онѣмѣніи, усиливаясь вглядѣться въ узоръ обоевъ, въ рисунокъ рѣзнаго шкафа и повторяя одно слово, одно и то же слово: «Джелла! Джелла! Джелла!»

Онъ не слышалъ, какъ прозвонилъ колокольчикъ, сзывавшій къ обѣду, какъ нѣсколько разъ входилъ и уходилъ отъ него слуга. Онъ не видалъ, какъ сумерки заволокли всѣ предметы въ комнатѣ, онъ чувствовалъ, что передъ открытыми и передъ закрытыми глазами его носился все тотъ-же неизмѣнный, вѣчный образъ его симпатической пары.

Бѣлый, какъ ангелъ бѣлый иль бѣлая птица!..

Наконецъ, сильный шумъ и стукъ поневолѣ заставили его очнуться.

Явилась нѣсколько запоздавшая депутація отъ клуба «Твердости», отъ этого неподвижнаго клуба. Какой-то высокій, высокій джентельменъ, весь красный и весь растрепанный, просилъ сдѣлать имъ честь, сдѣлать великую честь посѣтить завтра ихъ митингъ, который они даютъ въ честь него.

Артингсонъ собралъ, насколько могъ, свои мысли и чуть слышно отвѣчалъ, что онъ не можетъ, положительно не можетъ участвовать. что онъ совершенно разстроенъ, болѣнъ, что онъ благодаритъ за честь, глубоко благодаритъ, цѣнитъ, вполнѣ цѣнитъ.

— Мистеръ Артингсонъ! — вскричалъ высокій красный джентельменъ,—мы не смѣемъ стѣснять васъ, но позвольте, по крайней мѣрѣ, собраться сегодня передъ вашими окнами, то-есть передъ окнами отеля. Мы уже все устроили, это намъ стоило пятьсотъ долларовъ!..

Мистеръ Артингсонъ позволилъ, смутно понимая, что отъ него чего-то требуютъ и только желая одного, чтобы скорѣе, какъ можно скорѣе, оставили его въ покоѣ.

Онъ снова бросился на постель. Страшный стукъ въ вискахъ, страшная боль въ головѣ не давали ему покоя. Да и вообще онъ какъ будто сознавалъ, что для него на землѣ нѣтъ уже и не будетъ больше покоя.

Какъ бы во снѣ онъ слышалъ неистовые крики, музыку, пѣніе и говоръ, и ревъ огромной толпы, которая собралась на улицѣ передъ его балкономъ. Онъ слышалъ, какъ тысячи голосовъ вызывали, выкрикивали его имя, и какое-то зарево, какъ бы отъ пылающаго костра, играло на стѣнахъ его комнаты.

— Сэръ! — торопливо говорилъ ему слуга, — сэръ, васъ вызываютъ, тамъ цѣлая улица наполнена народомъ.

Шатаясь, онъ вышелъ на балконъ. Его ослѣпилъ блескъ нѣсколькихъ тысячъ факеловъ, его оглушилъ неистовый крикъ толпы. Онъ поклонился, пошатнулся и слуги бросились, подхватили его и, поддерживая, снова увели въ комнату и уложили опять въ постель.

— Не надо-ли послать за докторомъ?—перешептывались они испуганными голосами.

— Не надо?—сказалъ Артингсонъ, твердо и внятно, и вдругъ приподнялся и принялъ снова тѣхъ успокоительныхъ капель, которыя такъ благотворно всегда дѣйствовало на него. Но теперь эти капли только усилили раздраженіе, и сердце его билось, какъ будто хотѣло разорвать грудь и улетѣть туда, гдѣ теперь, можетъ быть, лежала больная и рыдающая она—эта чудная дѣвушка!

Онъ всталъ съ нестерпимой болью въ головѣ, досталъ изъ чемодана Laudanum liquidum и принялъ довольно крупный пріемъ. Онъ заснулъ, подавленный тяжелымъ, отравленнымъ сномъ, и этотъ сонъ былъ еще болѣе мучителенъ,

чѣмъ самая явь. Въ этомъ снѣ ему представлялось, что онъ бродитъ въ темныхъ пещерахъ и тамъ, гдѣ-то въ потьмахъ, непроглядныхъ потьмахъ, раздается ея голосъ, ея замирающій, зовущій на помощь, голосъ. Онъ силится дойти до него, онъ спотыкается о наваленные каменья, онъ ощупью идетъ подъ холодными мокрыми сводами, а голосъ ея стонетъ, глохнетъ и замираетъ гдѣ-то вдали, въ предсмертныхъ мукахъ!

Или вдругъ является она передъ нимъ, полная страсти, любящая, съ восторженнымъ ласкающимъ взглядомъ, и нѣтъ никакихъ перегородокъ передъ ними; онъ бросается въ ея жаркія объятія. и вдругъ эти объятія стынутъ и въ рукахъ его холодный, посинѣлый трупъ.

— Это вы убили ее, вы, мой дорогой другъ, точно такъ же, какъ и меня убили!—говоритъ тихо, качая головой, миссъ Драйлингъ...

Онъ вскакиваетъ какъ безумный, онъ какъ будто проснулся, но кошемаръ и въ полуснѣ давитъ его. Онъ тянется, какъ безконечная пытка, и картины одна другой нелѣпѣе, мучительнѣе встаютъ, какъ живые, въ его отравленномъ воображеніи.

И наконецъ, онъ дѣйствительно проснулся. Онъ проснулся, словно разбитый, отуманенный, въ чаду тяжелаго угара. Одна только мысль улыбалась и поддерживала его, руководила имъ. Скорѣй туда, туда, домой, въ мирное пристанище, въ тихій семейный уголъ!

Онъ оборвалъ всѣ свои дѣла. Какой-то ловкій спекулянтъ, при этомъ удобномъ случаѣ, надулъ его на нѣсколько тысячъ долларовъ; наконецъ, въ шесть часовъ вечера онъ былъ свободенъ, совершенно свободенъ. Онъ началъ укладываться съ лихорадочной поспѣшностью, кое-какъ завертывая и тиская вещи въ чемоданъ.

— Туда, туда; скорѣй туда!—повторялъ онъ чуть не вслухъ.

Вошелъ слуга и подалъ ему карточку ,на которой крупнымъ шрифтомъ было напечатано:

«Мистеръ Чертчъ».

— Я не могу, — вскричалъ Артингсонъ, — я никого не принимаю, я болѣнъ, разстроенъ, я тороплюсь!..

Но Мистеръ Чертчъ стоялъ уже передъ нимъ во всю вышину его высокаго роста.

— Я не обезпокою васъ, сэръ! — говорилъ онъ.—О! я понимаю ваше разстройство... Я прошу у васъ нѣсколько минутъ, одного полчаса, если только вы можете пожертвовать полчаса для страждущаго человѣка, который въ васъ, поэтѣ и музыкантѣ, именно въ васъ, ищетъ спасенья.

И, говоря это, мистеръ Чертчъ ударилъ себя костлявымъ кулакомъ въ плоскую грудь.

Онъ былъ весь въ черномъ, и шляпа, которую онъ не думалъ снимать, была вся закутана чернымъ крепомъ.

Онъ говорилъ хриплымъ, какимъ-то скрипучимъ басомъ. Его длинное, блѣдное лицо было все покрыто складками и сверкающіе, бѣгающіе глаза выражали въ одно время и мольбу, и отчаяніе, а тонкія, сжатыя губы то дрожали, то кривились въ какую-то странную улыбку.

— Что вамъ нужно, сэръ,—вскричалъ Артингсонъ,—вы просто врываетесь ко мнѣ!

— Одно слово, сэръ, одно ваше слово, — проскрипѣлъ мистеръ Чертчъ, трагически взмахнувъ рукою;—неужели же вы мнѣ откажете въ этомъ словѣ, въ одномъ отвѣтѣ на тяжелый, тяжелый вопросъ.—И онъ вдругъ порывисто снялъ шляпу и потеръ рукою свой высокій лобъ.

— Говорите скорѣе! — вскричалъ съ нетерпѣніемъ Артингсонъ, бросаясь къ нему,—мнѣ время дорого—я занятъ, я болѣнъ.

Слуга удалился съ почтительнымъ поклономъ.

— Я буду коротокъ, сэръ. Я былъ женатъ, сэръ; у

меня было три жены.—И мистеръ Чертчъ опять нахлобучилъ его траурную шляпу на высокій лобъ. — Я былъ въ великой, въ этой сумасбродной сектѣ правовѣрныхъ, святыхъ мормоновъ... Я думаю, сэръ, вы ничего не находите, ничего предосудительнаго въ томъ, что человѣкъ можетъ любить двухъ, трехъ, даже нѣсколькихъ женщинъ... Это такъ естественно?...

И мистеръ Чертчъ замолчалъ, какъ будто ожидая отвѣта. Но что-же могъ отвѣтить на это Артингсонъ? Сказать—я нахожу это противуестественнымъ, безнравственнымъ! О! нѣтъ! этого не могъ отвѣтить мистеръ Артингсонъ, не могъ отвѣтить теперь, въ настоящую минуту, когда тамъ, въ его представленіи, стояли два женскихъ образа и онъ не могъ рѣшить, который изъ нихъ сильнѣе, неодолимѣе его тянетъ; онъ захватилъ бы теперь оба эти образа въ его измученное, больное сердце.

— Что-же дальше, — вскричалъ онъ,—говорите, сэръ, скорѣе, что вамъ нужно отъ меня?

— Далѣе, сэръ, было то, что всѣ мои жены умерли, всѣ... всѣ; умерли также и мои дѣти, мои милыя дѣти... Они умерли всѣ, и я брожу, сэръ, какъ тѣнь, одинокій скиталецъ. Я не смѣю взглянуть больше ни на одну женщину, я боюсь, сэръ... О! какъ я боюсь, чтобы моя, ни для кого ненужная, жизнь, не стоила еще жизни какому-нибудь молодому существу, чистому, доброму, умному, полному юныхъ силъ и цвѣтущихъ надеждъ...

Мистеръ Чертчъ замолкъ, на глазахъ его задрожали слезы.

Но въ глазахъ Артингсона ничего не было, кромѣ отчаянія и нетерпѣнія.

— Далѣе, сэръ, далѣе!—вскричалъ онъ грубо,—что вамъ нужно отъ меня?

— Я обращался, сэръ, за помощью, за разъясненіемъ

къ медицинѣ. Она мнѣ ни въ чемъ не помогла, ничего не разъяснила. Тайна осталась тайной. Она похоронена въ этихъ трехъ могилахъ. Я искалъ отвѣта въ разныхъ наукахъ... Я, я даже занимался теоріей вѣроятій... Нигдѣ, нигдѣ не было отвѣта! Когда въ первый разъ я увидѣлъ васъ на митингѣ, когда я услыхалъ васъ, ваше вдохновенное пророчество,—мнѣ вдругъ пришла мысль, одна мысль... можетъ быть, поэтъ скажетъ то, что не могутъ сказать ни религія, ни наука... И вчера, вчера вечеромъ, онѣ всѣ три явились ко мнѣ, онѣ, мои милыя, безвременно погибшія... онѣ явились и скрылись какъ сонъ...

И мистеръ Чертчъ медленно провелъ пальцами передъ глазами, какъ будто изображая этимъ тѣхъ, которыя явились передъ нимъ и скрылись, какъ сонъ...—Онѣ всѣ, сэръ, всѣ сказали мнѣ:—иди къ мистеру Артингсону!

— Господи! — чуть не вслухъ подумалъ Артингсонъ,— что это за сумасшедшій такой нявязался!

— Я бы совѣтовалъ вамъ,—сказалъ онъ мистеру Чертчу,— совѣтовалъ бы еще разъ обратиться къ доктору, потому что галюцинаціи вещь опасная... или, или обратитесь къ спиритамъ, къ какому-нибудь медіуму... онъ навѣрное отвѣтитъ вамъ лучше меня, а я не могу, положительно не могу быть вамъ въ чемъ-нибудь полезнымъ.

Мистеръ Чертчъ остановился на одно мгновеніе и заговорилъ хриплымъ шопотомъ:

— Я обращался, сэръ, и къ спиритамъ, я обращался и къ медіумамъ, они мнѣ ничего не сказали... — Онъ снялъ шляпу, отеръ лобъ тонкимъ, бѣлымъ, свернутымъ въ комочекъ платкомъ, который дрожалъ въ его длинныхъ костлявыхъ пальцахъ; потомъ вздрогнулъ, съ какимъ-то судорожнымъ порывомъ, снова надѣлъ шляпу и вдругъ глаза его устремились на Артингсона и дико заблистали. — Я убилъ бы себя, сэръ, убилъ бы съ наслажденіемъ,—вскричалъ онъ,—

если бы кто-нибудь сказалъ мнѣ, что загробной жизни нѣтъ... Я вижу, слышу всюду одни намеки, тысячи жгучихъ вопросовъ встаютъ въ жизни, религія не удовлетворяетъ, наука молчитъ, поэтъ, вдохновенный поэтъ, пророкъ нашихъ дней, ничего не можетъ сказать намъ... Мы ничему не вѣримъ и ничего не знаемъ—ни вѣры, ни убѣжденья!...

Онъ быстро двинулся къ Артингсону, протягивая къ нему свою костлявую, дрожавшую руку... такъ что Артингсонъ невольно отступилъ отъ этого страннаго, безумнаго существа.

— Мы бродимъ въ потьмахъ, сэръ! мы бродимъ въ глубокихъ, непроглядныхъ потьмахъ!

И онъ быстро отвернулся и вышелъ вонъ, шатаясь и тяжело переступая своими длинными ногами.

Артингсонъ вздохнулъ легко и свободно, когда удалился этотъ загадочный мистеръ Чертчъ, удалился какъ черный паукъ съ длинными черными ногами.

Но, въ сущности, въ глубинѣ сердца, онъ былъ даже благодаренъ ему, хотя и не сознавалъ этой благодарности. Этотъ визитъ какъ будто развлекъ, оживилъ его и онъ съ новыми силами, съ новой лихорадочной дѣятельностью принялся укладывать свои вещи.

Какой-то легкій, неуловимый шорохъ, какое-то тонкое освѣжающее и раздражающее благоуханіе долетѣло до него, онъ быстро вскочилъ и обернулся.

Передъ нимъ стояла она, «какъ ангелъ бѣлый иль бѣлая птица»—она, миссъ Джени Драйлингъ!..

VI.

— Я схожу съ ума, это галлюцинація!—быстро промелькнуло въ головѣ Артингсона.

— Миссъ Джени!..—вскричалъ онъ, — вы-ли это!?

Но, взглянувъ на ея лицо, судорожно дрожавшія руки на ея заплаканные, померкшіе глаза, онъ понялъ, что это дѣйствительно она. Онъ даже понялъ, зачѣмъ она пришла къ нему и сердце его сжалось.

— Мистеръ Артуръ!—сказала она, протягивая къ нему дрожащія руки,—я пришла сказать вамъ, что я люблю васъ и пришла проститься съ вами... О! я надѣюсь, что вы не найдете ничего преступнаго въ томъ, что вы мнѣ отдадите нѣсколько минутъ, нѣсколько послѣднихъ минутъ моего счастія въ этомъ мірѣ, за которыя я буду такъ глубоко, глубоко благодарна вамъ.

У него потемнѣло въ глазахъ.

Броситься къ ней, броситься передъ ней на колѣни, обнять ее, отдаться всѣмъ существомъ, всѣмъ сердцемъ одной минутѣ, минутѣ блаженства, счастья неоцѣнимаго, полнаго и затѣмъ будь, что будетъ. Пусть судятъ, пусть казнятъ его и свѣтъ и Богъ правосудный!..

Онъ овладѣлъ собою, овладѣлъ своею страстью.

— Миссъ Джени!—сказалъ онъ, стараясь придать своему голосу и твердость, и нѣжность, — я глубоко цѣню вашу привязанность, ваше признаніе.... и позвольте искренно, крѣпко, какъ другу, пожать вашу руку! И онъ дѣйствительно пожалъ эту чудную, прекрасную, холодную руку.

— Мы сядемъ здѣсь, — говорилъ онъ, указывая на широкій диванъ,—и, если желаете, будемъ говорить съ вами, какъ искренніе, давнишніе друзья.—И онъ дѣйствительно усадилъ ее на диванъ, и сѣлъ подлѣ нея. Но только онъ видѣлъ, какъ дрожитъ вся она, какъ колышется ея высокая грудь и чувствовалъ, какъ дрожитъ самъ онъ, какъ стучитъ его собственное сердце и пылаетъ голова его.

— Миссъ Джени!—сказалъ онъ,—и голосъ его прерывался,—вы знаете, что я старше васъ, почти двадцатью годами... вы знаете, что я люблю и мою жену и всю мою

дорогую семью... но я глубоко чувствую, о! я понимаю, что теперь творится въ вашемъ бѣдномъ сердцѣ!..

Она вдругъ приподняла опущенную головку, она встряхнула всѣми своими черными кудрями, ея лицо поблѣднѣло, глаза засверкали.

— Мистеръ Артуръ!—сказала она, сдвинувъ брови и тяжело дыша,—я не прошу у васъ ни наставленій, ни сожалѣній.

— Миссъ Джени!—вскричалъ онъ и невольно схватилъ обѣими руками ея дрожащую руку,—клянусь вамъ, что... мои чувства... къ вамъ... таковы, что въ нихъ нѣтъ мѣста разсудку... я только желалъ бы одного, желалъ бы всѣмъ сердцемъ, чтобы вы были счастливы.

Ея лицо снова просіяло, румянецъ снова покрылъ ея щеки и голова снова опустилась.

— Сэръ Артуръ!—сказала она не выпуская изъ своей холодной руки и крѣпко стиснувъ его руку, какъ будто боясь, что эта рука ей измѣнитъ.—Сэръ Артуръ!.. я дѣйствительно желала бы только вашей дружбы, я ни на что болѣе не разсчитываю, ни на что болѣе не имѣю права, не смѣю разсчитывать. Я люблю все, что вы любите; мнѣ дороги всѣ ваши привязанности, и прежде всего и больше всего счастье вашего сердца. О! какъ глубоко я уважаю его! Какъ я дрожу за него, и она дѣйствительно вздрогнула всѣмъ своимъ прекраснымъ тѣломъ, всѣми своими черными кудрями.—Я очень хорошо знаю, что между нами лежитъ цѣлая бездна; насъ раздѣляютъ не одни года, не одно ваше семейное положеніе, насъ раздѣляютъ тѣ глубокія потемки, въ которыхъ идетъ общество... идетъ, вѣроятно, къ свѣту, но все-таки въ потьмахъ.

«Мы бродимъ въ потьмахъ сэръ!—промельнуло въ памяти Артингсона,—мы бродимъ въ глубокихъ, непроглядныхъ потьмахъ!...»

— Миссъ Джени!—сказалъ онъ,—никто не можетъ раздѣлить насъ какъ двухъ друзей... и моя Джелла, моя добрая Джелла, она также будетъ вашимъ лучшимъ другомъ.

— О, да! сэръ. Это моя надежда и мое утѣшеніе. Я увѣрена, что гдѣ бы вы ни были, вы не забудете обо мнѣ, мы будемъ писать другъ другу, мы будемъ передавать и наши мысли, и наши чувства. Да, въ этомъ будетъ глубокое утѣшеніе... нѣтъ, это будетъ все для меня. О! я теперь ясно понимаю страданія моей бѣдной мэмъ!.. Вѣдь нельзя оцѣнить страданіе другаго сердца, если не испытаешь ихъ въ собственномъ сердцѣ, не правда-ли, сэръ?—И она посмотрѣла на него, глубокимъ, искреннимъ взглядомъ...

— Правда!—сказалъ машинальнымъ, глухимъ голосомъ Артингсонъ.

«О! какъ я боюсь,—припомнились ему слова мистера Чертча,—какъ я боюсь, чтобы моя жизнь не стоила жизни еще какому нибудь другому молодому существу!..»

— Сэръ Артуръ!—сказала она (и какъ мило, какъ задушевно она выговорила это: «сэръ Артуръ!»—я думаю въ жизни есть много страданій, глубокихъ страданій, незримыхъ ни для кого, и мы не подозрѣваемъ, проходя мимо ихъ, какъ сильно болитъ это больное сердце!.. Мнѣ кажется, я можетъ быть ошибаюсь, какъ всѣ мы постоянно ошибаемся,—и она провела рукой по своему высокому лбу,—мнѣ кажется, что наше слабое, бѣдное, условное счастіе не можетъ, не должно имѣть мѣста въ жизни... и только тогда эта жизнь устроится...

Онъ посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ.

— Я думаю, что все зависитъ отъ строгаго глубокаго разсчета, который основанъ на знаніи всѣхъ мелочей. Если люди будутъ заботиться постоянно и всего болѣе о знаніи, то жизнь скорѣе устроится, а счастіе... счастіе придетъ само собою. Если бы мы понимали жизнь и умѣли ею управлять, то мнѣ кажется, не было бы въ ней мѣста страда-

ніямъ, никакимъ страданіямъ... Сколько существуетъ несчастныхъ браковъ, сколько разбитыхъ сердецъ, силъ, даромъ растраченныхъ и даромъ погибшихъ для общества, для прогресса. Какой злой, непонятный случай свелъ насъ съ вами, почему мы встрѣтились съ вами такъ поздно, мы, которымъ, кажется, сами естественные законы прирожденныхъ симпатій, какъ будто назначили жить другъ для друга, для полнаго, взаимнаго счастья,—голосъ ея задрожалъ и оборвался!..

Онъ взглянулъ на нее и тотчасъ снова опустилъ глаза.

Подъ говоръ этихъ тихихъ искреннихъ словъ, подъ говоръ этого задушевнаго признанія, которое она какъ будто высказывала не ему, ея другу, такъ страстно любимому, а просто самой себѣ—онъ почувствовалъ, какъ новая, могучая волна страсти поднялась въ его, и безъ того кружившуюся, голову. А между тѣмъ, она такъ близко сидѣла отъ него—и не сидѣла, а даже полулежала, какъ будто въ изнеможеніи опустивъ головку на мягкую и высокую спинку дивана. Она смотрѣла прямо ея блестящими глазами,—о! какими блестящими и страстными глазами—въ его глаза и какимъ жгучимъ, ароматнымъ воздухомъ была окружена вся голова ея, все ее прекрасное тѣло. Онъ не смотрѣлъ на нее, но онъ чувствовалъ, какъ тяжело она дышала, онъ видѣлъ, какъ ея руки вытягивались на подушкѣ дивана, гладили одна другую, дрожали въ неодолимомъ томленіи. Онѣ жаждали ласки такъ же, какъ ея сердце, какъ все существо ея... А въ комнатѣ сквозь полуопущенныя сторы тихо свѣтили сумерки майскаго, теплаго вечера.

— «Ну! что же,—говорилъ ему смущающій голосъ,—сердце за сердце, жизнь за жизнь? Одной, уже совершившей свой страстный кругъ, матери твоихъ дѣтей, которая останется матерью, ты отдалъ самые страстные, самые лучшіе восторги твоего ума, сердца, таланта; отдай теперь это сердце другому сердцу. Вѣдь это сердце само раскрылось

передъ тобою, само отдается тебѣ, вѣдь она пришла къ тебѣ, сбросила съ себя всѣ оковы пересудовъ, всѣ цѣпи предразсудковъ общества. Она приноситъ тебѣ ея первую и послѣднюю, жаркую любовь. Законъ, міровой законъ внятно говоритъ и твоему разсудку, и твоему сердцу, что дѣти твои и ея дѣти будутъ такъ же умны и талантливы какъ умны и талантливы ихъ родители, дай же обществу этихъ дѣятелей!.. Ему нѣтъ дѣла до твоей Джеллы, до ея дѣтей, ему нужно Артингсоновъ, дѣятельныхъ, геніальныхъ Артингсоновъ!»...

Вотъ что говорилъ ему повелительный голосъ, и все-таки внутри его совершалась борьба, тяжелая, разрушающая и тянулись минуты, мучительныя минуты.

А она ихъ не замѣчала. Ей такъ было хорошо подлѣ него. Пусть летятъ эти минуты, часы, дни, пусть проходятъ цѣлые годы. Ей казалось, что не можетъ быть ничего лучше, какъ сидѣть подлѣ него, любоваться имъ, любоваться въ какомъ-то трепетномъ сладкомъ томленіи, среди неопредѣленнаго, какого-то безконечнаго чувства. Что же можетъ быть лучше этого?!

Но для него... О! для него, наконецъ, стала невыносима эта нѣмая страстная сцена. Онъ весь дрожалъ, голова его пылала, пылала кровь, съ какимъ-то гуломъ струившаяся во всѣхъ его жилахъ. Еще одинъ, одинъ мигъ и онъ бы забылъ все, онъ весь бы отдался бѣшеному страстному порыву...

Онъ сдѣлалъ нечеловѣческое усиліе, онъ овладѣлъ собой. Быстро поднялся онъ съ дивана, пошатнулся, оперся на столъ и судорожно вынулъ дрожащей рукой часы.

— Уже восемь часовъ!—сказалъ онъ, но голосъ его не договорилъ— онъ оборвался.

И она опомнилась. Она также приподнялась, ея блѣдность, страшная блѣдность засверкала даже въ темнотѣ вечера. Ея губы задрожали, на глазахъ навернулись слезы. Но

она стиснула зубы и отбросила быстрымъ взмахомъ всѣ свои кудри назадъ. Она даже улыбнулась; улыбнулась, когда ея сердце не билось, когда мучительная боль сдавила ей всю грудь.

— Прощайте, сэръ!—сказала она, протягивая къ нему обѣ руки и смотря на него ясными глазами, съ кроткой, дѣтской улыбкой.

Онъ взялъ эти руки и тихо пожалъ ихъ. Онъ хотѣлъ прильнуть къ одной изъ нихъ, прильнуть долгимъ горячимъ поцѣлуемъ, но онъ ясно сознавалъ, что вмѣстѣ съ этимъ поцѣлуемъ хлынутъ у него слезы, и что она также разрыдается истерически. Вотъ почему онъ не поцѣловалъ въ первый и послѣдній разъ этой прекрасной руки, онъ даже опустилъ, чуть не отбросилъ ее.

Она быстро пошла вонъ, кутаясь въ свою бѣлую серебристую мантилью, набрасывая на голову и лицо бѣлый вуаль, она оглядывалась кругомъ, какъ бы забыла что-то въ этой дорогой для нея комнатѣ.

— Прощайте, сэръ Артуръ,—сказала она на порогѣ,— до свиданія... вы будете писать мнѣ или моей дорогой мэмъ... Да?!..

И, не дожидаясь отвѣта, она выбѣжала вонъ.

Можетъ быть, показалось ему, или онъ дѣйствительно слышалъ эти глухія, раздирающія сердце рыданія.

Его тянуло броситься вслѣдъ за нею. Онъ даже долженъ былъ проводить ее, вѣдь этого требовалъ просто долгъ вѣжливости, приличія, но онъ стоялъ, не двигаясь. Онъ дрожалъ. Потомъ, шатаясь, подошелъ онъ къ умывальнику, намочилъ платокъ холодной водой, приложилъ его ко лбу, смочилъ всю свою голову, всѣ свои серебристыя кудри, сильно посѣдѣвшія въ эти страшные, мучительные дни.

— Надо собираться, надо скорѣе собираться!—сказалъ онъ вслухъ, какъ будто этими словами, этимъ глухимъ по-

давленнымъ голосомъ могла облегчиться его страждущая грудь.

И онъ началъ собираться, укладывая наверхъ то, что слѣдовало уложить внизъ, выбрасывая вонъ то, что слѣдовало уложить, и укладывая то, что вовсе не принадлежало ему.

Вдругъ онъ взглянулъ на часы и какъ будто вспомнилъ, что поѣздъ не ждетъ; не ждетъ эта машина, дѣйствующая паромъ, чуждая всѣмъ человѣческимъ страстямъ. Онъ какъ-то судорожно прижалъ пуговку электрическаго звонка и долго не отнималъ пальца.

Вбѣжалъ слуга въ испугѣ.

— Что вамъ нужно, сэръ?!

— Когда идетъ поѣздъ въ Свиртингэмъ?..

— Въ десять часовъ сэръ; вы имѣете еще цѣлыхъ полтора часа. О, достаточно времени! Не желаете ли вы, сэръ, съѣсть чего-нибудь; кажется, вы вчера не обѣдали, сэръ, и... и сегодня также.

— Нѣтъ, я ничего не желаю. Помогите мнѣ уложиться. Я просто болѣнъ —и онъ снова приложилъ мокрый платокъ къ своей пылавшей головѣ, но холодная вода казалось ему горячей.

VII.

Черезъ полтора часа онъ летѣлъ къ своей Джеллѣ. Онъ усиливался думать только о ней, онъ выставлялъ свою пылавшую голову изъ окна и освѣжительной волной дулъ, на эту горячую голову, свѣжій ночной воздухъ, пролетавшій мимо вагоновъ...

Мелькали станціи, тянулась ночь, въ какой-то дремотѣ безсильной, тяжелой. Всходило солнце, сіяло утро. Кругомъ

были суета, движеніе, шумъ, говоръ. Онъ думалъ только объ одномъ, старался думать только о Джеллѣ.

Наконецъ, поѣздъ остановился въ Свиртингэмѣ.

Вотъ она, его Джелла, стоитъ на платформѣ и машетъ платкомъ, а подлѣ нея плачущая Лида и Эмма, и всѣ протягиваютъ къ нему руки. Только нѣтъ однихъ рукъ, которыя протягивались къ нему съ такой страстной, беззавѣтной, безумной любовью!

Онъ вышелъ въ какомъ-то онѣмѣніи, какъ-то холодно поцѣловалъ онъ и свою Джеллу, и Лиду, и лепечущую, плачущую Эмму.

— Артуръ, мой Артуръ! шептала перепуганная, Джелла,— ты болѣнъ, ты похудѣлъ, пожелтѣлъ, ты даже посѣдѣлъ... что съ тобою?!

— Я болѣнъ, я былъ болѣнъ! сказалъ онъ.

И больше ничего не сказалъ.

Кругомъ него толпились и лепетали дѣти; каждый спѣшилъ наперерывъ разсказать ему что-нибудь ужасно необыкновенное, что случилось безъ него.

Угрюмо и молча вошелъ онъ въ свой домъ, въ свой родной домъ...

— Артуръ! вскричала Джелла, когда они остались одни,— скажи мнѣ, что съ тобой!?. Дорогой, родной мой Артуръ!.. Между нами не было и не можетъ быть никакихъ тайнъ... Мы такъ крѣпко связаны, мы любимъ другъ друга не для себя, но для счастья каждаго изъ насъ. Артуръ! я догадываюсь, ты полюбилъ ее, ее, эту чудную дѣвушку, о которой ты писалъ мнѣ,—миссъ Джени Драйлингъ.

Онъ вздрогнулъ и дико, безумно посмотрѣлъ на ея лицо, на ея большіе, сѣрые, добрые, любящіе глаза и опустилъ голову.

— Артуръ! вскричала она, сжимая его холодныя руки,— и только въ этомъ все твое несчастіе?.. или она... она не

любитъ тебя... тебя, добраго, умнаго, талантливаго. Неужели же есть въ мірѣ женщина, человѣкъ, которые бы не любили тебя?... Артуръ!

— Она любитъ меня, какъ-то глухо, скороговоркой проговорилъ онъ.

— Такъ что же, Артуръ!.. Артуръ! развѣ твое счастье не мое счастье?.. Развѣ ты не зналъ меня, не узналъ меня въ пятнадцать лѣтъ нашей общей жизни... Развѣ ты не отдалъ мнѣ все, все изъ твоей пылкой молодости... у насъ трое дѣтей, твоихъ дѣтей.. Артуръ! чего еще я могу требовать отъ тебя?.. Если ты думаешь, что я не буду ее любить какъ сестру, какъ родную, какъ ту, которая дастъ тебѣ новое счастіе и новую жизнь... Артуръ! родной мой... другъ мой... братъ мой!...

Онъ упалъ передъ нею на колѣни, онъ спряталъ голову въ ея рукахъ. Онъ зарыдалъ, зарыдалъ передъ этимъ идеаломъ, полнымъ самоотверженной любви, а она гладила его серебристыя кудри, изъ ея добрыхъ глазъ также катились слезы, и одного было ей жаль, одного только, зачѣмъ страдалъ этотъ человѣкъ, зачѣмъ посѣдѣли такъ сильно его серебристыя кудри.

— Джелла, сказалъ онъ, когда, наконецъ, улегся, стихъ этотъ пароксизмъ плача, когда онъ высказалъ все все, что наболѣло у него въ сердцѣ въ эти тяжелые дни.—Джелла, мнѣ совѣстно, стыдно смотрѣть на тебя... Я ниже, о гораздо ниже тебя...

Она взяла его голову и, обнявъ руками, повернула къ себѣ, хотя глаза его были опущены, даже зажмурены...

— Почему же стыдно, Артуръ!.. Не потому-ли, что сердце твое шире моего, что оно можетъ вмѣстить въ себѣ не только любовь къ двумъ женщинамъ, но и любовь ко всему человѣчеству, а мое сердце, оно можетъ любить только то, что дорого тебѣ, и больше всего тебя, моего

добраго, умнаго, геніальнаго друга... Пройдутъ года, Артуръ, страсти улягутся, но останутся послѣ насъ наши дѣла и наши дѣти. Америка будетъ вспоминать о тебѣ, о ея поэтѣ и музыкантѣ, и вспомнитъ обо мнѣ, какъ о твоей женѣ... Да развѣ я не христіанка, Артуръ, развѣ я не люблю тебя, какъ самое себя, развѣ я не чувствую, какъ тяжелы твои страданія, дорогой мой!..

И слезы сильнѣе закапали изъ ея глазъ; она гладила его серебристыя кудри, она ловила его руки и цѣловала ихъ.

— Артуръ!—говорила она чрезъ нѣсколько минутъ, когда онъ, закрывъ глаза, лежалъ головой на ея колѣняхъ, наслаждаясь этимъ безмятежнымъ покоемъ, послѣ такихъ потрясающихъ чувствъ.—Артуръ! поѣзжай завтра же туда, привези ее сюда. У насъ есть, у насъ найдутся лишнія комнаты. Я съ такой радостью встрѣчу ее. Мнѣ кажется, у меня будутъ не одинъ, а два друга... И такъ хорошо, легко, свободно потечетъ жизнь моя; я, навѣрное, сама помолодѣю съ вами.

Онъ еще поцѣловалъ, крѣпко поцѣловалъ ея худыя, уже постарѣлыя руки и всталъ, быстро освѣженный. Онъ поцѣловалъ ее долгимъ поцѣлуемъ, поцѣловалъ ея глаза; онъ понялъ, теперь только понялъ, сколько человѣчныхъ, именно человѣчныхъ чувствъ было спрятано въ этомъ сердцѣ.

И все-таки онъ мечталъ о ней, о той далекой его симпатической парѣ; мечталъ еще сильнѣе, потому что теперь, да, теперь не было никакихъ перегородокъ между нимъ и ею; теперь даже одобряла этотъ союзъ его Джелла, его святая Джелла. Да, онъ не могъ иначе думать о ней, какъ о святой.

Онъ такъ весело, долго болталъ въ своей семьѣ. Теперь все ему улыбалось: и эти дѣти, которыя такъ любили его, и эта жена, нѣтъ, не жена, а что-то самое высокое, выше друга, выше всего, всего на свѣтѣ.

На другой день она уговаривала его уѣхать съ первымъ поѣздомъ, спѣшить скорѣй къ этой страдающей, къ этой чудной дѣвушкѣ.

— Артуръ, говорила она,—ты не можешь представить, какое сильное страданіе, боль сердца, можетъ принести женщинѣ обманутая или неудовлетворенная, подавленная любовь. Если мы имѣемъ, должны имѣть состраданіе ко всѣмъ, то еще болѣе къ такимъ существамъ, умнымъ, талантливымъ, необыкновеннымъ, какъ эта дѣвушка. Поѣзжай скорѣе; мнѣ кажется, я буду только тогда покойна, когда ты напишешь, что она счастлива и ты счастливъ, мой Артуръ. О, какое будетъ это чудное письмо!

Но онъ все-таки не поѣхалъ ни съ первымъ, ни съ вторымъ, ни съ четвертымъ поѣздомъ, онъ непремѣнно хотѣлъ остаться, цѣлый день остаться съ его Джеллою.

— Мнѣ надо отдохнуть, Джелла,—говорилъ онъ,—отдохнуть подлѣ тебя. Я пошлю письмо.

— Пошли телеграмму.

И онъ согласился и написалъ:

«Завтра, въ 5 ч. вечера, я буду подлѣ васъ. Перегородокъ нѣтъ; ихъ сломалъ мой добрый ангелъ-хранитель, моя Джелла».

— О! Джелла,—сказалъ онъ, пряча голову на ея груди,—мнѣ совѣстно, стыдно!

— Чего, Артуръ? Твоей любви, любви къ дѣвушкѣ, которая вполнѣ, я надѣюсь, вполнѣ заслуживаетъ ее.

— Мнѣ совѣстно тебя.

Она засмѣялась и крѣпко поцѣловала его.

— Ты ребенокъ, Артуръ, ты до сихъ поръ ребенокъ! Развѣ я не понимаю, не могу оцѣнить то, что влечетъ тебя туда къ ней?.. Представь себѣ, что я превратилась на время,

а можетъ быть и навсегда, въ твою сестру. Развѣ тебѣ было бы совѣстно уѣхать отъ твоей сестры къ твоей невѣстѣ?

— О, моя Джелла!— вскричалъ онъ, крѣпко прижимая ее къ сердцу, — о моя сестра святая, какъ глупо устроено сердце людское! сколько въ немъ неразъяснимыхъ, непроходимыхъ противорѣчій!

И цѣлый день они были вмѣстѣ, цѣлый день, почти постоянно, она распрашивала его о ней и слушала съ такимъ восторгомъ его восторженныя описанія.

— Артуръ, Артуръ! — говорила она,— снова нисходитъ къ тебѣ новое счастье! И я, я сама буду счастлива этимъ двойнымъ счастьемъ... Вы оба будете любить меня, и я васъ буду любить, и какія, Артуръ, чудныя, вдохновенныя пѣсни появятся у тебя въ этой новой жизни. О! я заранѣе вижу, что за геніальная вещь выйдетъ изъ трудовъ твоей обновленной жизни. И я, Артуръ я, — прошептала она, — буду хоть немного виновницей всего этого. Я буду также участницей. Я, безталанная, отдамъ отъ себя въ жертву прогрессу все, что имѣю, мое любящее сердце!..

— Твое широкое сердце, Джелла!—вскричалъ онъ чуть не со слезами и, цѣлуя ей руки, онъ думалъ: «Какъ не похоже это сердце на то, другое сердце; какъ не похожи эти натуры и кто рѣшитъ, которая изъ нихъ выше!».

И, вмѣсто отдыха, онъ волновался цѣлый день. Сердце дрожало, дрожали холодныя руки, голова горѣла. То его тянуло туда, туда, къ этой необыкновенной дѣвушкѣ, къ этой волшебницѣ; то ему хотѣлось, страстно хотѣлось остаться здѣсь, подлѣ этого добраго, самотверженнаго существа.

— Артуръ,—говорила она,—я пошлю за докторомъ, ты просто пугаешь меня. Ты блѣденъ, худъ, твои глаза горятъ, у тебя жаръ.

— Это просто волненіе, родной мой другъ,—говорилъ онъ,—завтра, завтра все это уляжется.

Но она не вѣрила, она все-таки послала записку къ старому другу ихъ дома и дальнему родственнику, доктору Бёрнту.

Вечеромъ Артингсонъ началъ укладываться. Какой хаосъ онъ нашелъ въ своемъ чемоданѣ! Точно сумасшедшій укладывалъ всѣ вещи: почти всѣ портреты были разбиты. И опять этимъ чуднымъ ароматомъ пахнуло на него отъ всѣхъ вещей, и снова образъ этой дѣвушки, который постоянно какъ тѣнь, мелькалъ у него передъ глазами, явился передъ нимъ, какъ живой. Сердце заныло, грудь заколыхалась.

Онъ взглянулъ на часы—было половина одиннадцатаго.

— Черезъ полтора часа,—подумалъ онъ вслухъ, черезъ полтора часа я полечу къ тебѣ, помчусь какъ вихорь, и нѣтъ, нѣтъ перегородокъ!..

Онъ быстро началъ укладываться.

И постоянно ему казалось, что позади его стоитъ она, что-то бѣлѣетъ.

Онъ невольно оглянулся назадъ. Позади его дѣйствительно стояла она, она сама, Джени Драйлингъ.

О, какъ грустенъ былъ ея молящій взглядъ, какъ судорожно были сжаты ея опущенныя руки!..

Онъ поблѣднѣлъ.

«Неужели она пріѣхала вслѣдъ за мной, или... или она сдѣлала этотъ сюрпризъ, моя дорогая Джелла»,—мелькнуло въ его головѣ.

И онъ быстро вскочилъ. Сердце радостно забилось...

— Джени, Джени,—вскричалъ онъ,—вы здѣсь, вы знаете все!

Но Джени вдругъ заколыхалась, какъ туманъ, и исчезла, улетѣла, какъ «ангелъ бѣлый иль бѣлая птица!»

Съ крикомъ, стремглавъ бросился онъ внизъ, туда, гдѣ люди, гдѣ его Джелла.

— Что съ тобою, Артуръ, что съ тобою!—вскричала она, бросаясь блѣдная къ нему на-встрѣчу.—Мистеръ Бёрнтъ, что съ нимъ?!..

— Я видѣлъ ее,—проговорилъ съ трудомъ Артуръ и зубы его стучали, какъ въ лихорадкѣ.

Мистеръ Бёрнтъ усадилъ его въ кресло. Онъ щупалъ его пульсъ. Онъ прикладывалъ руку къ его головѣ и качалъ своей большой курчавой головой, вспоминая, что сейчасъ разсказала ему мистрисъ Артингсонъ.

Онъ далъ ему какихъ-то капель и послалъ въ аптеку еще за лѣкарствами.

— Такъ нельзя сэръ,—говорилъ онъ,—такъ нельзя рисковать. Напряженіе, страшное напряженіе нервовъ, и если при этомъ являются галлюцинаціи, то недалеко очень не далеко до весьма дурной развязки. Я не хочу васъ пугать, но будьте осторожны. Я бы совѣтовалъ вамъ остаться...

— Нѣтъ, я поѣду!—вскричалъ онъ быстро, и бодро приподнявшись съ креселъ.—поѣду Джелла, только тамъ я могу быть покоенъ.

И онъ отправился наверхъ снова укладываться. . За нимъ вслѣдъ пошли и Джелла, и Лида, и другія дѣти, и мистеръ Бёрнтъ.

Всѣ они наперерывъ помогали укладываться...

Джелла отвела его въ уголъ.

— На,—сказала она,—Артуръ, и она подала ему ея фотографическую карточку; ты это отдашь ей, а мнѣ пришлешь ея карточку, и тотчасъ же, тотчасъ же пришлешь мнѣ телеграмму, какъ пріѣдешь. О! какъ я боюсь за себя. Я такъ бы рада была сама проводить тебя, и она крѣпко стиснула его руку.

Наконецъ, наконецъ онъ былъ въ вагонѣ. Онъ еще вспоминалъ грустные глаза его Джеллы, вспоминалъ, какъ она обняла его. Онъ еще слышалъ, какъ рыдала его Лида

и какъ докторъ Бёрнтъ, тоже провожавшій его, говорилъ ему:

— Будьте осторожны, сэръ, и еще разъ черезъ два часа примите двадцать капель, а завтра по утру десять.

И все это смутно представлялось ему. Главное--онъ лѣтѣлъ, летѣлъ къ ней. Онъ везъ ей любовь, радость, счастье. Онъ мечталъ постоянно объ этой встрѣчѣ. Онъ представлялъ ее въ тысячи разныхъ видахъ и постоянно видѣлъ одно, ея радость, и даже радость миссъ Драйлингъ. О! неужели же она не будетъ рада, неужели же она найдетъ что нибудь предосудительное здѣсь, когда сама Джелла, его святая Джелла, ничего не нашла и благословила его.

И онъ летѣлъ. Ему казалось, что поѣздъ, противъ обыкновенія не дѣлалъ пяти миль въ часъ, онъ справлялся съ часами, но часы его стояли, какъ мертвые.

На разсвѣтѣ онъ уснулъ крѣпкимъ освѣжающимъ сномъ, и сонъ рисовалъ ему такія радужныя сцены любви и счастія.

Онъ проснулся почти въ два часа утра. Онъ не слыхалъ, какъ мѣнялись его сосѣди, приходили и уходили пассажиры. Въ просоньѣ онъ отвѣчалъ кондуктору, показывалъ ему билетъ и на любезное его приглашеніе чего-нибудь поѣсть отвѣчалъ лаконическимъ: «благодарю!.»

И наконецъ, онъ проснулся,—бодрый, свѣжій. Онъ узналъ, что осталось три часа, только три часа до этой великой блаженной минуты.

О! зачѣмъ столько счастья дается одному человѣку, столько сердецъ его любятъ, такъ глубоко восторженно любятъ. Да и откуда же дается это счастье?! «Надо узнать всѣ мелочи жизни», припоминались ему ея слова «и счастье придетъ само собой!» О! вотъ оно пришло, нахлынуло полной волной, хотя я ничего не знаю, никакихъ мелочей. И сердце его трепетало, и мечта неслась за мечтой, одна другой милѣе, восторженнѣе. Ему казалось, что всѣ на свѣтѣ хотя

на одно мгновенье могутъ быть счастливы въ жизни также, какъ онъ.

А поѣздъ летитъ, летитъ. Еще полчаса, еще двадцать минутъ...

Вотъ наконецъ и они пролетѣли.

Какъ сумасшедшій, какъ влюбленный юноша, онъ бросается въ коляску, бросаетъ въ нее чемоданы и прямо туда, туда!

— Джени, и Джелла! Джелла и Джени!—твердитъ онъ, когда коляска быстро мчитъ его. — Два имени, два друга, два чудныхъ женскихъ образа, и они оба мои... оба мои ангелы-хранители! О! только бы сердце не разорвалось отъ этого блаженства!

Вотъ наконецъ и онъ, этотъ коттеджъ, вотъ и озеро и балконъ! Не она ли стоитъ тамъ? О! съ какимъ крикомъ бросится она къ нему на-встрѣчу, или поблѣднѣетъ и упадетъ безъ чувствъ. Нѣтъ! это не можетъ быть—вѣдь она получила мою телеграмму. Она приготовлена. О! золотые юношескіе восторги, неужели я снова переживаю васъ! И неужели жизнь только обманчивый сонъ

Онъ вбѣжалъ въ переднюю.

Какіе-то люди толпились въ ней, что-то толковали, о чемъ-то хлопотали. Онъ ни на кого не взглянулъ, и на него никто не обратилъ вниманія.

Онъ взбѣжалъ на лѣстницу, вбѣжалъ въ салонъ.

Первое, что поразило его, это миссъ Драйлингъ. Она уходила въ другую комнату, или, правильнѣе, ее уводили подъ руки какія-то двѣ черныя лэди.

Онъ обернулся въ другой уголъ... тамъ стоялъ гробъ... Но онъ не вдругъ разглядѣлъ, не вдругъ понялъ, что это дѣйствительно гробъ, весь замаскированный зеленью, весь убранный цвѣтами и что въ этомъ гробу посреди цвѣтовъ, ея любимыхъ цвѣтовъ, лежала она.

Онъ пошатнулся и быстро подошелъ къ этому гробу, не вѣря глазамъ своимъ.

Да, это дѣйствительно лежала она; и смерть не могла исказить этой чудной, казалось ему, неземной красоты. Она лежала и мертвая, какъ живая.

. . . . . .

О! гдѣ же ты воскрешающая сила!... коснуться бы ея, коснуться только этой чудной мертвой руки. Встань, очнись, во имя любви, счастья, блаженства!

Онъ хотѣлъ зарыдать, застонать и не могъ.

Круги, круги, пестрые, темные завертѣлись, заструились въ его глазахъ. Онъ зашатался и рухнулъ на коверъ, на цвѣты, подлѣ этого трупа, подлѣ этой чудной, молодой жизни, безвременно и быстро разбитой.

VIII.

Когда онъ очнулся, онъ дико осмотрѣлъ темную, занавѣшенную комнату. Ему казалось, что онъ проснулся послѣ долгаго тяжелаго сна, въ какой-то другой, уже загробной жизни.

Онъ пристально всматривался, подлѣ него сидѣла она, его Джелла, но онъ не вдругъ узналъ ее. Тѣ же черты, но какъ измѣнились онѣ, какъ постарѣли, какъ угрюмо смотрятъ ея большія грустные глаза.

А это подлѣ—это миссъ Драйлингъ, вся въ черномъ, или нѣтъ, это какая-то старуха дряхлая, дрожащая, сѣдая, съ старчески трясущеюся головой.

Джелла быстро поднялась со стула, глаза ея засверкали радостью, задрожали слезами.

Но ея тотчасъ остановилъ докторъ Бёрнтъ. (Да! и онъ былъ тутъ, и такъ же какъ будто похудѣлъ). Онъ подалъ Артингсону рюмку съ какими-то каплями.

— Примите это, сэръ! примите, и покой... покой!

Онъ взялъ рюмку дрожавшей, прыгавшей рукой и принялъ при помощи Бёрнта.

А онѣ обѣ тоже дрожали и плакали и Джелла и миссъ Драйлингъ.

Онъ снова впалъ въ забытье и очнулся черезъ нѣсколько часовъ.

Онъ какъ-то смутно чувствовалъ, что теперь утро, день, что солнце свѣтитъ на дворѣ, жаркое солнце. Передъ нимъ снова сидѣли тѣ же самыя лица.

— Джелла!—сказалъ онъ чуть слышно,—Джелла!

Докторъ Бёрнтъ хотѣлъ снова остановить ея страстный порывъ и не могъ.

Она уже была передъ нимъ на колѣняхъ и рыдала, и цѣловала его руку.

— Джелла! что со мной... Она умерла?..

— Я осталась съ тобой, я, Артуръ!..

Онъ посмотрѣлъ на нее, взялъ ея руку. Какія-то тихія слезы потекли изъ его глазъ. Онъ цѣловалъ ея руку и гладилъ ея волосы.

Кризисъ совершился. Что произвело его? Силы жизни, докторъ Бёрнтъ или эта ласка глубоко любящаго сердца и эти тихія слезы. Кто можетъ на это отвѣтить?!

Медленно шло выздоровленіе. Медленно оживалъ онъ чувствуя, что онъ долженъ жить для нея, для его друзей, что кошмаръ прошелъ, волшебный, поэтическій сонъ исчезъ. Настала прежняя пора обыденной жизни. Но сколько же въ этой жизни тайнъ и развѣ не можетъ согрѣть ее эта теплая любовь его доброй, его ясной Джеллы!..

. . . . . .

— Миссъ Драйлингъ,—говорилъ онъ разъ, сидя на балконѣ еще слабый, больной—миссъ Драйлингъ! разскажите мнѣ о ея послѣднихъ минутахъ.

— Сэръ Артингсонъ!—сказала эта дряхлая, сѣдая старуха,—зачѣмъ вспоминать прошлое—вамъ нуженъ покой.

— Тебѣ нуженъ покой, Артуръ,—вскричала Джелла,—зачѣмъ ты хочешь разстраивать себя снова?

Онъ тихо покачалъ сѣдой головой...

— Не бойся, моя родная,—сказалъ онъ,—теперь меня ничто не тронетъ. Все прошло, какъ сонъ, всѣ страсти улеглись и я буду слушать разсказъ нашего дорогаго друга, какъ далекую, грустную повѣсть. Этотъ разсказъ освѣжитъ мое сердце, разбудитъ мои уснувшія силы.

И миссъ Драйлингъ начала разсказъ. Она разсказывала, какъ будто и ее тоже ничего не трогало. Какъ будто послѣ долгихъ, долгихъ страданій онѣмѣло, наконецъ, это разбитое сердца. И притомъ въ ея глубокихъ, впалыхъ, обведенныхъ темными кругами глазахъ блестѣла такая теплая вѣра во что-то вѣчное, далекое отъ всѣхъ земныхъ страданій, а на ея черной одеждѣ блестѣли бѣлые длинные воротнички, какъ у пастора—эта принадлежность костюмовъ шекеровъ. Она поступила въ эту секту и только на время осталась здѣсь подлѣ него, выздоравливающаго, но все-таки больнаго ея стараго друга и шекеры ничего не могли возразить противъ этого святого дѣла.

— Я пережила эти потрясающія минуты, сэръ Артингсонъ,—разсказывала она,—и мнѣ теперь легко, какъ старому дереву, послѣ долгаго знойнаго дня, послѣ грома и бури.

Она разсказывала, въ какомъ странномъ, безумномъ состояніи вернулась она, ея дорогая Джени, изъ этого отеля, отъ мистера Артингсона.

«Онъ не любитъ меня, мэмъ,—шептала она.—Если бы онъ любилъ меня, онъ не былъ бы такъ холоденъ, онъ нашелъ бы въ своемъ сердцѣ нѣсколько теплыхъ словъ участья, онъ бы заплакалъ. Онъ просто боялся меня, дрожалъ передо мной».

«Я нѣсколько разъ,—разсказывала миссъ Драйлингъ,—ходила къ ней туда наверхъ, нѣсколько разъ говорила ей я не помню, что я говорила ей, сэръ Артуръ,.. и что могутъ сдѣлать слова въ эти минуты. На всѣ эти слова она почти не откликалась, она сидѣла грустная, убитая, подавленная. Я видѣла, сэръ Артуръ, что ей тяжело и не могла ей помочь. Я хотѣла бы заставить ее плакать, о, навѣрное слезы унесли бы все, что налегло, надавило ея сердце, что отуманило ея голову.

«Было уже поздно—кажется первый часъ ночи—когда я услыхала этотъ стукъ,—глухой чуть слышный стукъ, но онъ былъ такъ явственъ среди тихой ночи. Я не помню, какъ я бросилась къ ней снова наверхъ, и не помню, что со мной сдѣлалось, когда я увидѣла ее на коврѣ, холодную какъ трупъ. Я подумала, что цвѣты, эти ужасные цвѣты убили ее... Да! я и теперь думаю тоже самое... Вы представьте, что атмосфера, въ которой она сидѣла, цѣлыхъ три часа, была до того тяжела, до того убійственна, что я просто задохнулась, когда вбѣжала въ ея комнату. Прежде она освѣжала ее какимъ-то газомъ, но теперь она вѣроятно забыла о томъ, или, или... о! Господи, прости мое согрѣшенье!... Можетъ быть, Артуръ, она нарочно убила себя, прошептала она...

«Я, разумѣется, тотчасъ послала за докторомъ, тотчасъ перенесли ее въ мою спальню, внизъ... Пріѣхалъ и мистеръ Вертчъ (вы его знаете), и докторъ Тюнингъ и докторъ Стентъ. Ей давали какія-то капли, насильно, сквозь стиснутые зубы, вливали ей въ ротъ, ее растирали, обложили синапизмами и въ четыре часа утра она пришла въ себя и какъ я увѣровала, какъ я жарко молилась! И знаете-ли, съ этой вѣрой, съ этой молитвой ко мнѣ вернулось такое успокоенье, глубокое, твердое, невозмутимое. Я сказала: если я и потеряю ее, развѣ это не Его воля,—Его великаго, котораго мы лю-

бимъ, потому что нельзя же не любить Его, вѣдь Онъ выше, чище, разумнѣе, безстрастнѣе всѣхъ насъ бренныхъ и мимолетныхъ созданій.

«Она очнулась, но на всѣхъ смотрѣла дико, никого не узнавала и дышала тяжело.

«Миссъ Драйлингъ! сказалъ тогда мистеръ Вертчъ (вы знаете сэръ Артуръ, какой онъ умный и ученый человѣкъ), «миссъ Драйлингъ, сказалъ онъ, мы до сихъ поръ не знаемъ какъ помочь человѣку въ случаѣ отравленія тонкимъ запахомъ ядовитыхъ цвѣтовъ—наука здѣсь безсильна. Мы будемъ ждать, наблюдать и дѣйствовать по симптомамъ».

«И все это продолжалось, тянулось, какъ тяжелый сонъ.

«Въ семь часовъ мы получили вашу телеграму. Я тотчасъ передала ее имъ, Вертчу, Стенту и Тюнингу, они ни на одну минуту не покидали ее, мою больную.

«Но тутъ они заспорили. Вертчъ предлагалъ, прямо сказать ей вслухъ, громко: телеграмма отъ Артура Артингсона и передать ей эту телеграмму. Онъ горячо утверждалъ, что это сильное потрясеніе произведетъ неожиданный быстрый переворотъ въ нервахъ, но другіе такъ же горячо спорили, что ей нуженъ покой, глубокій безусловный покой. И вотъ, почему телеграмма не была ей передана. По крайней мѣрѣ тотчасъ же. Но ей все-таки передали ее, сэръ.

«Въ восемь часовъ она поднялась съ постели глаза ее стали ясны, она узнала меня.

— Мэмъ!—сказала она,—что со мной?

— Ты больна,—говорю я,—моя Джени,—будь покойна!

— Мэмъ! я знаю отъ него есть что-то.

«Я взяла телеграмму со столика и прямо подала ей, не спрашивая никого. Мистеръ Вертчъ не успѣлъ вырвать ее...

«Она прочла телеграмму, глубоко задумалась и подала мнѣ ее».

— Поздно, мэмъ!—сказала она,—слишкомъ поздно!

«Потомъ снова опустилась, утомленная и не прошло полчаса, какъ она начала метаться.

«Она просила пить; ей давали какіе-то прохладительные сиропы. Она была такъ послушна, но очевидно ничто, ничто не помогало. Она мучилась. Ахъ, какъ она мучилась, сэръ Артуръ, и какъ я горячо желала, чтобы скорѣе насталъ конецъ этимъ мученіямъ, но эта пытка продолжалась цѣлыхъ тринадцать часовъ. Въ десять часовъ она вдругъ обратилась ко мнѣ.

— «Мэмъ!—сказала она, едва дыша,—мэмъ! ахъ! если бы онъ былъ ласковѣй со мной, мнѣ кажется, мнѣ легче было бы умирать!

«Это были ея послѣднія слова...

«Прошло еще нѣсколько, не знаю сколько времени, она приподнялась и тотчасъ же упала, глаза остолбенѣли, она начала дышать судорожно, порывисто.

«Докторъ Стентъ подошелъ ко мнѣ, взялъ меня подъ руку и насильно повелъ меня.

— «Пойдемте отсюда, миссъ Драйлингъ,—сказалъ онъ. —Богъ милосердъ; есть жизнь другая!—кто-то прошепталъ позади меня:

«Началась агонія!

«Больше я ничего не помню, сэръ Артуръ; она умерла въ половинѣ одинадцатаго».

Артингсонъ опустилъ голову и глубоко задумался.

— Артуръ, мой Артуръ! — вскричала Джелла, бросаясь къ нему вся въ слезахъ—будь покоенъ.

— Я покоенъ, дорогая моя, — сказалъ онъ такимъ тихимъ, ровнымъ голосомъ,—я совершенно покоенъ...

Онъ отвернулся отъ нея и опустилъ голову. Онъ усиливался понять ея слова и не могъ. Какія-то безсвязныя понятія, представленія струились въ его слабой головѣ, свертываясь клубами или переплетаясь въ безконечную пу-

таницу. Онъ сидѣлъ цѣлыхъ полчаса, неподвижно, незамѣчая, какъ летѣло время.

— Артуръ! Артуръ! — вскричала Джелла, падая передъ нимъ на колѣни,—неужели въ тебѣ все окаменѣло, неужели ты никого не любишь?... не любишь меня?...—и она рыдала, цѣлуя его руки...

— Я люблю тебя, Джелла,—сказалъ онъ, гладя ея голову,—я люблю тебя, но то, что похоронено, то не можетъ снова воскреснуть!..

Прошло четыре года, только четыре года, и сколько перемѣнъ совершилось въ это короткое время!

Миссъ Драйлингъ безслѣдно исчезла въ тихой, замкнутой, земледѣльческой сектѣ шекеровъ.

Мистрисъ Артингсонъ, эта любящая, самоотверженная Джелла, страдала, томилась—страдала потому, что не могла возвратить къ себѣ прежняго Артура. Онъ какъ будто переродился послѣ громового удара. Онъ былъ задумчивъ, холоденъ, сухъ. Онъ бродилъ, какъ бродятъ помѣшанные меланхолики, и когда умерла она, его Джелла—онъ не плакалъ. Угрюмъ, грустенъ, задумчивъ стоялъ онъ передъ ея гробомъ.

Онъ проводилъ въ раннюю могилу его Эмму, также спокойно, безучастно, какъ проводилъ и ее, Джеллу.

Оставалась только одна Лида. Она вышла замужъ за человѣка сильнаго, энергическаго, который основывалъ какія-то новыя колоніи въ дѣвственныхъ лѣсахъ Виргиніи. Она любила его и работала вмѣстѣ съ нимъ, какъ его помощница, какъ его работникъ, только отъ этого брака дѣти рождались хилыми и умирали.

Вымиралъ родъ Артингсона! Онъ понималъ это. Онъ бродилъ одинокій забытый, покинутый всѣми.

И кто бы узналъ теперь прежняго статнаго, сильнаго красавца въ этомъ сѣдомъ, сгорбленномъ старикѣ!

Замолкли его чудныя пѣсни, его пѣвучія мелодіи.

Общество забыло о немъ, какъ забываетъ часто о томъ, кто велъ его впередъ, кто увлекалъ его своими вдохновеніями.

А жизнь все таки шла своимъ ходомъ, работала наука, литература, поэзія, искусство, все обновлялось, развивалось, стремилось въ неизвѣданную даль будущаго—одинъ онъ былъ холоденъ и безучастенъ.

Онъ думалъ: «куда все идетъ и куда идти за отвѣтомъ, и гдѣ этотъ великій отвѣтъ на великій вопросъ?» Онъ самъ своимъ сердцемъ прошелъ всю гамму страсти и она сожгла, изсушила его сердце. Онъ читалъ даже эти записки ищущихъ свѣта, этихъ «Просвѣщенныхъ» и тамъ говорили разсудительные, ученые люди, одинъ бредъ и сумасбродство. Да и эта секта уже рухнула.

Онъ хотѣлъ вѣрить и не могъ. Чему же вѣрить? Онъ не могъ рѣшить и только хриплый, скрипучій басъ мистера Чёртча постоянно шепталъ надъ его ухомъ:

«Мы бродимъ въ потьмахъ, сэръ, мы бродимъ въ глубокихъ, непроглядныхъ потьмахъ!»

КНЯЗЬ КОСТЯ.

изъ пансіонской жизни.

(Разсказъ).

I.

. . . . . .

Меня перевезли въ городъ.

Грязь, слякоть, дождь. Пансіонскій садъ представлялъ мерзость запустѣнія. Листья на деревьяхъ почти всѣ облетѣли. Алейки сада были усыпаны ими и побурѣлыми стручками отъ акацій. Перильца на мостикѣ стали еще гнилѣе, такъ что я, безъ особаго труда, повалилъ два столбика съ перекладинками. Предъ мостикомъ образовалось цѣлое озеро. Вода натекла сюда со всѣхъ аллеекъ. Мы съ Гусикомъ тотчасъ попробовали устроить черезъ это озеро переправу. Натащили кирпичей, дощечекъ. Обрушенныя перильца съ мостика тоже пошли въ дѣло, и переправу устроили весьма удовлетворительно. Разумѣется, измучились страшно и всѣ ноги промочили, за что̀ и получили возмездіе.

— Гдѣ это вы бѣгаете, пожалуйте-ка къ Александрѣ Алексѣевнѣ, ищутъ-ищутъ васъ!—встрѣтилъ насъ Никитичъ, когда мы вошли въ домъ.—Э! да какъ же вы загрязнились! Вотъ погодите, ужъ зададутъ вамъ, ужъ зададутъ!

Но мы очень хорошо понимаемъ сами, что зададутъ.

— Послушай,—шепчу я Никитичу,—почисти насъ пожалуйста, чтобы не замѣтили...

И тотчасъ же сую, въ подкрѣпленіе этой просьбы, гривенничекъ, разсчитывая при этомъ, что у меня осталось еще цѣлыхъ девять новенькихъ гривенничковъ, которые дала мнѣ мама, при прощаніи.

— Гдѣ это отчистишь! — говоритъ Никитичъ, быстро пряча гривенникъ въ жилетку.—Это надо прежде высушить, а потомъ уже и отчищать.

И въ подтвержденіе этого онъ тотчасъ же беретъ щетку и съ такою энергіей начинаетъ шаркать по моимъ брюкамъ, что я уподобляюсь утлому челну подъ бурными вѣтрами.

— На-кось! гдѣ тутъ отчистишь, на-кось! Все мокро!... Вишь ты!

И пошаркавъ минуты три, онъ окончательно убѣждается, что щетка не утюгъ и мокраго не высушитъ.

— А меня-то хоть немножко,—клянчитъ Гусикъ.

— Гдѣ тебя! чего тебя?!—вскидывается вдругъ Никитичъ.—Взбучить тебя, вотъ что!

Меня нѣсколько коробитъ при этимъ неравенствѣ отношеній. Я очень хорошо понимаю, что не будь у меня гривенника, то и меня сдѣдовало бы «взбучить», но въ то же время охватываетъ меня чувство злораднаго самодовольства что у меня есть гривенники, а у Гусика нѣтъ.

— Послушай, — говорю я ему уже совершенно покровительственнымъ тономъ, — вѣдь мы пойдемъ вмѣстѣ, ну ты и не лѣзь впередъ, прячься за меня, тебя и не замѣтятъ.

И мы отправляемся къ Александрѣ Алексѣевнѣ, на хозяйскую половину, въ гостиную, постоянно темную, гдѣ въ углу, на креслѣ-диванѣ съ высокою спинкой, сидитъ Александра Алексѣевна, худенькая, маленькая старушка, вся въ

морщинкахъ, со строгимъ, сухимъ лицомъ и ястребиными глазками. Она клеитъ коробочки и вырѣзаетъ ажурныя картиночки; это ея постоянное занятіе. Подлѣ нея за столикомъ сидятъ Катя и Варя, одна съ аспидною доской, другая съ катихизисомъ.

— Гдѣ это вы пропадали? — допрашиваетъ Александра Алексѣевна гортаннымъ шепелявымъ голосомъ.

— Мы, Александра Алексѣевна, въ саду были. Я хотѣлъ по пріѣздѣ сходить въ садъ... осмотрѣть...

— Кто же тебя пустилъ?.. у кого спрашивался?

— Я полагалъ-съ...

— Чтобъ этого въ другой разъ не было!.. А ты что тамъ прячешься? — обращается она къ Гусику, — выдь, батюшка, сюда... покажись.

Гусикъ показывается.

— Это... въ какомъ ты видѣ? А?.. И ты подойди ближе, покажи ноги!... опять экзаменуютъ меня.

Скрѣпя сердце я подхожу и показываю ноги. Александра Алексѣевна протягиваетъ руку, быстро схватываетъ меня за ухо и теребитъ сосредоточенно и отрывисто.

Правду надо сказать, она была мастерица теребить. Пригнетъ на сторону и дергаетъ, дергаетъ, дергаетъ, такъ что невольно слезы изъ глазъ побѣгутъ.

Затѣмъ тотъ же маневръ повторяется съ Гусикомъ. На третьемъ теребкѣ онъ не выдерживаетъ и начинаетъ визжать по-поросячьи.

— Ступайте въ дортуаръ... и скажите перемѣнить носки и сапоги... А за обѣдомъ останетесь безъ пирожнаго...

И мы идемъ съ поникшими головами, причемъ у меня вертится очень смутное утѣшеніе, что на людяхъ и смерть красна.

«Вѣдь вотъ, думается мнѣ, кажется ужъ старался защитить его»... причемъ я бросаю бѣглый взглядъ на распла-

канное лицо Гусика. И это блѣдное лицо съ оловянными глазами, на большой стриженой, бѣлобрысой головѣ, мнѣ кажется удивительно смѣшнымъ. «Вотъ старался же защитить, думаю я, а только самъ попался».

«А еслибы не пожалѣлъ еще гривенника, говоритъ голосъ совѣсти, то и самъ бы не попался, и Гусика бы спасъ».

И мы идемъ въ дортуаръ, а за нами идетъ Никитичъ.

— Что, досталось!.. взбучили!.. допрашиваетъ онъ.—Давай сухаго!—кричитъ онъ Марѳѣ.—Вишь мореходы пришли.

— А! а! гдѣ плаванье изволили совершать?—спрашиваетъ Сеня Бисюгинъ, стройный, красивый пансіонеръ, брюнетъ, мелькомъ взглянувъ на насъ сквозь pince-nez на носу съ горбикомъ и продолжая козырять въ карты вмѣстѣ съ двумя другими пансіонерами, причемъ вмѣсто ломбернаго стола служила имъ кровать.

Никитичъ, захвативъ наши мокрые доспѣхи, ушелъ.

Въ то время какъ мы переодѣваемся, сидя на кровати, Филя Тюгинъ, который лѣниво ходилъ по дортуару большими шагами взадъ и впередъ, заложивъ руки въ карманы полосатыхъ шароваръ, подошелъ къ Гусику, посмотрѣлъ на него, покачался, посвисталъ и вдругъ началъ щелкать его по головѣ или «ковырять масло» (выраженіе пансіонское), причемъ припѣвалъ гнусливымъ голосомъ:

Гусикъ плавалъ,
Гусикъ клякалъ,
Хвостикъ обмочилъ,
Ножки увязилъ!

— Филя!.. Филя!.. Да отстань!.. Фи-ля-я! плачется Гусикъ на весь дортуаръ.

— Дай ему дулю!—кричитъ Бисюгинъ,—что онъ на весь дортуаръ разорался, словно немазанное колесо.

— А вотъ видишь, я его сушу!—отвѣчаетъ Филя прехладнокровно, продолжая свою пѣсню съ аккомпанимен-

томъ. — Видишь, Гусикъ, бѣдненькій Гусикъ, промокъ до слезъ.

И мнѣ ужасно становится смѣшно положеніе Гусика; я вовсе не сознаю, что этотъ смѣхъ невольный, что онъ сродни той нервной дрожи, которая проникаетъ меня отъ холоднаго бѣлья, промокшихъ ногъ и теребленія за ухо. И мнѣ ничуть не жаль бѣднаго Гусика, хотя за нѣсколько минутъ, за полчаса, мы такъ дружно и храбро таскали вмѣстѣ съ нимъ доски и кирпичи устраивая переправу. И какъ добросовѣстно, съ какимъ увлеченіемъ онъ трудился надъ этимъ устройствомъ, проваливаясь нѣсколько разъ въ воду по самую щиколку! При этомъ я вспомнилъ, что каждый разъ какъ онъ первый, шатаясь подъ тяжестью ноши, лѣзъ въ воду, мнѣ было немножко совѣстно за свою трусость и изнѣженность, но не знаю почему, всѣ въ пансіонѣ мы считали Гусика ниже себя.

И вдругъ этотъ Гусикъ, выведенный изъ себя и теребленьемъ за ухо, и щелчками Фили, дико, неистово вскрикнулъ, весь покраснѣлъ и съ бѣшенствомъ, кинувшись на Филю, ударилъ его съ розмаха по лицу кулакомъ и затѣмъ принялся колотить и пинать ногами...

— Э! э! э! Это что такое?—закричали всѣ.

Филя, на мгновенье озадаченный, остолбенѣлъ, затѣмъ встрепенулся, обозлился, наскочилъ и облапилъ Гусика, но тотъ, съ отчаянія, впился зубами въ его руку и замеръ на ней, какъ истая мордашка.

Филя отдернулъ руку и поблѣднѣлъ отъ боли.

— А! пащенокъ, ты кусаться!.. кусаться!—хрипѣлъ онъ дрожащимъ голосомъ, и обернувъ Гусика лицомъ къ постели, онъ притиснулъ его и началъ изо всѣхъ силъ, съ ожесточеніемъ колотить его по спинѣ. Онъ колотилъ долго, сосредоточенно, блѣднѣя и сверкая глазами; наконецъ; давъ окончательнаго тумака, изо всѣхъ силъ толкнулъ Гусика...

Тотъ скатился съ постели и, съ глухимъ стукомъ хлопнулся на полъ.

— Ты ужъ, кажется, слишкомъ его?—проговорилъ Бисюгинъ.

— Ничего! отдышется!.. Тля бѣлобрысая!—говорилъ Филя дрожа весь и быстро отворачивая рукавъ.—Видишь, собака какъ укусилъ!..

И онъ всѣмъ показывалъ отпечатокъ Васиныхъ зубовъ.

Я въ ужасѣ подошелъ къ Васѣ. Онъ лежалъ блѣдный, безъ движенія. Сердце у меня страшно заколыхалось. «Мертвый!» подумалъ я.

— Что съ нимъ?—спросилъ Бисюгинъ, вставъ съ картами въ рукахъ и подошелъ. За нимъ всталъ Неключиковъ, высокій пансіонеръ съ краснымъ, угреватымъ лицомъ. Онъ нагнулся къ Васѣ, повернулъ его одною рукой, пощупалъ и поморщился. Потомъ отбросилъ карты, поднялъ Васю, положилъ его на постель и началъ быстро растегивать ему жилетку. Мы всѣ столпились около постели.

— Какъ же можно такъ бить! Вѣдь ты убилъ его!—укоряетъ Бисюгинъ.

— Такъ что же! Это и позволять ему, кутенку, драться и кусаться? — говоритъ Филя, все еще дрожащій, но уже смущенный, а не озлобленный.

«А кто же началъ ковырять масло? Кто первый присталъ къ Гусику?» вертится у меня въ головѣ, но я благоразумно удерживаюсь отъ заявленія этого вопроса вслухъ.

Между тѣмъ, Неключиковъ усердно щупаетъ грудь Гусика и слушаетъ сердце, но сердце не бьется, грудь не двигается, дыханія нѣтъ.

— Тискуновъ,—обратился онъ ко мнѣ,—сбѣгай поскорѣй, принеси стаканъ воды!

И я опрометью бросаюсь въ столовую, достаю изъ буфета стаканъ, наливаю его водой изъ рукомойника.

— Вы что, вы зачѣмъ? — останавливаетъ меня лысый Мартынъ.

— Воды... надо... Видишь, съ Гусикомъ, съ Васей, обморокъ... дурно ему сдѣлалось!..

— Чего... дурно! ворчитъ Мартынъ и отправляется вслѣдъ за мной въ дортуаръ.

Сеня беретъ у меня стаканъ, набираетъ воды въ ротъ и нѣсколько разъ спрыскиваетъ Васю. Потомъ, видя что средство это неуспѣшно, быстро намачиваетъ ему водой лобъ и виски.

— Что это, что съ нимъ попритчилось?—допрашиваетъ Мартынъ.

— Чего попритчилось!.. видишь обмеръ...

— Съ чего бы?.... да и никогда съ нимъ этого не было, никогда, разсуждаетъ Мартынъ.

«Если въ спину противъ сердца ударишь человѣка, то можно его убить», вспоминается мнѣ изъ какой-то житейской практики.

Вошла Марѳа, тоже допросила что съ нимъ, отчего это и сострадательно, сложивъ руки, смотрѣла на Васю.

— Чего же смотрѣть, надо посылать за докторомъ.

— Тискуновъ, бѣги, приведи сюда Карла Ивановича.

А Карлу Ивановичу, по всѣмъ правиламъ, давно бы ужъ слѣдовало быть здѣсь, какъ комнатному надзирателю. Я отправляюсь бѣгомъ и нахожу его въ классной.

— Карлъ Ивановичъ!.. тамъ съ Васей Гусикомъ что-то случилось... обморокъ.

— Гдѣ, что такой? Ach! Gott, mein Gott, встрепенулся Карлъ Ивановичъ, и бѣжитъ опрометью, а за нимъ потянулись всѣ изъ втораго и изъ третьяго классовъ.

— Тишь, тишь! Bleiben sie hier! командуетъ Карлъ Ивановичъ. И толпа остановилась, и на цыпочкахъ, издали, все-таки пошла за нами и прокралась въ дортуаръ.

Карлъ Ивановичъ не много струхнувшій, подходитъ къ Васѣ, и высоко приподнявъ брови, смотритъ на его блѣдное лицо, потомъ беретъ его осторожно за руку и щупаетъ пульсъ.

— Чтой-тъ! Was ist geschehen? Господа, отчего эйтъ?

— Обмеръ,—говоритъ Неключиковъ,—вдругъ покатился и обмеръ. Онъ въ саду бѣгалъ вмѣстѣ съ Тискуновымъ и промочилъ ноги.

— С-с-с!—качаетъ головой Карлъ Ивановичъ.—Господа, перенеситъ его nach больница.

И тотчасъ же Неключиковъ и Бисюгинъ берутъ Васю подъ мышки и за ноги и несутъ въ больницу.

— Тишь, тишь! Осторожнѣй! Seien Sie vorsichtig, seien Sie vorsichtig!—предупреждаетъ Карлъ Ивановичъ.

И вся толпа толкается въ дверяхъ и бѣжитъ по корридору, а процессія медленно направляется въ больницу.

— Никитъ!—говоритъ Карлъ Ивановичъ,—скажитъ сичасъ Иванъ Михаличь, надо на докторъ, на докторъ, скорѣй, скорѣй!

Черезъ полчаса является докторъ-нѣмецъ.

— Вотъ исторія произошла,—докладываетъ Карлъ Ивановичъ по-нѣмецки.—Дитя было здорово и отправилось въ садъ, въ сырую погоду, промочило себѣ ноги и придя назадъ, вдругъ упало безъ дыханія.

А весь пансіонъ мало-по-малу протискивается въ больницу и обступаетъ кровать.

— Что случилось, что такое?—раздается испуганный голосъ Ивана Михайловича, и мы всѣ отступаемъ отъ постели, заслышавъ этотъ твердый и громкій голосъ. Входитъ Иванъ Михайловичъ, содержатель пансіона, рослый, полный брюнетъ въ синихъ очкахъ.

И ему докладываютъ опять всю исторію, а докторъ щупаетъ и слушаетъ Васю.

— Господа,—обращается онъ къ намъ,—растирайте ему грудь, тихонько, тихонько.

И самъ третъ.

Филя, блѣдный, съ бѣгающими глазами, быстро просовываетъ дрожащую руку, но пансіонеръ Колотуровъ также быстро отталкиваетъ его.

— Куда?!—шепчетъ онъ.—Накутилъ, а туда же лѣзетъ.

— Я... потереть, — говоритъ Филя прерывающимся голосомъ.

— Ужъ натеръ, довольно!—говоритъ Неключиковъ.

И Филя, потупя голову, стушевывается въ заднихъ рядахъ.

— Не такъ, не такъ,—говоритъ докторъ,—вы тихонько водите рукой все кверху, кверху.

И онъ засучивъ обѣ руки, показываетъ какъ надо растирать.

— Тискуновъ!—вдругъ вызываетъ Иванъ Михайловичъ, и мое бѣдное, трепетавшее сердце еще сильнѣй забилось. Я протискиваюсь и подхожу къ Ивану Михайловичу.

— Что это? Вы вмѣстѣ съ нимъ были въ саду? Что вы дѣлали? А!.. говори!.. разсказывай.

— Ничего, Иванъ Михайловичъ, мы только черезъ лужу, что знаете около мостика натекла, переправу устраивали.

— Переправу! какую переправу?—говоритъ Иванъ Михайловичъ, поправивъ очки.

— Переправу-съ, изъ камешковъ, кирпичиковъ, дощечекъ («балясинокъ»,—вертится у меня на языкѣ, но я благоразумно прячу разрушеніе мостика).

— Вѣрно утомился, усталъ,—говоритъ Иванъ Михайловичъ, какъ бы про себя, потирая свои короткіе, курчавые волосы. — Все шалости! шалости, милостивый государь!—вдругъ накидывается онъ на меня, грозя пальцемъ.—Видишь, вотъ видишь до чего шалости доводятъ!

Въ это время сзади подходитъ Филя Тюгинъ. Лицо его

полотна бѣлѣе, глаза остолбенѣли, брови высоко приподняты, онъ весь дрожитъ какъ въ лихорадкѣ.

— Иванъ Михайловичъ!—говоритъ онъ едва слышно.

— Что вамъ нужно?!—быстро поворачивается Иванъ Михайловичъ. — Да что вы здѣсь, господа? Подите, подите вонъ!.. Да тише, тише! Не шумите.

Публика пятится и толчется около дверей.

— Иванъ Михайловичъ!—вдругъ неистово вскрикиваетъ Филя.—Это я, я убилъ его.

И онъ рыдая падаетъ на колѣни!

— Какъ?! Что, что вамъ? Кто убилъ, кого убилъ?! Ничего не пойму?! Встаньте, ступайте вонъ!.. Послѣ разберу.

Въ это время лицо Васи покрывается краской, онъ медленно и тяжело стонетъ.

Иванъ Михайловичъ и мы всѣ снова тихонько бросаемся къ постели.

— Отдохнулъ, очнулся,—говоритъ докторъ, вытирая потъ бѣлымъ платкомъ, отъ котораго сильно пахнетъ магноліей.

—Что съ нимъ было?—допрашиваетъ Иванъ Михайловичъ.

Докторъ пожимаетъ плечами.

— Нервный припадокъ, обморокъ, потеря дыханія...

А Филя, стоя на колѣняхъ, крестится широкимъ крестомъ и громко рыдаетъ.

— Уйдите вы всѣ, я сказалъ! — громко прикрикиваетъ Иванъ Михайловичъ и топаетъ ногой.

И мы всѣ опрометью бросаемся вонъ, въ томъ числѣ и Филя, который быстро вскакиваетъ съ колѣнъ. Остаются только немногіе изъ старшаго класса, которые оттирали Васю. Черезъ полчаса и они приходятъ во второй классъ, гдѣ всѣ мы собрались и толковали и судили всякій на свой ладъ. Филя ходилъ взадъ и впередъ, въ сторонѣ отъ насъ.

— Эхъ ты муслякалка! кисель слезливый—говоритъ Кудиновъ, вернувшійся также изъ больницы и подходя къ

Филѣ.—Муслякалка! сейчасъ и раскисъ «Я убилъ! я убилъ!» и на колѣнки, берите, казните!—И онъ захныкалъ и сдѣлалъ кислую гримасу, что вовсе не шло къ его суровому, загорѣлому, угрюмому лицу.—Блудливъ какъ кошка, а трусливъ какъ заяцъ.

— Такъ что жъ? — рѣзко спрашиваетъ Филя, нервно озлобленнымъ голосомъ. — Что же по твоему скрываться: убилъ да и скрылъ?

Кудиновъ, сдвинувъ брови и сжавъ кулаки, быстро подходитъ къ нему.

— Не суйся съ языкомъ, коли за него не вѣшаютъ. Филя разиня! Хляпса прокислая!.. Твердости въ тебѣ не получено. Кто тебя тянулъ за языкъ?.. Коли докажутъ, что убилъ, такъ и сознавайся!.. А кто на тебя показывалъ? Какая шельма, лазутчикъ, шпіонъ, тля поганая, фискалъ, зубосплетъ, кто есть между насъ, кто бы тебя выдалъ!..

И Кудиновъ страшно сверкалъ глазами, оглядывалъ всѣхъ насъ, какъ бы ища между нами шпіона.—Ну! говори, какая мзгля на тебя доносила?! говори—и голосъ его крѣпчалъ.—Самъ донесъ!.. Харча поганая! — проговорилъ онъ рѣзкимъ шопотомъ и затѣмъ отвернулся, плюнулъ и отошелъ прочь.

Мы всѣ съ пренебреженіемъ смотрѣли на Филю. На всѣхъ насъ, очевидно, дѣйствовалъ рѣзкій, самоувѣренный тонъ Кудинова. «Харча поганая!» вертѣлось у меня въ ушахъ, когда Филя, махнувъ рукой и опустивъ голову, быстро пошелъ вонъ изъ класса. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, несмотря на безграничное уваженіе, которое я питалъ къ Кудинову (да и всѣ мы), которое невольно сообщалось каждому, несмотря на все благородство его негодованія, что-то шевелилось неудовлетворенное въ моемъ сердцѣ, и это сердце говорило: «Нѣтъ, это не такъ!»

II.

Цѣлый день мы, поодиночкѣ, навѣдывались къ Гусику. Онъ сталъ интересомъ минуты; но этотъ интересъ, вплоть до вечера, спалъ самымъ богатырскимъ сномъ. Вѣрно потрясеніе нервовъ было очень энергичное.

Вечеромъ мы собрались на наше любимое мѣсто, на галлерейку, которая окнами выходила въ садъ и сообщалась прямо со столовой. Между нами шелъ горячій споръ, въ которомъ дѣятельное участіе принималъ лысый Мартынъ, нашъ общій камердинеръ, высокій, плотный, осанистый, съ огромною лысиной и невѣроятными бакенами.

— Нѣтъ, это что же?—говорилъ онъ:—теперь позвольте вамъ доложить, что убійца это какъ есть самый пропащій человѣкъ: онъ подлежитъ дьяволу и царства небеснаго лишается.

— А ты дьяволу не подлежишь?—огорошиваетъ его Кудиновъ, и мы всѣ дружно фыркаемъ.

— Подлежу я или нѣтъ это, позвольте доложить, Господу Богу извѣстно, Его праведному суду.

— А отчего жъ, позволь тебѣ доложить, чуча̀ лысая,—говоритъ Колотуровъ,—отчего души убитыхъ и пострадавшихъ идутъ въ царствіе небесное?

— Ахъ нѣтъ, вотъ уже нѣтъ, пострадавшихъ—это дѣйствительно такъ, пострадавшихъ за вѣру, а убитые, да неотмщенные мучатся здѣсь на землѣ. Вотъ, позвольте вамъ доложить, была одна исторія; это я отъ вѣрнаго человѣка слышалъ. Разъ одинъ баринъ поѣхалъ со слугой на охоту; только ѣздили это они ѣздили и наступилъ вечеръ, а они заплутались. Подъѣзжаютъ къ избушкѣ, стоитъ такъ себѣ избушка... Вошли они, никого нѣтъ. Ну, говоритъ баринъ,

давай, молъ, Егоръ или Андрей, не знаю какъ слугу звали, ложиться спать, и полегли на лавкахъ, и собака значитъ, охотничья собака, улеглась около лавки. Только середь ночи слышать стукъ, лай. Что такое? Открывается подполье, и оттуда лѣзетъ страшенный мертвецъ (у насъ у всѣхъ мурашки побѣжали по кожѣ). Собака эта какъ увидала его, такъ съ лаемъ и кинулась на него и сейчасъ за горло, а мертвецъ началъ это ее кусать. Собака кусаетъ, и мертвецъ кусаетъ, а баринъ со слугой, ни живы, ни мертвы сидятъ, молитву творятъ. И грызлись они вплоть до пѣтуховъ. Какъ первые пѣтухи пропѣли, такъ мертвецъ сейчасъ хлопъ и пропалъ, западня захлопнулась, а собака еле жива, дрожитъ, ползетъ къ барину и вся какъ есть искусана. Ну они дождались разсвѣту и скорѣй вонъ изъ избушки....

— Да это ты что же за чушь тутъ несешь? говоритъ Сеня Бисюгинъ, поправлая pince-nez и вздергивая кверху свою курчавую голову.—Какіе тутъ мертвецы? Это просто они попали въ разбойничій притонъ... Какъ же онъ охотникъ, а не стрѣлялъ?

— Какъ на разбойничій притонъ! Помилуйте, а собака-то отчего искусана, гм! Развѣ разбойникъ будетъ это теперича кусать собаку?

— Коли голодный такъ и тебя искусаетъ,—замѣчаетъ Кудиновъ.

— А вы позвольте... Вотъ эту собаку, ни живу, ни мертву; взяли они и поѣхали, и опять это по лѣсу плутали, плутали, вечеромъ опять подъѣхали къ избушкѣ.

— Это опять къ той же?

— Нѣтъ, ужъ къ другой... Только въ избушку войти опасаются, а сѣли такъ, подлѣ, подъ лѣсину, разложили огонекъ, поставили котелокъ и варятъ себѣ кашицу. А слуга, не будь промахъ, добылъ осиновый колъ, срубилъ осину и

колъ обтесалъ. Только молчатъ они и кашицу ѣдятъ. Вдругъ, какъ взглянутъ наверхъ, батюшки свѣты, а тамъ изъ слухового окошечка и торчатъ ноги, длинныя-предлинныя, худыя да голыя и ногти на нихъ большущіе, а собака лежитъ это въ повозкѣ и воетъ и визжитъ, заливается, а встать не можетъ, такъ ужъ онъ ее изгрызъ, мертвецъ-то. Только они какъ увидѣли эти ноги, такъ сейчасъ же на телѣжку и удирай знай, даже котелокъ покинули. А тотчасъ же вслѣдъ за ними замѣчайте и мертвецъ соскочилъ, длинный предлинный, и летитъ за тройкой что есть духу. Они гонятъ и онъ гонитъ, они творятъ молитву, а онъ задуваетъ, и вотъ видятъ они что имъ не угнать, что мертвецъ ихъ настигаетъ ближе да ближе и ужъ рукой ихъ хватаетъ, тогда слуга схватилъ колъ и, благословясь на отмашь, какъ хватитъ его по головѣ и мертвецъ полетѣлъ на земь. Только, сколько они ѣхали не знаю, кони начали приставать и они поѣхали шагомъ, а ночь, темь и лѣсъ кругомъ гудитъ, только глядь, вдругъ опять мертвецъ гонится; они опять вскачь, а мертвецъ за ними, вотъ ужъ близко, близко и опять, благословясь на отмашь...

— А вотъ я тебя самого, благословясь на отмашь,—говоритъ Кудиновъ, подсовывая ему здоровенный кулакъ подъ самый носъ.—Это ты зачѣмъ этакую чушь намъ гнешь? Къ чему ты бабьи сказки намъ разсказываешь? Вѣдь ты только малыхъ ребятъ пугаешь.

И онъ указалъ на всѣхъ на насъ, которые слушали весь разсказъ рты разинувъ.

— Нѣтъ, позвольте доложить, сударь, это я всё къ тому, что убитый человѣкъ, онъ, то-есть, не знаетъ себѣ спокою, онъ и по лѣсамъ бродитъ, на всякаго живого бросается....

— Да врешь ты, пугало воронье, врешь, врешь, понимаешь, врешь, какъ чухонскій боровъ, да и то съ-пьяна.

— Allons, господа,—сказалъ Сеня,—связываться съ ла-

кеемъ!..—и онъ гордо поднялъ голову.—Ступайте всѣ вонъ, вонъ, шишь, шишь!—закричалъ онъ на всѣхъ малышей, и мы всѣ должны были разойтись, не дослушавъ исторіи крайне занимательной.

А ночью эта исторія начала мнѣ мерещиться и разбирать меня. Только закрою глаза, какъ мнѣ живо представляется Гусикъ мертвый и за нимъ мертвецъ длинный, длинный, протягиваетъ ко мнѣ руки.

— Господи!—шепчу я и крещусь—«да расточатся врази!.. Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго водворится!»—И мало-по-малу сердце успокоивается и наплываютъ какіе-то образы... Листья, листья все валятся, шумъ вѣтра, шумъ дождя и огромная лужа, въ озерѣ рябитъ, рябитъ, я зѣваю, дрожа и кутаясь съ головой въ одѣяло. Не знаю, кажется я заснулъ,—вдругъ толчокъ и прямо надъ ухомъ раздается: «Тискуновъ! Тискуновъ!»

Я въ ужасѣ открываю глаза, кто-то стоитъ весь бѣлый, я такъ и обмеръ и собралъ всѣ силы, чтобы закричать самымъ отчаяннымъ образомъ; но бѣлый зажимаетъ мнѣ ротъ рукой и отчаянно встряхиваетъ меня за голову.

— Это, я, я, не кричи, дура! Али не узнаешь?

Я, скорѣй по голосу, чѣмъ по лицу, узнаю Колотурова, закутаннаго въ простыню.

— Напяль штаны,—говоритъ Колотуровъ,—ступай подъ лѣстницу, со стѣнки стащи ключи у Мартына, потомъ пройди въ буфетъ и стащи тамъ холодные блины, да два стакана; понялъ?

— Понялъ,—говорю я,—а самъ весь трясусь какъ въ лихорадкѣ. Ощупью нахожу штаны, надѣваю.

— Какъ все спроворишь,—шепчетъ Колотуровъ,—принеси во второй классъ. Слышишь!

— Слышу,—говорю я, и крестясь и читая молитву, отправляюсь на промыселъ.

Добылъ ключи, добылъ и блины, и стаканы, и опять на цыпочкахъ отправляюсь, чрезъ корридоръ, во второй классъ. Двери заперты, я стучусь. Мнѣ отпираетъ Неключиковъ.

Во второмъ классѣ, въ небольшой комнатѣ стоитъ только одинъ большой столъ посрединѣ, за этимъ столомъ засѣдаетъ компанія: Кудиновъ, Крамковъ, разстрепанный, сонный и пьяный, Сеня Бисюгинъ, Неключиковъ, красноносый Песочкинъ (я теперь только догадался, отчего у него красный носъ) и Флюгитскій, низенькій, худенькій, съ маленькими глазками, всегда прилизанный, примазанный и носившій въ карманѣ щеточку съ зеркальцемъ. Въ комнатѣ сильно накурено, на столѣ догораетъ сальный огарокъ. Между штофомъ и бутылками валяются объѣдки колбасы, мятные пряники и лежатъ на синей бумагѣ два соленые огурца.

— А-а! провизіи несутъ, транспортъ пріѣхалъ,—проговорилъ Крамковъ, хрипло-пьянымъ голосомъ.

Колотуровъ помогъ мнѣ донести.

— Ну, а ты теперь можешь отправляться туда, откуда пришелъ,—говоритъ онъ мнѣ.

— Нѣтъ, — кричитъ Крамковъ, — это будетъ половой. Эй, половой! приди ко мнѣ, другъ милый мой! Приди, приди!

Онъ подмигиваетъ и киваетъ мнѣ головой.

Между тѣмъ, у Кудинова идетъ жаркій споръ съ Неключиковымъ.

— Какой такой духъ?—говоритъ Кудиновъ, очевидно, тоже пьяный,—это все барабаны выдумали; не духъ, а суть дѣла, понимаешь, суть жизни этого не признаетъ.

— Нѣтъ, не суть жизни, а міровой духъ, духъ націи, народный духъ.

— А я тебѣ говорю, что жизнь идетъ сама собой, своими кулаками да подзатыльниками и у кого здоровѣй кулаки, тотъ и правъ, у кого мозги хорошіе, тотъ мозгами

бьетъ. Цѣпляйся, борись, коль жить хочешь и никакого духа не спрашивай.

— Такъ ты, значитъ, безнравственный человѣкъ, ты безнравственность проповѣдуешь? (Неключиковъ не могъ выговорить плавно безнравственность и всегда спотыкался на *н*).

— А что такое нравственность, я тебя спрошу, что такое нравственность?

— Это общественная справедливость.

— Выкопалъ чепуху! Ты мнѣ не мѣшай и я тебѣ не мѣшаю, вотъ тѣбѣ и вся нравственность, а коли ты глупъ, да у тебя денегъ много, то я деньги эти себѣ подберу, ибо глупому сыну не въ помощь богатство... Борьба, борьба вѣчная, непримиримая, ожесточённая, вотъ принципъ человѣчества, принципъ природы, принципъ всего.

— Нѣтъ, mon cher, ты ужъ слишкомъ далеко хватилъ,— вмѣшался Бисюгинъ,—этакъ у тебя старикамъ и жить нельзя, молодые ихъ заѣдятъ какъ ненужныхъ.

— Какъ нельзя, отчего нельзя?—вскричалъ Песочкинъ, страшно тараща на всѣхъ пьяные глаза.—Нѣтъ, позволь... это я живу, ты живешь и онъ живетъ...

— Она живетъ, мы живемъ, вы живете, они живутъ...

— Разумѣется такъ, — вскричалъ Кудиновъ, отстраняя рукой слишкомъ высунувшагося Песочкина. — Коли старъ, да ни къ чему не годенъ, и ну его къ шаху! Въ благоустроенномъ обществѣ онъ самъ стушуется, самъ на осину полѣзетъ. Старикъ да дуракъ, все одно негодная говядина, вздоръ, соръ!..

— Позвольте, однако, господа, — вскричалъ Неключиковъ,—это выходитъ какая-то поголовная рѣзня... Чего же тутъ толковать о благоустройствѣ? Тутъ одна сила, кулакъ не думающій.

— Какъ не думающій?—вскричалъ Кудиновъ, схвативъ его за пуговицу. — Я тебѣ говорю, въ основаніи всего ра-

зумъ—р-р-р-а-зумъ! Онъ и царь, и Богъ, и законодатель, и распорядитель.

— Позволь, какой разумъ! А чувство ты куда дѣлъ? вѣдь мнѣ надо, чай, довольство жизнью или нѣтъ? Какъ по твоему?

— Какое чувство!.. — вскричалъ Кудиновъ, — кто тебѣ говоритъ о чувствѣ?.. Лобызаться, да на фортоплясахъ что-ли чувствительные романсы играть, по твоему? «Ты мой пижончикъ, я твой пижончикъ», дуэты, да амуры... Правды, милостивые государи, правды жизни, вотъ что надо!—кричалъ онъ, стуча кулакомъ по столу.—Трезвости, бодрости и борьбы... борьбы... битвы жизни!

Въ это время что-то застучало, что-то завозилось въ сосѣдней комнатѣ.

— Ссс!.. господа,—вскричалъ шепотомъ Бисюгинъ,—вы забыли, что вы не на свободѣ. Полицію разбудите.

Я слушалъ все это сидя на полу, куда меня толкнулъ Крамковъ, и не понималъ. Я возсоздаю все это теперь, по тѣмъ отрывочнымъ фразамъ и словамъ, которыя остались у меня въ памяти. Но смыслъ этихъ фразъ сталъ ясенъ для меня гораздо позже.

— Это все, господа, какая-то чепуха, des billevesies,— говоритъ Бисюгинъ, весь взъерошенный и красный, поминутно поправляя свое pince-nez, поплевывая и засасывая папироску. — Il faut des convenances et rien de plus. Надо, чтобъ общество было благовоспитанное, чтобъ оно чувствовало на себѣ узду общественности.

— Да! да! — подхватилъ Кудиновъ, — надо, чтобы на всемъ былъ лоскъ, политура, чтобы насъ надували поджентльменски.

— Quelle folie! кто тебѣ говоритъ о надувательствѣ, я толкую о гуманности, деликатности обращенія.

Флюгитскій подставляетъ ему стаканъ и сладко улы-

бается. Но Бисюгинъ, озадаченный этою любезностью, гордо вскидываетъ голову и отстраняетъ стаканъ.

— Зачѣмъ этотъ фертикъ здѣсь? — спрашиваетъ онъ всѣхъ надменно.

— Пока въ карманѣ депозитка шевелится,
До тѣхъ поръ фертикъ этотъ здѣсь вертится,—

разрѣшаетъ Кудиновъ и хрипло, басомъ хохочетъ своей остротѣ.

А фертикъ весь покраснѣлъ, съ масляными мигающими глазками быстро лѣзетъ къ себѣ въ карманъ и ощупываетъ депозитку.

— Des billevesies, ce ne sont que des billevesies, — говоритъ Бисюгинъ, растопыривая руки.

Меня долитъ дрема. Я клюю носомъ и не чувствую какъ Крамковъ обожженою пробкой выводитъ мнѣ отчаянные усы и бакены.

— Хорошъ мущина! — говоритъ Колотуровъ, быстро взглядывая на эту сцену.

«Хорошъ мущина, ха, ха, ха! хорошъ мущина, ха, ха, ха!» звенитъ у меня въ ушахъ, и я опять переплываю океанъ на большой, большой лодкѣ... Вдругъ шквалъ обдаетъ меня всего брызгами.

Я просыпаюсь, пивныя брызги текутъ у меня по лицу. «Ха, ха, ха!» звенитъ въ ушахъ, «встрепенулся!»...

— Отпустите юнца,—говоритъ кто-то,—что онъ дремлетъ?

— Только сперва надо его угостить,—говоритъ Крамковъ, и шатаясь подходитъ ко мнѣ со стаканомъ меда.

— Пей, кутикъ, добродѣтельный кутикъ! пей сладкое бузунчикъ!

Я пью. Съ просонокъ мнѣ такъ пріятно.

— Ну, а теперь, алле марширъ восвояси.

ДЪРЖАВНА ЖЕЛЕЗНИЧАРСКА БИБЛИОТЕКА ГИМНАЗИЯ СОФИЯ

— Да языкъ проглоти,— схватываетъ меня за шиворотъ Кудиновъ и встряхиваетъ, какъ добрый сынъ.—Слышишь, мозглявка, если ты только пикнешь, что онъ видѣлъ, все!..—говоритъ онъ, обмахивая кулакомъ рукавъ.—Слышалъ, понялъ?

— Понялъ,—шепчу я.

— Ну, теперь ступай, дитя мое, съ Богомъ,—и онъ гладитъ меня противъ шерсти и даетъ легонькаго подзатыльника, отъ котораго я шлепаюсь на полъ и затѣмъ уже, шатаясь, бреду восвояси.

Добравшись до дортуара, я съ нервной дрожью ложусь въ холодную постель, но разбуженные нервы не даютъ уснуть.

Такъ вотъ оно что, думаю я, вотъ какъ *старшіе* кутятъ. То-то я замѣчалъ, что днемъ они иногда ходятъ сонные, какъ мухи, или валятся спать, а иные такъ отправляются даже въ больницу: голова дескать болитъ. А Карлъ Ивановичъ ухаживаетъ за ними точно каплунъ. «Что жъ, господа, простудилсь, Kopfschmerz, не будетъ ли корячка?» И я фыркаю и зажимаю носъ при словѣ «корячка». А вокругъ меня все спитъ непробуднымъ сномъ, и Филя Тюгинъ скрежещетъ ожесточенно зубами... А хорошо-ли они дѣлаютъ, что кутятъ? Вѣдь если узнаютъ, что сдѣлаютъ? Я думаю, выгонятъ, непремѣнно выгонятъ изъ пансіона. И я припоминаю какъ выгнали Алешу Крупкина за то, что выбранилъ Карла Ивановича «клистирною колбасой», и опять смѣхъ нападаетъ на меня при сопоставленіи чопорнаго, вылизаннаго, длиннаго Карла Ивановича съ «клистирной колбасой», я фыркая и дрожа, прячусь весь подъ одѣяло. Да о чемъ это они толковали? да, о чемъ... надо жить и бороться... битва жизни... «Правды, правды жизни!» гремитъ у меня въ ушахъ голосъ Кудинова и раздаются удары кулакомъ по столу... А что такое: «правда жизни?»

А этотъ Кудиновъ долженъ быть силенъ, онъ дѣйствительно *старшій*... и всѣ его слушаются. А тамъ...

Я начинаю дремать, нѣсколько разъ зѣвая, вздрагиваю; вдругъ длинная рожа мертвеца рѣзко, отчетливо выплываетъ предо мною; я открываю глаза, сердце у меня заколотилось, я крещусь и снова понемногу успокоиваюсь, и снова сонъ, крадучись, незамѣтно захватываетъ и сковываетъ меня.

III.

На другой день шумъ, крикъ разбудили меня. Я вскакиваю, кругомъ меня обступили, хохочутъ. Всѣ уже одѣты, и Карлъ Ивановичъ стоитъ возлѣ меня.

— Что-сь это спаль? ничего не болить? А кто тебя мазиль, кто мазиль?

— Это онъ самъ вчера намазался,—говоритъ Кудиновъ,— Турку представлялъ.

— Ну, подить, умойсь,—говоритъ Карлъ Ивановичъ, и всѣ торжественно, цѣлою гурьбой, ведутъ меня умываться.

— А мы тебя будили, будили,—говоритъ Гусикъ,—хотѣли за докторомъ посылать.

— А ты ужъ здѣсь?—удивляюсь я.

— Его надо съ церемоніей умыть,—говоритъ Крамковъ.— Тюгинъ, бѣги скорѣй къ Никитичу, возьми у него сапожную щетку, надо ему зубы вычистить...

— А вмѣсто мыла кирпичу,—и Тюгинъ выхватываетъ мыло и подсовываетъ на умывальникъ кирпичъ, которымъ Мартынъ ножи чиститъ.

— Да оставьте, господа, отдайте мыло,—хнычу я.

— Вотъ, вотъ мыло первый сортъ, посмотри!

— А ты посмотри на морду,—говоритъ Крамковъ,— развѣ ее мыломъ отмылишь, тутъ непремѣнно кирпичемъ надо.

— Кирпичемъ,—говоритъ серіозно Колотуровъ,—безъ кирпича тутъ и приступиться нельзя.

— А потомъ можно золой, а потомъ воскомъ натереть или политурой нафабрить.

Въ это время въ дальнемъ корридорѣ раздается возня, громкіе голоса чему-то радуются, кого-то обнимаютъ.

— Горненко! Горненко пріѣхалъ!—кричатъ кругомъ, и всѣ бросаютъ меня и бѣгутъ встрѣчать Горненко.

Я тоже тороплюсь, мылюсь изо всѣхъ силъ, чтобы увидать поскорѣе Горненко. Это нашъ всеобщій другъ и утѣшникъ, нашъ пансіонскій поэтъ.

Вотъ голоса идутъ къ умывальной, гулко раздается топотъ шаговъ по длинному корридору—и вотъ онъ идетъ впереди, въ серединѣ между Бисюгинымъ и Кудиновымъ.

Онъ кажется нисколько не выросъ и также ходитъ помедвѣжьи, все такой же большелобый, большеголовый карапузикъ со свѣтлыми голубыми глазами на выкатѣ, курносый и съ оттопыренными губами, постоянно открытыми и улыбающимися и постоянно показывающими два ряда ровныхъ бѣлыхъ зубовъ.

— А! тискунчикъ,—говоритъ Горненко,—что поздно носокъ прочищаешь?

— Онъ вчера трубочистомъ былъ; цѣлую ночь трубы чистилъ. Ну, сегодня и проклажается.

— Ну, здравствуй, здравствуй!

И я крѣпко обнимаю и цѣлую Горненко, который треплетъ меня по спинѣ. У меня даже слезы навертываются на глазахъ. И все въ одно мгновеніе принимаетъ праздничный видъ.—Хотя, по правдѣ сказать, чему я радуюсь такъ неистово? Развѣ Горненко мнѣ другъ или товарищъ? Вѣдь онъ старшаго класса. Но отчего же мы всѣ, такъ сказать, липли къ Горненко?

Да оттого, что былъ онъ душа-человѣкъ. Онъ тебя и

приколотитъ, онъ съ тобой и поплачетъ. Онъ тебѣ дастъ киселя и медоваго пряника и послѣднимъ гривенникомъ готовъ подѣлиться съ тобой.

Сидитъ онъ бывало гдѣ-нибудь въ углу въ классной, облокотится на столъ; глаза блестятъ и стоятъ неподвижно, и все лицо дышетъ силой и мыслью, а губы бормочатъ пѣсни или сказки...

Вечеромъ мы всѣ собрались въ классной. Всѣ посѣли на скамейки, натащили табуретовъ.

— Тише, мальга безтолковая! Прилѣзли слушать, такъ нишкни!—командуетъ Кудиновъ.

И мы потихоньку, съ шепотомъ усаживаемся вокругъ стола, на которомъ сидитъ Горненко, а въ рукахъ у него тетрадка. Около него стоитъ Неключиковъ, а съ другой стороны на столѣ, поглядывая на всѣхъ сквозь pince-nez и похлопывая по столу линейкой, развалился Сеня Бисюгинъ.

— Ну! начинай, mon cher,—толкаетъ онъ Горненко.

Но Горненко еще медлитъ, улыбается и еще разъ оглядѣвъ все собраніе, начинаетъ самодовольно: *Попочка и Перепелочка (птичья сказка).*

«Жили-были два самые наидружнѣйшіе друга: попочка и перепелочка...»

При этомъ началѣ мы слегка фыркаемъ.

«Попочка самый вострый и смышленный малый, цѣлый день-деньской готовъ лазить по палкамъ, по шестамъ и всякимъ перекладинкамъ.

«—Какъ же мнѣ не лазить!—дивился онъ.—Носъ у меня здоровенный, носище-клещунъ, а лапки цапалки-лазилки. Тутъ по всѣмъ правамъ будешь акробатомъ.

«—Ахъ, ужъ я и не знаю, какъ онъ не сломитъ себѣ лысой головы,—дивилась перепелочка.—На этакую страсть высоту взбираться! Просто у меня вчуже голова кружится, на него глядючи.

«И она грустно опускаетъ свою головушку и недоумѣваетъ. Склонности у нея были тихія да мирныя: пощипать травку, поклевать зернышко, позобать крупочку. Все обдумать, сообразить и со всѣмъ помириться...

«— А хочешь я влѣзу на самую макушку той высокой, замухрастой ели?—спрашиваетъ попочка.

«— Лазай куда хочешь, мнѣ что за дѣло!—сердится перепелочка, махнувъ крыломъ.

«— И полѣзу!

«— И полѣзай мнѣ на зло!

«— И полѣзу!

«— И полѣзай, Богъ съ тобой!..

«Но тутъ съ крикомъ, шумомъ и гамомъ прилетаетъ лѣсной сорванецъ, забулдыга, крикунъ, хохлачъ залихватскій, дятелъ, пестрядинная душа, самая что ни на есть дубоносая шельма продувная».

— Ха, ха, ха!—разражаемся всѣ мы.

— Смирно!—командуетъ Кудиновъ.

«Ха, ха, ха!—кричитъ дятелъ,—милые бранятся только тѣшатся. Полѣзай, Богъ съ тобой, полѣзай, Богъ съ тобой!

«— Господи!—думаетъ перепелочка, только этого сорванца недоставало, погубитъ онъ моего попочку, останусь я сиротиночкой, горькою былиночкой.

«И плачетъ она, убивается.

«— Вы бы хоть людей постыдились,—говоритъ она дятлу.

«— Ча-а-во, Madame?

«— Людей, говорю, постыдились.

«— Ча-а-во, Madame?

«— Тьфу, окаянный! прости Господи мое согрѣшеніе, ни стыда, ни совѣсти...

«— Все есть да не про вашу честь,—огрызается дятелъ,— Ну, говоритъ онъ попочкѣ,—и осовѣлъ сейчасъ, и раскисъ,

и въ семейную добродѣтель ударился. Чего ждешь? Надѣвай картузъ на лысину, идемъ марципаны жевать.

«— А я за будочникомъ пошлю, пугаетъ въ отчаяніи перепелочка.

«— А мы за квартальнымъ пошлемъ, мы, Madame, за квартальнымъ пошлемъ,—передразниваетъ дятелъ.

«И раскланивается, и раскачивается, и глазкомъ мигаетъ, и ножкой шаркаетъ.

«— Ну! Allons марширъ!—кричитъ онъ на попочку.

«И попочка, опустивъ головку и прикрывъ ее картузикомъ, весь сгорбившись, на цыпочкахъ, идетъ за дятломъ.

«— Adieu, мадамъ, желаю вамъ всякаго бонжурствія!

«И друзья понеслись и полетѣли туда въ веселую рощу, гдѣ такой шелъ гамъ и шумъ, что даже издали голова кружилась. Собрался тамъ народъ веселый—чижики-выжиги щеглы-щеголи, скворцы-гольцы, а сорокъ-то, сорокъ просто непочатый уголъ—и все пьяно. И кричитъ, и свиститъ, кто во что гораздъ. Ну, словомъ, отличная компанія.

«— Ха, ха, ха!—кричитъ дятелъ...

«— Ха, ха, ха! —кричитъ веселая компанія.

«— Фьють, фьють!—и онъ принялся выдѣлывать такія колѣнца, что вся компанія животики надорвала».

При этомъ мы живо представляемъ себѣ, какія колѣнца выдѣлываетъ дятелъ, и тоже животики надрываемъ.

— Смирно!—командуетъ Кудиновъ.

«— А вы бы освѣжились,—говоритъ жуланъ, и онъ наливаетъ и подноситъ дятлу добрый стаканъ сантуринскаго.

«— Можно,—говоритъ дятелъ, и хватилъ, какъ пить далъ.—А повторить?!—спрашиваетъ онъ.

«— Можно,—докладываетъ жуланъ, и снова наливаетъ стаканъ размаринскаго, и опять дятелъ хватилъ какъ пить далъ.—Ты что раскисъ!—кричитъ онъ на попочку.

«А попочка развалился на мху, такъ и сіяетъ.

«— Присовокупись, святой будешь.

«Попочка хочетъ сказать, что ему и такъ до слезъ весело. Но ничего не говоритъ, а подходитъ, покачиваясь, и протягиваетъ лапу къ стакану.

«— Пей, пей, и давай плясать хрюпака! Эй, эй, вы музыканты, что вы осовѣли?!

«А музыканты и такъ дудятъ, свистятъ, изо всѣхъ силъ надрываются.

«— Хрюпака! хрюпака! Живо, живо хрюпака!—кричитъ дятелъ.

«И дрягаетъ, и ломается, и вдругъ какъ пошелъ и буцъ-бумъ-бумъ, и буцъ-бумъ-бумъ, пошелъ вертѣть и хвостомъ, и хохломъ, такъ что пыль поднялась столбомъ. Этакой вертунъ, бѣсъ окаянный!»

И мы всѣ снова разражаемся дружнымъ хохотомъ.

— Молчать, мизглятына! молчать!—командуетъ Куди новъ и даетъ Гусику, который впередъ вылѣзъ, два здоровыхъ подорѣшника. Гусикъ прячется, и мы всѣ смолкаемъ.

«Попочка хочетъ туда же за нимъ угнаться, но гдѣ ему? Сѣменитъ, сѣменитъ, сѣменитъ ножками, вертится и вдругъ развернулся, покачнулся и растянулся.

«— Ха, ха, ха!—хохочетъ надъ нимъ публика.

«— Выпей, душечка, хвати еще размаринскаго,—кричитъ дятелъ,—тверже будешь на ногахъ стоять».

«— А хочешь, говоритъ попочка,—я сейчасъ на это дерево взлѣзу, а ты не взлѣзешь. Вотъ! вотъ!

«И попочка устремляется на высокую ель.

«— Вотъ! вотъ!—кричитъ дятелъ, и летитъ кверху,— я ужъ на вершинѣ.

«— А вотъ! вотъ!—кричитъ попочка... Но тутъ случилось съ нимъ маленькое несчастіе. Головка у него закружилась, лапка оборвалась, и онъ повисъ на вѣточкѣ. Цапается цапается другой лапкой, топорщетъ крылышками и не мо-

жетъ захватиться. Головка у него ужъ отяжелѣла, повисѣлъ онъ съ полминуты и вдругъ выпустилъ вѣтку изъ другой лапки, и камнемъ полетѣлъ внизъ, упалъ на камешекъ и такъ себѣ мордочку испортилъ; что хоть сейчасъ за лекаремъ посылай.

«Спустился дятелъ и засвисталъ надъ нимъ.

«— Эхъ, ты горе вдовье! Вотъ и полазилъ! Эй, господа,— кричитъ онъ, — дайте-ка сюда размаринскаго; видишь, всю морду испакостилъ.

«Одинъ чижикъ подскочилъ со стаканомъ сантуринскаго!

«Дятелъ набралъ въ ротъ и первымъ дѣломъ спрыснулъ попочку, потомъ остатки всѣ выпилъ.

«— Давай еще!—говоритъ,—видишь, мало.

«Чижикъ принесъ еще стаканъ. Дятелъ промылъ попочкѣ физику.

«— Ну,—говоритъ,—смотри на меня.

«— Что?—говоритъ попочка.

«— Ничего! какъ есть филя! Мордубасію раздуло, глазъ занесло. Хорошъ херувимъ! На, завяжись!

«И онъ сунулъ попочкѣ листокъ.

«— Не нужно!—говоритъ попочка,—нехорошо!

«— Чего нехорошо! Подумаютъ, что на дуэли дрался. Чего хорошаго показывать всѣмъ разбитую мордопурдію. Подвяжись, душечка, не упрямься! Хвецъ, свейскій король будешь, интересный душка будешь!..

«И попочка подвязывается... А музыка такъ и гремитъ, заливается.

«— Э, э! — кричитъ дятелъ. — Гляди, Филя! Дамы пріѣхали! Дамы, барыни-сударыни!...

«И дѣйствительно, прилетѣли двѣ потатуйки, да три кукушки. Пестрыя, разпестрыя, всѣ расфуфыренныя, да расфранченныя, съ хохлами, съ хвостами—и желто, и черно,

и бѣло, фу ты! ну ты! красота неописанная, подивись да удавись».

Мы всѣ фыркаемъ и зажимаемъ носы, а хохотунъ Ваня Кущавинъ выбѣгаетъ въ корридоръ. Просто удержу нѣтъ!

«А дятелъ такъ и вертится предъ ними, мелкимъ бѣсомъ разсыпается.

— «*Комаръ протянулъ*, мадамъ?—говоритъ,—*франсе коммансе*. Смѣю просить на мазурку съ контрадансомъ.

«И пошли плясы. Визжатъ, гудятъ, звенятъ. Шумъ и гамъ, такъ что всѣ смирныя птицы безъ оглядки прочь летятъ отъ этакаго содома, летятъ и чураются,..

«А между тѣмъ, перепелочка дома сидитъ, плачется, и не одна. Пришелъ къ ней навѣстить горемыку, провѣдать черный грачъ, съ большимъ бѣлымъ носомъ и синіе очки на носу.

«— Все суета, — говоритъ грачъ важно и гнусливо,— мірская суета. Vanitas vanitatum et omnia vanitas!

«— Я, батюшка мой,—говоритъ перепелочка,—не знаю, откуда дурныя мысли въ голову приходятъ. Мнѣ кажется, чего бы лучше жить во благѣ и любви...

«— Все бѣсъ смущаетъ,—говоритъ грачъ,—diabolus osor!

«— Какой бѣсъ, мой батюшка,—просто лѣсной сорванецъ дятелъ, пестрядинная душа. Утащитъ его съ собой и кутятъ цѣлую ночь, безшабашники.

«— Да, говоритъ грачъ, — это точно можно сказать насланіе Божье, завелось теперь у насъ это гнѣздо. Мерзость запустѣнія — чижи, щеглы, синицы, сороки. Кутятъ, галдятъ, просто Содомъ и Гомора, адъ кромѣшный.

«— Вотъ и теперь, — говоритъ перепелочка, — ночь на дворѣ, а когда онъ вернется, Богъ вѣсть, ума не приложу.

«— Да, время опасное. — разсуждаетъ грачъ. — Теперь полетятъ эти совы, филины, бродятъ кошки...

«Перепелочка слушаетъ ни жива, ни мертва.

«— Вотъ третьяго дня, говорятъ, въ сивомъ оврагѣ нашли трупъ горлинки, весь ободранный, въ крови. А на прошлой недѣли, у мохнатой сосны, на самыхъ корняхъ, лежитъ куропаткина голова, да перья... И всюду это перья валяются.

«— Господи, Господи!—говоритъ перепелочка,—страсти какія!

«— А то еще говорятъ, проявились этакія летучія мыши, вампирами прозываются... Ночью, когда всѣ полягутъ спать. они подлетаютъ и сосутъ кровь.

«— Ахъ, какія страсти на свѣтѣ бываютъ!

«— Да-съ! всякія страсти бываютъ... Добродѣтельное вы существо, сударыня моя, надо во всемъ уповать и никакія страсти не будутъ страшны... А нѣтъ-ли у васъ какихъ-нибудь червячковъ?—спрашиваетъ грачъ, поглядывая по сторонамъ,—что-то животы подвело.

«— Нѣтъ, батюшка мой, червячковъ нѣтъ, а вотъ не прикажете-ли крупочки или зернышка?

«— Ничего! можно, можно и крупочки, можно и зернышка. А водочки вы не содержите?

«— Нѣтъ, не содержимъ.

«— Напрасно, сударыня моя, напрасно, водочка очень душеспасительная вещь: и отъ типуна, и если у васъ подзобикъ сдѣлался. Бываетъ, знаете-ли этакая болѣзнь, въ родѣ горошинки подъ горлышкомъ припухаетъ.

«Грачъ поѣлъ крупочки и зернушка и отправился восвояси, пожелавъ перепелочкѣ всякихъ благъ.

«А перепелочка осталась одна, въ смертномъ страхѣ ждетъ, пождетъ, думаетъ, не случилось-ли чего съ попочкой?

«А между тѣмъ, попочка ужъ совсѣмъ готовъ.

«Вечеринка кончилась, огни погасли, музыка смолкла и гости по домамъ разбродятся.

«— Ну, друже,—толкаетъ дятелъ попочку,—пойдемъ къ барынѣ.

«А попочка спитъ и лыкомъ не вяжетъ.

«Дятель окатилъ его водой, далъ ему подзатыльника и повелъ его.

«Вошли въ лѣсъ, а ночь темная, растемная.

«— Куда это всѣ свѣтляки попрятались? За что только имъ жалованье платятъ! Хоть бы звѣздочка какая заваляющая промелькнула...

«— Ну, ну! идемъ!!—кричитъ онъ на попочку.

«А попочка рюмитъ, разливается.

«— Другъ ты мой милый,—говоритъ онъ,—оставь меня, что я, дрянь, жеваная бумага, хлопокъ, гниль, а тамъ у меня дома добродѣтельная перепелочка, бѣдная, одна сидитъ, горемычная душа, оставилъ я ее, бѣдную...

«— Молчи ты, клякса, — кричитъ дятелъ,—шагай знай! Вишь ты, темень какая богопротивная!

«И вдругъ прямо на дорогу выпархиваетъ большой совенокъ.

«— Ты не смѣй, не смѣй, шельма воровская!—кричитъ дятелъ.

«А шельма воровская, не говоря худаго слова, налетѣлъ на попочку, цапъ-царапъ его за голову.

«Дятель отшатнулся, подлетѣлъ сзади, да какъ клюнетъ, что было силы, совенка въ затылокъ, и совенокъ опрокинулся навзничъ и лапками забарахталъ.

«А попочка ни живъ, ни мертвъ, совсѣмъ языка лишился, и весь хмѣль у него изъ головы вышибло.

«— Что,—говоритъ дятелъ,—окочурился или еще шевелишься?

«— Другъ мой, дятелъ,—лепечетъ попочка,—доведи ты меня домой, доведи къ моей перепелочкѣ.

«— Не кисни!—кричитъ дятелъ,—вставай, тряпка, обоприсъ о меня крѣпче.

«И снова дятелъ повелъ его и какъ разъ въ первомъ часу доставилъ домой.

«— Попочка, другъ ты мой!—кричитъ перепелочка увидавъ друга всего избитаго, израненнаго, въ крови, еле живаго.

«— Перепелочка, прости ты меня, лепечетъ попочка.— Покинулъ я тебя, друга моего милаго.

«А дятелъ смотритъ да посвистываетъ, изъ стороны въ сторону покачиваетъ и припѣваетъ:

Фьютъ! фьютъ! фьютъ! Я къ тебѣ, ты ко мнѣ.
Ты мой другъ, я твой другъ, мы друзья до гроба,
Ты дуракъ, я дуракъ, дураки мы оба!..

«— Вы бы хоть помогли чѣмъ-нибудь, говоритъ перепелочка.—Господи! противная вы птица, хоть бы за грачемъ слетали...

«— Madame,—говоритъ дятелъ,—смѣю васъ увѣрить, что вашъ нѣжнѣйшій другъ отправится на тотъ свѣтъ безо всякаго грача, напутствуемый благими пожеланіями его вѣрнѣйшаго друга.

«— Перепелочка, — говоритъ едва слышно попочка,— прости, дорогая моя, я умираю.

«— Попочка, что съ тобою, родной мой?! да бѣгите вы, ради Бога, бѣгите за грачемъ!

«— А вотъ сейчасъ, мадамъ, мигомъ, сейчасъ,—кричитъ дятель,—дайте только собраться.

«И онъ толчется, толчется на одномъ мѣстѣ, крылья подбираетъ.

«— Попочка, другъ мой, ненаглядный!

«Но попочка вдругъ задрожалъ, задрожалъ, вытянулся и остолбенѣлъ.

«Дятелъ толкнулъ его ногой справа налѣво, потомъ слѣва направо, точно колоду. Попочка не двигался. Дѣтелъ поколотилъ ему носомъ въ грудь, грудь не шевелилась.

— Капутъ, madame,—говоритъ дятелъ.—De mortuis nil nisi bene!

«И принявъ торжественную позу, онъ началъ:

«— О, добродѣтельный другъ! увяла жизнь твоя какъ сельный кринъ въ пустынѣ. Глухъ и нѣмъ лежишь ты бездыханенъ. О слезы горести, почто напрасно льетесь вы изъ сердца преданнаго друга! Увы! увы! увы!

«Но перепелочка не слушала его и только горько рыдала, рыдала на холодной груди ея мертваго друга.

«— А-а-а-ха! — зѣвнулъ дятелъ и почесалъ голову. — Adieu, madame! надо и честь знать, я вѣдь и спать хочу, да и башка трещитъ.

«И онъ полетѣлъ; а на другой день, какъ ни въ чемъ ни бывало, снова явился въ веселую компанію и кутилъ и свисталъ, и вертѣлся вплоть до вторыхъ пѣтуховъ.

«— Что же это господа!—говорили сосѣди,—какъ это полиція не запретитъ этакія окаянныя сборища!..»

Горненко кончилъ. Глаза его блестѣли, лицо горѣло, онъ отчаянно ерошилъ свои русые волосы.

— Это хорошо! очень хорошо!—вскочилъ Кудиновъ и всталъ передъ нимъ, заложивъ одну руку въ карманъ.— Дятелъ вышелъ у тебя живымъ типомъ, а вся эта мзгля добродѣтельная, попочки и перепелочки—такая гнусность!

И онъ сдѣлалъ отчаянную гримасу.

— Вѣдь и дятелъ у тебя,—заговорилъ торопливо Колотуровъ,—также добродѣтельный господинъ, онъ не бросаетъ попочку, когда тотъ морду расквасилъ, онъ ухаживаетъ за нимъ, совѣтуетъ это тряпкой подвязать, и потомъ когда онъ провожаетъ его ночью и храбро защищаетъ его отъ совы...

— Значитъ и дятелъ тоже общественный господинъ,— говоритъ Бисюгинъ.

— Да! но только не дай Господи, чтобъ общество состояло изъ такихъ господъ, тогда...

— Тогда будетъ пьяное гнѣздо и ничего больше. Вотъ въ Калифорніи такое общество...

— Позвольте, господа,—вмѣшивается Колотуровъ,—мнѣ кажется, тутъ просто рѣчь идетъ о двухъ крайностяхъ общественной жизни. Ни та, ни другая сторона, вы видите, не́ идеалы. Отрицательное явленіе попочка съ перепелочкой, отрицательное явленіе и дятелъ со своей компаніей. Просто ни туда, ни сюда идти не слѣдуетъ, а какъ идти, куда идти, на это онъ не даетъ отвѣта (и онъ кивнулъ на Горненко, который заложивъ нога на ногу и обхвативъ ихъ руками, слушалъ, улыбался и покачивалъ ногами). — И мы не въ правѣ требовать этого отвѣта. Да-съ, не въ правѣ! На это отвѣтитъ сама жизнь. Съумѣйте ее допросить!

— Да, отвѣтъ тутъ же въ самой сказкѣ,—перебилъ его Кудиновъ, указывая на тетрадку. — Ты самъ видишь, что тряпичность никуда негодна, а изъ такихъ головъ, какъ дятелъ, можетъ выйти борецъ «себѣ на умѣ», чѣмъ долженъ быть каждый членъ общества. Употребляй свои силы въ свою пользу и въ свое удовольствіе, а тамъ по дорогѣ можешь дѣлиться ими съ другими, если у тебя есть излишекъ, тебѣ ненужный.

— Позволь, однако,—вскричалъ Неключиковъ, соскакивая со стола и становясь предъ Кудиновымъ.—Ты все толкуешь о «борцѣ себѣ на умѣ». Что-жъ, по твоему должно впереди стоять, личность или общество?

— Еще бы! глупый вопросъ! разумѣется личность! Мое *я*, мои способности, мои знанія, сами опредѣлятъ для меня мѣсто въ обществѣ; если это *я* выше всѣхъ другихъ, такъ оно и будетъ центромъ общества: ему и сливки съ него снимать, ему и почетъ, ему и слава, какъ общественной силѣ, а чтобы добиться этого, я всякую мзглю тряпичную долженъ побороть, опрокинуть, раздавить. Я долженъ все произойти, пройти сквозь огонь и мѣдныя трубы, долженъ предусматривать, соображать, разсчитывать, бить направо, бить налѣво, давить свиней и лягушекъ, если онѣ мнѣ

стоятъ поперекъ дороги; хватать, если что плохо лежитъ. И когда все и вся будутъ опрокинуты (онъ подступилъ къ Неключикову и тыкалъ ему пальцемъ въ грудь), когда все преклонится передъ тобой, тогда (и онъ гордо закинулъ голову) ты увидишь, что все, что мы называемъ обществомъ, все это такія же единицы какъ и ты, и всѣ эти единицы стоятъ у тебя подъ ногами (и онъ взмахнулъ рукой, какъ будто бы дѣйствительно мы всѣ стояли у него подъ ногами); это называется гордостью, достоинствомъ человѣка!

— Хороша будетъ гордость,—вскричалъ Неключиковъ,— когда я буду мошенникомъ надо всѣми мошенниками!

— Да,—проговорилъ съ гордостью Кудиновъ,—въ обществѣ мошенниковъ я буду первый мошенникъ. Если общество не нашло другой дороги, какъ мошенничество, такъ я перемошенничаю всякую ракалію, раздавлю ее и встану на ея трупѣ... чтобы повелѣвать другими мошенниками.

— Стало быть всё въ обществѣ зависитъ отъ личности?

— А ты въ этомъ еще сомнѣвался? Юнъ философъ! Всякое общество есть борьба личностей. Которая поборетъ всѣхъ другихъ, та выше и встанетъ. Это также просто, какъ дважды два четыре.

— Позвольте, други милые,—вскричалъ Горненко, вскочивъ также со стола.—Все это очень добре, что вы тутъ нагородили, только я въ этомъ неповиненъ, ни! ни! Сказку мою я написалъ, потому что написалъ, а объ общественныхъ явленіяхъ ни чуточки не думалъ, ни! ни! Коли наплыветъ подъ сердце, да встанетъ предо мной картинка, я ее и опишу, скорымъ духомъ опишу, а коли мнѣ писать да думать, такъ это ужъ не пѣсня, не сказка... Вотъ какъ, господари мои! А за симъ поклонъ да и вонъ!..

И онъ обернулся и скорыми шагами пошелъ вонъ, размахивая тетрадкой.

— Грицо, Грицо! — подбѣжалъ я къ нему, — дай мнѣ, друже мой, тетрадочку.

— Что, мальченокъ черноглазый?—вскричалъ онъ обнявъ меня.—О, да какія же очи, какъ у чертенка!

— И онъ нагнулся и поцѣловалъ меня въ черные и большіе глаза, которые, какъ говорилъ онъ, напоминали ему глаза его сестренки Гали.—Какую тебѣ тетрадку?

— Мнѣ списать сказку, что ты читалъ.

— На, черноглазый! — и онъ хлопнулъ меня тетрадкой по головѣ и отдалъ мнѣ ее.—Смотри, не замарай, не изорви, не затеряй, а то уши нарву.

— Нѣтъ, нѣтъ!..

И я бѣжалъ въ припрыжку къ себѣ въ классную, крѣпко прижимая тетрадку къ сердцу.

IV.

Пришли осенніе дни—скучные и плаксивые. Въ садъ не пускаютъ, въ саду холодный вѣтеръ и дождь безъ конца.

Старшіе еще разъ кутили. Это я узналъ отъ Грица.

— Только ты, черноглазый, никому объ этомъ не заикайся.

— Да я зналъ объ этомъ безъ тебя...

— Какъ зналъ?

Я разсказалъ ему, какъ зналъ.

Съ младшими мнѣ скучно. Тамъ безконечная игра въ солдатики, безконечныя ссоры и возня, и каждое утро, и цѣлое утро таскаютъ ихъ къ Александрѣ Алексѣевнѣ, которая прехладнокровно теребитъ имъ уши и ставитъ на колѣнки въ уголъ.

Разъ утромъ лысый Мартынъ подходитъ къ Бисюгину и таинственно сообщаетъ ему.

— А вы что знаете?... Къ намъ князька помѣщаютъ!..

— Какого князька?

— А князя Чегудзева. Вчера къ Александрѣ Алексѣевнѣ мадамъ пріѣзжала, не знаю тетка, что-ли, все толковали объ этомъ.

Отъ Бисюгина вѣсть разносится по всему пансіону.

— Ты знаешь, — говоритъ мнѣ Гусикъ вечеромъ, — къ намъ въ пансіонъ отдадутъ князя Италійскаго, Суворова-Рымникскаго.

— Какого Суворова?—говорю я,—Суворовъ давно умеръ.

Чрезъ два дня по пансіону кричатъ: «привезли, привезли»! Мы всѣ, малыши, бросаемся, толпимся у дверей гостиной и стараемся заглянуть въ дверную щелку.

Передъ Александрой Алексѣевной сидитъ какая-то старуха, высокая, сгорбленная, носъ крючкомъ, а глаза такъ и бѣгаютъ изъ-подъ черныхъ густыхъ бровей, и говоритъ басомъ, скоро-скоро, и руками размахиваетъ.

Подлѣ нея сидитъ князекъ, высокенькій, худенькій, на взглядъ лѣтъ четырнадцати, пятнадцати, волосы длинные, черные и глаза большіе, черные «точно у меня», думаю я. Онъ сидитъ точно вѣшалка, также сгорбившись, и на немъ черная бархатная, вся обшитая шнурками куртка и широкіе шаравары, тоже бархатные; на ногахъ высокія ботинки съ кисточками, а въ рукахъ картузикъ, который онъ постоянно вертитъ.

— А я, матушка, — говоритъ старуха, — хорошо наслышана о вашемъ пансіонѣ. On m'a recommandé, et la princesse Blagowsky, et la princesse Kariatine et tout le monde. Позвольте спросить: сколько кушаньевъ и какъ вообще у васъ пища?

— У насъ столъ простой, — шипитъ Александра Алексѣевна,—три блюда, а по воскресеньямъ и праздникамъ—четыре.

— Онъ у насъ не избалованъ, — говоритъ старуха, — seulement que la table soit saine... Такъ ужъ я надѣюсь на васъ... а позвольте посмотрѣть дортуары...

— Можно,—говоритъ Александра Алексѣевна.—Эй, кто тутъ?

Гусикъ высовывается.

— Ты что здѣсь, батюшка, толчешься! Поди, вели позвать Карла Ивановича, вонъ княгинѣ желательно дортуаръ посмотрѣть.

Сама Александра Алексѣевна не могла пройти двухъ комнатъ безъ того, чтобъ ее одышка не схватила.

Мы всѣ отскакиваемъ отъ дверей и устраиваемъ засаду въ дортуарѣ и по дорогѣ къ нему.

Карлъ Ивановичъ граціозно и очень любезно расклани вается съ княгиней, а мы встрѣчаемъ и провожаемъ каждый на избранномъ посту.

Въ дортуарѣ притаились Бисюгинъ и Кудиновъ.

Барыня осмотрѣла дортуаръ.

— Это онъ здѣсь будетъ спать?

— Да,—говоритъ въ раздумьѣ Карлъ Ивановичъ,—этотъ кровать.

— А куда же онъ, батюшка, вещи положитъ?

— А тутъ ещикъ.

И Карлъ Ивановичъ любезно нагибается и вытаскиваетъ «ещикъ».

Ящикъ оказывается пустъ, и внутри его съ гуломъ катаются и звякаютъ двѣ бутылки сантуринскаго, тоже пустыя.

— Это зачѣмъ же, батюшка, они бутылки въ ящикахъ у васъ держатъ?—строго допрашиваетъ старуха.—Они не пьютъ-ли ужъ у васъ?!

— Нѣ-ѣтъ, помилюйте нѣтъ!.. помилюйте... ги!—говоритъ сконфуженно Карлъ Ивановичъ,—у насъ нравственность крайне превосходне.

Кудиновъ и Колотуровъ переглянулись съ Крамковымъ а Бельтесовъ скорчилъ такую гримасу, что я громко отъ души фыркнулъ. Старуха и Карлъ Ивановичъ обернулись.

— Вы зачѣмъ здѣсь? — накинулся на насъ озлобленный Карлъ Ивановичъ,—подить, подить! ступайть! Gehen sie fort!

И мы скромно удалились.

Черезъ часъ старуха, все осмотрѣвъ, удалилась. Мы уже послѣ разузнали, что это была дальняя родственница князя, тоже какая-то грузинская княгиня. Сдавъ князя по порученію отца и матери, она снова отправилась въ Москву и больше не являлась.

Князь остался одинъ. Его новенькій щегольской чемоданчикъ перенесли въ дортуаръ.

Никитичъ подобострастно подошелъ къ нему.

— Съ пріѣздомъ честь имѣю поздравить, ваше сіятельство!

Князь пошарилъ въ карманахъ и далъ ему гривенникъ.

— А вы, ваше сіятельство, бѣлье-то выньте изъ чемодана и предоставьте мнѣ счетомъ, а я его... сдамъ тоже счетомъ.

— Хорошо!

И князь началъ разбираться въ чемоданѣ.

Колотуровъ и Неключиковъ прохаживаются по дортуару, искоса посматривая на операціи князя и стараясь ненарокомъ заглянуть въ его чемоданчикъ, откуда онъ вынимаетъ нѣсколько вещей, завернутыхъ въ бумагу.

— Вы, князь,—говоритъ Флюгитскій, развязно подходя къ нему и садясь на его кровать,—можете здѣсь положиться... потому что въ пансіонѣ у насъ народъ честный.

Князь посмотрѣлъ на него.

— Я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь,—сказалъ онъ мягкимъ, пѣвучимъ голосомъ.—Я полагаю, что всѣ мои вещи будутъ здѣсь въ совершенной сохранности.

Колотуровъ и Неключиковъ нѣсколько остановились, а малыши сгруппировались тоже около князя.

Флюгитскій чуть замѣтно покраснѣлъ и быстро замигалъ глазами.

— О, да!—сказалъ онъ,—здѣсь все народъ честнѣйшій...

— Флюгарка!—вдругъ раздалось въ дверяхъ.—Флюгарка! кричалъ Кудиновъ, весь поблѣднѣвъ.

Мы всѣ быстро отошли отъ князя, точно почуяли, что дѣлаемъ что-то дурное.

Флюгитскій тоже быстро вскочилъ и совсѣмъ покраснѣлъ.

— Что тебѣ?—спросилъ онъ Кудинова, стараясь быть развязнымъ, и быстро пошелъ къ нему.

— Вы, всѣ малыши, сюда!—скомандовалъ Кудиновъ.— Не безпокойте его сіятельство. Они съ дороги, вѣроятно, отдохнуть желаютъ.

Князь при этихъ словахъ быстро посмотрѣлъ на Кудинова, какъ бы желая что-то отвѣтить, но тотъ рѣзко повернулся и вышелъ, увлекая и насъ всѣхъ за собой.

— Ты что, княжой холопишка! лакеишка плюгавый— вскричалъ Кудиновъ, быстро обертываясь и подступая къ Флюгаркѣ.—Подачки захотѣлось? Съ пріѣздомъ честь имѣю поздравить, ваше сіятельство, дайте гривенничекъ! На, братецъ,—и онъ дѣйствительно вынулъ гривенникъ,—на, бери! на водочку!..

И затѣмъ, опять спрятавъ гривенникъ, онъ вдругъ рѣзко набросился на Флюгитскаго, схватилъ его за шиворотъ, бросилъ на землю и пнулъ ногой.

— Гужелизъ! Лягушка подлая! Вонъ!—вскричалъ онъ, страшно побледнѣвъ и затопавъ ногами.—Вонъ,въ тряпки измочалю!.. въ лепестки изорву, подлая тварь!

Флюгарка вскочилъ и опрометью бросился вонъ.

Затѣмъ нѣсколько секундъ Кудиновъ смотрѣлъ на всѣхъ насъ, тяжело дыша и стиснувъ зубы.

— Вы, мальга,—сказалъ онъ рѣзко и глухо,—травить князька!.. Какъ только онъ свой носъ поганый сюда покажетъ, такъ всѣ на него... А кто къ нему подлипать станетъ, того...

И онъ всѣмъ погрозилъ кулакомъ.

Помню, мы всѣ тогда занялись приготовленіемъ къ этой травлѣ. Рѣшили устроить эту «овацію» во второмъ классѣ, куда собрались почти всѣ и ждали появленія князя.

Нѣсколько разъ, то тотъ, то другой изъ насъ бѣгали въ дортуаръ подсмотрѣть, что дѣлаетъ князь, нейдетъ ли онъ во второй классъ.

Наконецъ, онъ всталъ и двинулся. Мы всѣ, подглядывавшіе за нимъ, бѣгомъ полетѣли и провозвѣстили «идетъ!»

Онъ вошелъ совершенно покойно, съ кроткой улыбочкой не на губахъ, но на всемъ его удивительно пріятномъ, блѣдномъ лицѣ. Оно мнѣ сразу напомнило блѣдное лицо одной монашенки, съ большими черными глазами, которая часто ходила къ намъ въ домъ.

Кудиновъ, скрестивъ руки, оперся на косякъ двери и смотрѣлъ на него, презрительно улыбаясь.

Князь подошелъ къ классному столу.

Вдругъ, въ это время, пузырь съ горохомъ, шумно пролетѣвъ, грохнулъ ему прямо въ спину.

Князь обернулся, а мы всѣ малыши фыркнули и закатились дружнымъ хохотомъ.

— Князь! — раздалось въ дальнемъ углу, точно кошка промяукала.

— Гря-язь!—раздалось въ другомъ углу.

— Мя-я-я-у!

— Фь-ю!.. ту, ту, ту!..

Намъ всѣмъ стало удивительно весело, точно мы дѣйствительно травили какого-нибудь краснаго звѣря.

Въ это время изъ корридора торжественною походкой

выступилъ Бельтесовъ. Штаны его были подобраны выше икоръ, какъ у князя, куртка вывернута на изнанку и вся грудь обшита мочалками, которыя болтались какъ шнурки и представляли удачную пародію на куртку князя, убранную шнурками и ленточками.

Мы всѣ разразились громкимъ хохотомъ и рукоплесканіями, а Бельтесовъ, задравъ голову къ верху, шмыгнулъ мимо самаго носа князя и прогнусилъ:

— Я князь!..

— Браво, браво, bis!

У князя брови слегка дрогнули, но попрежнему лицо его было кротко, ясно и грустно.

Вдругъ, съ шумомъ и свистомъ, мимо самаго его носа пролетѣла довольно увѣсистая книга.

Онъ слегка отшатнулся и оглянулъ всѣхъ насъ спокойнымъ, вопрошающимъ взглядомъ. Эта рѣзкая, драматическая штука, устроенная Филей, вдругъ осѣкла нашъ хохотъ и веселое настроеніе какъ ударъ грома.

— Господа,—сказалъ князь,—что я вамъ сдѣлалъ? зачѣмъ вы меня встрѣчаете такъ недружелюбно?

— А затѣмъ, ваше сіятельство,—проговорилъ Кудиновъ, который въ одну минуту очутился возлѣ князя, — затѣмъ, что вы изволите быть вашимъ сіятельствомъ, сіятельнѣйшимъ княземъ.

— Что же вамъ до того за дѣло?—удивленно пожалъ онъ плечами,—развѣ я не могу быть добрымъ товарищемъ и человѣкомъ?.. Развѣ сердце князя иначе устроено, чѣмъ у всякаго другаго человѣка?

— Иначе-съ,—проговорилъ рѣзко и настойчиво Кудиновъ, — потому что въ этомъ сердцѣ всякая тля и ржа, и труха, потому что никакая человѣческая душа не будетъ носить такого шутовскаго костюма и рядиться въ шелки и бархаты, во всякія цацы и финтифлюшки.

И онъ дернулъ за одинъ шнурокъ княжеской куртки, такъ что этотъ шнурокъ затрещалъ.

— Такъ это васъ мой костюмъ обманулъ? Вѣдь это фальшивое...

— Какъ фальшивое?—вскричалъ Кудиновъ.—Фальшивое также какъ и все въ васъ.

— Это платье надѣли на меня.. Неужели вы думаете, что я самъ, по своей волѣ, одѣлся бы такъ странно?..

— Кто надѣлъ?—продолжалъ допрашивать Кудиновъ.

— Тетка моя, двоюродная тетка, которая привезла меня сюда. Посмотрите, развѣ князья носятъ этакія ботинки?

И онъ протянулъ Кудинову ногу въ стоптанной и протертой ботинкѣ.

— Что вы мнѣ суете ваши копыта подъ носъ!—вскричалъ Кудиновъ и оттолкнулъ ногу князя, такъ что тотъ весь перевернулся.

— Зачѣмъ же вы оскорбляете меня! — вскричалъ князь. — Развѣ мы не можемъ говорить и разсуждать, не сердясь? Развѣ можно что-нибудь обсуждать какъ слѣдуетъ когда человѣкъ сердится и выходитъ изъ себя?.. Развѣ это разумно?

Кудиновъ страшно покраснѣлъ, потомъ вдругъ краска сбѣжала съ его лица, онъ спряталъ кулаки въ карманы и проговорилъ, стиснувъ зубы.

— Что-жъ, ваше сіятельство, будемте разсуждать хладнокровно, разумно.

— По-человѣчески.

— Разумѣется, не по-скотски.

— Подумайте прежде всего: развѣ я по своей волѣ поступилъ въ вашъ пансіонъ?

— Это пансіонъ не мой-съ. Его содержитъ Иванъ Михайловичъ Литайченко.

Мы попробовали фыркнуть.

— Будемте говорить не шутя, серіозно—попросилъ князь.

— Слушаю-съ, ваше сіятельство, какъ изволите приказать.

— Я прошу васъ... какъ товарищъ...

Кудиновъ опять вспыхнулъ...

— Я не имѣю чести быть товарищемъ вашего сіятельства и никогда имъ не буду... Я ужъ такой уродъ уродился, что всегда всѣхъ князей, сладкоглаголивыхъ и приличныхъ, ко всѣмъ чертямъ въ болото посылалъ и смѣю увѣрить ваше сіятельство, что я питаю такое же уваженіе къ вашей особѣ, какъ къ сему плевку.

И онъ энергически плюнулъ на полъ.

— Плевокъ, хочешь быть моимъ товарищемъ?—спросилъ онъ.—Не хочешь! Ну, чортъ съ тобой!

Онъ еще разъ энергически плюнулъ, повернулся и вышелъ.

Мы всѣ были изумлены и ошеломлены этою сценой. Мы всѣ смотрѣли на князя. Лицо его было такъ же кротко и ясно, но на него легла глубокая печаль.

Онъ обернулся ко мнѣ, и не знаю, потому-ли, что мое лицо выражало искреннее и глубокое сожалѣніе, или потому, что лицо мое понравилось князю, но онъ быстро притянулъ меня за руку, обнялъ и крѣпко поцѣловалъ.

— Милый мой,—сказалъ онъ,—ты будешь моимъ товарищемъ, ты не плюнешь, не отвернешься отъ меня... Нѣтъ?!

— Н-нѣтъ,—пробормоталъ я и что-то вдругъ поднялось, подкатилось къ моему сердцу, и мнѣ ужасно захотѣлось заплакать и обнять князя.

Къ вечеру многіе изъ насъ какъ будто сошлись съ княземъ, впрочемъ, весьма не надолго.

По обыкновенію мы собрались на нашей любимой галлерейкѣ. Кудинова съ нами не было. Разговоръ шелъ о томъ, почему князя отдали въ пансіонъ.

— Это все потому,—доказывалъ со злобой Филя,—что вы всѣ аристократишки, вамъ нельзя быть въ гимназіи...

— Нѣтъ, вы ошибаетесь!— сказалъ князь.—Папа хотѣлъ меня отдать именно въ гимназію, но мама (то-есть мачиха, потому что родную маму я давно потерялъ) сказала, что въ гимназіи воспитываются только одни разночинцы.

— Ну, вотъ видите, какое безобразіе!—вскричалъ Филя.— Вотъ, что значитъ вашъ поганый аристократизмъ. Вотъ онъ, вотъ!

— Но позвольте,—вскричалъ князь,—поймите же, что это не мое мнѣніе. Я знаю очень хорошо, что изъ гимназій точно также выходятъ хорошіе люди и образованные, и хорошо воспитанные... Но что же вы сдѣлали бы на моемъ мѣстѣ?

— Какъ, что!—вскричалъ Филя, мрачно, быкомъ смотря на князя.—У васъ просто духу не хватило сказать папашечкѣ съ мамашечкой: нѣтъ, я не хочу въ пансіонъ, а хочу въ гимназію.

Князь грустно усмѣхнулся...

— Полноте,—сказалъ онъ.—Что значитъ: я хочу, я не хочу?.. Хочу я или не хочу, все равно, меня бы отдали. Хорошо тамъ говорить *хочу*, гдѣ спрашиваютъ вашего мнѣнія...

— Нѣтъ-съ и гдѣ его не спрашиваютъ,—вскричалъ Филя, засверкавъ глазами,—я все-таки его выскажу. На это мнѣ языкъ данъ природой, чтобы протестовать противъ насилованія моей воли.

— Да гдѣ же тутъ было насилованіе воли?.. Вѣдь я же сказалъ вамъ, что для меня все равно—учиться въ пансіонѣ или въ гимназіи... Что въ пансіонѣ могутъ быть хорошіе люди, это всѣ мы доказываемъ. Неужели же всѣ мы дурные люди, потому только, что мы въ аристократическомъ пансіонѣ, а не въ демократической гимназіи?

Филя еще что-то хотѣлъ возразить, но у него, что называется, захлестнуло въ головѣ и оборвалось, и онъ только что-то бормоталъ и грызъ ногти.

— Знаете, господа, — началъ князь, — что имѣть свою волю очень хорошо, но правильно-ли это? Вѣдь въ извѣстные годы это даже опасно...

— Это мы въ баснѣ читали,—со злобой накинулся опять Филя,—*Пѣтухъ, котъ и мышенокъ,* басня Дмитріева, чай знаете?.. Или мамашечка не давала вамъ учить ее?.. А не то другая есть, *Кошка и чижъ,* тоже очень занятная и нравоучительная.

— Да, для нашихъ отцовъ и матерей,—сказалъ задумчиво князь,—нѣтъ ничего дороже насъ самихъ; это инстинктъ природы...

И вдругъ онъ замолчалъ и потупился.

Послѣ уже мы узнали, что мачиха терпѣть не могла его, а его отецъ былъ у нея подъ башмакомъ и не хотѣлъ, ни подъ какимъ видомъ, ни словомъ, ни дѣломъ, выказать любви къ своему единственному сыну.

— Что же князь, продолжайте, -сказалъ Бисюгинъ.

— Пожалуйста, не зовите меня княземъ. Меня зовутъ Константиномъ... и зачѣмъ всѣмъ вы говорите *ты*, а мнѣ—*вы*... *Ты* свободнѣе, сердечнѣе...

— Изволь, давай говорить *ты*,—сказалъ Неключиковъ, хлопая князя по плечу.—Только того... *Ты* просто такъ не говорятъ: надо его вспрыснуть,—прибавилъ онъ вполголоса и покосился по сторонамъ.

— Oui, mon prince!—сказалъ Бисюгинъ, обдергивая шнурокъ на курткѣ князя и наклоняясь очень близко къ его лицу.—Si vous avez des ressources nous pouvons aujourd'hui même vous introduire dans notre cercle.

Князь широко раскрылъ большіе, выразительные глаза.

— Что это значитъ, господа, я не понимаю...

— А это значитъ,—пояснилъ шепотомъ Колотуровъ,—коли ваше сіятельство имѣетъ... — и онъ хлопнулъ его по карману — такъ надо товарищей угостить сантуринскимъ,

или пѣнникомъ, или пивкомъ, или шампанскимъ, смотря по достатку.

— Какъ думаешь Бисюгинъ — Хрансе?.. я думаю князя надо шампанскимъ вспрыскивать, не иначе!

— Какъ! неужели,—вскричалъ князь, —вы пьете вино!

— Шш... шш...—зашикалъ басомъ Колотуровъ, — что орешь! Малыхъ ребятъ разбудишь. А ты, княжеское сіятельство воображалъ себѣ, что мы одни только сливки пьемъ, да воду? Нѣтъ, мы грѣшнымъ дѣломъ и винцо православное одобряемъ, ничѣмъ не брезгуемъ...

И онъ скорчилъ такую кислую гримасу, что мы всѣ расхохотались, только князь смотрѣлъ на насъ, то на того, то на другого, какъ бы не вѣря своимъ глазамъ и ушамъ...

Въ это время вошелъ Кудиновъ съ Крамковымъ. Онъ, скрестивъ руки, остановился у дверей и съ насмѣшкой и презрѣніемъ оглянулъ насъ.

— Что,—сказалъ онъ,—видно княжескій-то медъ всѣхъ тянетъ?! Собрались какъ пчелки около матки.

Филя быстро всталъ, подошелъ къ нему и что-то зашепталъ, указывая на князя. Я догадался, что онъ передавалъ нашъ разговоръ.

— Еще бы!—сказалъ Кудиновъ громко и презрительно,— его сіятельство станетъ кутить съ пансіонскою сволочью! Они настолько благовоспитаны, что никогда этого себѣ не позволятъ... Эй вы, мальга!—закричалъ онъ вдругъ на насъ, — вонъ отсюда! прочь, дальше отъ злого корня... Одна паршивая овца все стадо перепортитъ.

И мы всѣ, малыши, привычные къ этой командѣ, быстро бросились вонъ. Только одинъ я стоялъ около князя. Онъ крѣпко держалъ меня за руки и не выпускалъ, какъ я ни рвался.

Кудиновъ подошелъ къ намъ, безъ труда высвободилъ мою руку и толкнулъ меня въ шею.

— Въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не суются ваше сіятельство—сказалъ онъ.

— За что же вы?—сказалъ князь.

— А за то же... за что и вашего брата гоняютъ. Я немножко ошибся. Не съ нихъ, а съ вашего сіятельства надо было начинать.

И онъ схватилъ своими желѣзными руками князя, повернулъ его и толкнулъ въ шею вслѣдъ за мной.

— Вонъ, погань!—закричалъ онъ.

Князь отлетѣлъ на нѣсколько шаговъ, но устоялъ на ногахъ и быстро обернулся.

— Вонъ!—закричалъ Кудиновъ, весь позеленѣвъ,—вонъ!.. убью!..

Онъ схватилъ табуретъ и запустилъ въ князя.

Табуретъ пролетѣлъ мимо и съ грохотомъ ударился въ косякъ двери.

Князь постоялъ еще одно мгновеніе, потомъ махнулъ рукой, повернулся и вышелъ.

Между тѣмъ, въ третьемъ классѣ совершалось другое дѣло. Когда я вошелъ туда, вся публика, человѣкъ шесть, толпилась около класснаго стола, за которымъ сидѣлъ Курбиновъ, нашъ пансіонскій художникъ, съ угреватымъ лицомъ, съ длинными космами бѣлыхъ волосъ, оловянными глазами и постоянною саркастическою улыбкой. На большихъ александрійскихъ листахъ, чернымъ карандашемъ, онъ набрасывалъ одну сцену за другой въ громадныхъ размѣрахъ.

— Что это такое?—спросилъ я шепотомъ.

— Князя разрисовываетъ,—прошепталъ мнѣ Гусикъ.

На первомъ листѣ была представлена старуха, горбатая, съ длиннымъ носомъ, крючкомъ и за ней князь, разумѣется, въ каррикатурѣ, а впереди ихъ Карлъ Ивановичъ, съ тупымъ носомъ и прилизанными волосами, съ огромною печаткой на часахъ и въ коротенькомъ фрачкѣ (такъ его

обыкновенно изображали у насъ въ пансіонѣ). На второмъ листѣ тотъ же Карлъ Ивановичъ и старуха приходятъ въ ужасъ отъ бутылокъ, которыя танцуютъ менуэтъ въ кроватномъ ящикѣ. Подписано:

— *Да они, батюшка, не пьютъ-ли у васъ?*

— *Нѣтъ, ваше сіятельство, помилуйте, у насъ нравственность крайне превосходне!*

На третьемъ листѣ князь стоитъ въ раздумьѣ надъ плевкомъ и обращается къ нему съ просьбой:

— *Плевокъ! Плевокъ будь моимъ товарищемъ!*

Въ это время вбѣжалъ Бельтесовъ.

— Чухланъ, Чухланъ! (пансіонская кличка Курбинова) изображай скорѣй! Кудиновъ сейчасъ въ шею вытолкалъ его сіятельство.

— Какъ въ шею! — вскричалъ Курбиновъ, бросая карандашъ.

— Такъ-таки прямо по сіятельной шеѣ и проѣхался.

Курбиновъ живо схватилъ новый листъ и принялся бойко чертить.

Вечеромъ, когда мы ложились спать, всѣ эти листы были разложены на кровати князя.

Всѣ уже раздѣлись. Мы, малыши, смотрѣли изъ своихъ кроватокъ. Князь еще не входилъ. Какъ подсмотрѣли наши лазутчики, онъ все время расхаживалъ въ саду. Онъ вернулся когда почти всѣ мы были раздѣты, и всѣ жадно слѣдили изъ-подъ одѣялъ, что будетъ, какой эффектъ произведетъ наша шутка.

Въ одномъ углу дортуара слѣпо горѣлъ ночникъ (сальная свѣчка, опущенная въ жестяную трубку съ водой). Вся кровать князя была устлана каррикатурами. Князь тихо подошелъ къ кровати, взялъ одинъ листъ, посмотрѣлъ и положилъ въ сторону: затѣмъ взялъ другой листъ, также тщательно посмотрѣлъ его, прищурился, отодвинулъ листъ

отъ себя, нѣсколько секундъ разсматривалъ его пристально, потомъ вздохнулъ и положилъ листъ на табуретъ. Затѣмъ та же исторія была и съ остальными листами. Потомъ посмотрѣлъ на весь дортуаръ. Кудиновъ спалъ третьимъ отъ него. Князь пристально посмотрѣлъ на него, вздохнулъ отвернулся, перекрестился и началъ раздѣваться.

Нѣсколько минутъ продолжалась тишина. Тускло горѣлъ ночникъ. Мѣрно тикали часы за стѣной. Вдругъ Крамковъ неистово закричалъ:

— Князь, князь! Тетка пріѣхала! старуха пріѣхала!

Князь вскочилъ, съ просонья посмотрѣлъ на Крамкова и, ни слова не говоря, снова легъ.

— Мя-я-у!—раздалось въ дальнемъ углу.

— Кня-я-зь! — жалобно и тоскливо раздалось въ другомъ углу.

— Со святыми упокой!—пробурчалъ Колотуровъ.

Затѣмъ опять все замолкло. Нервный смѣхъ напалъ на меня.

«Господи!», думалъ я, «зачѣмъ они такъ не любятъ князя? а онъ такой славный». И опять наступила мертвая тишина... и я видѣлъ, какъ среди этой тишины неслышно поднялся Бельтесовъ, что-то досталъ съ табурета, потомъ отправился къ ночнику и въ мигъ яркое пламя вспыхнуло и освѣтило всю комнату.

— Князь, князь!—закричалъ онъ, какъ бѣшеный.—Пожаръ! Тетка горитъ!

Князь вскочилъ съ постели, яркое пламя кинулось ему въ глаза. Въ дортуарѣ раздалось фырканье и хохотъ.

Онъ нѣсколько мгновеній постоялъ, покачался, потомъ сѣлъ на кровать, поджалъ ноги и опустилъ голову на руки. Хохотъ и фырканье не умолкали.

— Господа,—сказалъ князь, поднявъ голову,— пожаръ горитъ въ сердцахъ вашихъ... горитъ адскій огонь, и горе вамъ, если вы его не затушите.

— Амины!—отчеканилъ гнусливымъ теноромъ Крамковъ.

И снова поднялся хохотъ.

— Полноте, господа,—вскричалъ Горненко,—я спать хочу... Ну, васъ, съ вашимъ княземъ, къ лысому бѣсу!

Кой-гдѣ раздавались еще по временамъ фырканье и зѣвки, и наконецъ, все смолкло.

VII.

На другой день намъ было много сюрпризовъ. Всѣхъ насъ разбудилъ рано Бельтесовъ. Онъ хохоталъ неистово, потрясая чѣмъ-то, что онъ держалъ въ рукахъ.

Вглядѣвшись въ это нѣчто, мы тоже захохотали.

Это было бархатное платье князя. Оно все было убрано мочальными вышивками и бумажными лентами.

Но самого князя не было.

Кудиновъ тотчасъ же отрядилъ одного изъ малышей, котораго мы звали Чуфиркой, разузнать, гдѣ «его сіятельство».

Чуфирка донесъ, что его сіятельство въ третьемъ классѣ, сидятъ въ потертомъ, изношенномъ халатикѣ, читаютъ книжку и что-то записываютъ.

— Ну, пошелъ, болванъ, погляди, что за книжка такая?

Черезъ четверть часа Чуфирка донесъ, что книжка *О подражаніи Христу* Ѳомы Кемпійскаго.

— Ну стащи ее, фофанъ!.. Маршъ!

Чуфирка пропалъ и черезъ полчаса прибѣжалъ весь красный и съ черненькою книгой, которую онъ сунулъ Кудинову.

Кудиновъ перелистовалъ ее, всталъ, подошелъ, раскачиваясь, къ печкѣ, которая топилась по случаю сырой и холодной погоды, и сунулъ ее въ печку.

Черезъ часъ вошелъ князь.

Онъ посмотрѣлъ на всѣхъ насъ съ недоумѣніемъ...

— Господа! Вы вѣрно знаете, гдѣ моя книга? Эта книга мнѣ очень дорога.

— А она, ваше сіятельство, вонъ гдѣ.—Кудиновъ указалъ на печку.—Намъ было очень холодно, а книга теплая, мы ею и протопили.

Князь быстро бросился къ печкѣ. Но книга уже пылала. Онъ обернулся, посмотрѣлъ на Кудинова, и въ этомъ взглядѣ былъ такой нѣмой, горькій упрекъ, что Кудиновъ отвернулся. Никто изъ насъ и не думалъ хохотать.

Князь провелъ по лбу рукой, какъ будто хотѣлъ поправить волосы; тихо, дрожа всѣмъ тѣломъ, подошелъ къ постели; мелькомъ взглянулъ на табуретъ, гдѣ лежало его платье, обшитое мочалками; задумался на одно мгновеніе, потомъ нагнулся, досталъ изъ чемодана суконные панталоны и курточку, быстро одѣлся, заперъ чемоданъ, взялъ шапку и вышелъ.

— Такъ-то, ваше сіятельство, пошли прогуляться,—сказалъ Кудиновъ.—Извольте-ка провѣтрить ваше сіятельное сердце.

— Это, однако, скверно, я тебѣ скажу,—замѣтилъ Неключиковъ.—Что онъ тебѣ сдѣлалъ? Зачѣмъ ты сжегъ у него книгу?

Кудиновъ быстро вскочилъ съ постели.

— Какъ,—вскричалъ онъ,—что сдѣлалъ?! Какъ, зачѣмъ сжегъ книгу?! Да позволь тебя спросить, если ты находишь въ постели клопа, развѣ ты его не раздавишь съ наслажденіемъ, чтобъ онъ тебя не кусалъ и не вонялъ тебѣ подъ носъ? Ну, книга его воняла, я ее и сжегъ, а самого его раздавлю какъ клопа, чтобы не кусалъ и не вонялъ.

Въ это время Чухланъ подошелъ къ табурету князя, поднялъ его платье и посмотрѣлъ на всѣхъ.

— А гдѣ же мои произведенія?!

— Какія произведенія?

— А каррикатуры!

Мы всѣ посмотрѣли кругомъ, поискали, но каррикатуръ не оказалось. Кто же могъ ихъ взять?

Въ двѣнадцатомъ часу, когда всѣ мы были во второмъ классѣ, вдругъ вошелъ Иванъ Михайловичъ, а за нимъ Карлъ Ивановичъ.

Иванъ Михайловичъ былъ красенъ, ерошилъ волосы и поправлялъ поминутно очки, что ясно означало, что онъ взбѣшенъ. Въ рукахъ онъ держалъ листы съ каррикатурами на князя.

Онъ прямо подошелъ къ группѣ, гдѣ горячо разсуждали Кудиновъ съ Неключиковымъ.

— Позвольте васъ спросить, что это такое?—вскричалъ Иванъ Михайловичъ, обращаясь къ Кудинову, хлопая рукой по листамъ и протягивая ихъ прямо къ носу Кудинова.—Пасквили на мой пансіонъ, а! Вы осмѣлились изображать въ каррикатурахъ и родственницу князя, и вашего воспитателя? а!?

И онъ неистово хлопалъ по листамъ.

— Я, Иванъ Михайловичъ, не знаю, что это такое.

— Какъ не знаете?—вскричалъ Иванъ Михайловичъ,— кто же это все изображалъ? — и онъ обвелъ насъ всѣхъ глазами, какъ будто ища кого-то.—По чьему наущенію?

Чухланъ совсѣмъ повѣсилъ носъ и прятался за Неключикова, постоянно облизываясь и перебирая пальцами, точно боялся, что эти пальцы сейчасъ же обрубятъ.

Въ это время князь, сидѣвшій особнякомъ въ углу за книгой и смотрѣвшій на эту сцену, быстро всталъ, подошелъ къ кружку и прямо всталъ предъ Иваномъ Михайловичемъ.

— Простите, Иванъ Михайловичъ,—сказалъ онъ открыто и просто.—Это вина всѣхъ насъ, а главное—моя. Мы

всѣ шутили, смѣялись и по-товарищески нарисовали эти каррикатуры... Мы никакъ не думали, что эти каррикатуры, наши дружескія каррикатуры, попадутъ въ ваши руки, а тѣмъ болѣе въ руки почтеннаго Карла Ивановича, котораго мы убѣдительнѣйше просимъ простить нашу дерзкую шалость.

— Какъ же мнѣ... какъ же мнѣ?.. Иванъ Михайловичъ, поправивъ очки, опять обвелъ всѣхъ глазами, какъ будто ища кого-то.—А это что же?—вскричалъ онъ, быстро накидываясь на князя и показывая каррикатуру съ бутылками.—Это что за бутылки?

— Да-съ,—вмѣшался Карлъ Ивановичъ,—эти бутыльки... вчера въ моемъ присутствіи оказались въ ещикъ, и г-жа княгинь буль этимъ очень фраппированъ... sehr scandalisiet.

— Это что за бутылки?—обращаясь къ Кудинову, допрашивалъ Иванъ Михайловичъ.

— А эти бутылки,—наивно сказалъ Кудиновъ,—лежали тутъ давно-съ, еще весной ихъ привезъ Короваевъ (пансіонеръ, котораго выгнали изъ пансіона).

— Да-а-а!.. Короваевъ... А васъ, милостивый государь,—обратился рѣзко Иванъ Михайловичъ къ князю,—я попрошу быть поскромнѣе. Вы не успѣли еще вступитъ въ нашъ пансіонъ, а уже начинаете шалить, подуськиваете всѣхъ рисовать каррикатуры на вашихъ родныхъ и воспитателей. Скверно-съ, скверно, мерзко!

И онъ изорвалъ листы на нѣсколько кусковъ, бросилъ ихъ къ ногамъ князя, отвернулся и быстро вышелъ вонъ.

Карлъ Ивановичъ тоже вышелъ вслѣдъ за нимъ.

— Что-съ, отличились!—вскричалъ Филя, обращаясь къ князю.—Но Кудиновъ быстро схватилъ его за руку и отвелъ прочь, искоса взглянувъ на князя.

Всѣ съ недоумѣніемъ смотрѣли другъ на друга, точно спрашивали: кто жъ это донесъ на насъ? И всѣ подозрительно смотрѣли на князя.

Кудиновъ говорилъ:

— Ты пойми, что это было прямо на меня донесено, потому что «почтарь» не могъ бы прямо на меня накинуться. Онъ такъ-таки прямо на меня и налетѣлъ.

— Но это не можетъ быть князь...

— Чортъ его знаетъ, хитрая, тонкая прощалыга! Донесъ, да и въ кусты... Благородную сцену еще разыгралъ Какъ есть «лицарь!»—говорилъ онъ съ ехидствомъ.

— Зачѣмъ же Иванъ Михайловичъ кого-то искалъ глазами между нами?

— Да, кого искалъ? Кого не было?

— Бисюгина не было!

— Нѣтъ, былъ!

— Не было!

И подозрѣніе стало переходить съ одного на другого. Всѣ очевидно стали дичиться другъ друга, и Кудиновъ зорко, подозрительно смотрѣлъ на всѣхъ, стиснувъ зубы, и ругался какъ-никогда.

Вечеромъ онъ приказалъ всѣмъ намъ, малышамъ, грозя пальцемъ.

— Вы, мозгляки, нюхайте, ищите, и если что пронюхаете, сейчасъ же мнѣ давать знать... А если кто-нибудь изъ васъ... такъ-таки объ уголъ да въ колодезь...

И мы всѣ этого страшно боялись, потому что всѣ видѣли какъ онъ разъ хватилъ кошку объ уголъ дома и затѣмъ швырнулъ въ старый колодезь, гдѣ она и до сихъ поръ осталась. И у насъ по этому поводу было еще сужденіе: можетъ ли онъ убить кого-нибудь изъ насъ или не можетъ?

— Какъ же не можетъ,—говорилъ Петя Корыгинъ,—убьетъ и заброситъ за заборъ... а тамъ поди ищи.

— И найдутъ, говорилъ Саша Морхуновъ,—убитаго человѣка всегда находятъ.

— Какъ же нашли!... вонъ меня тогда убили, да не нашли...—говорилъ Гусикъ.

— Такъ ты убитый ходишь? Бѣдный малый!

На князя перестали обращать вниманіе; только мы, малыши, вертѣлись около него. Каждому изъ насъ онъ далъ по конфектѣ или прянику, а меня обнялъ и началъ расхаживать со мной по корридору.

Намъ встрѣтился Грицо. Онъ прямо подошелъ къ князю.

— Послушай князь,—сказалъ онъ,—это ты донесъ на каррикатуры? Ты скажи прямо, и я даю тебѣ честное слово, что никто этого не узнаетъ. Намъ только важно то, чтобы подозрѣніе проклятое ни на кого не падало.

Князь схватилъ его за руку.

— Послушай,—сказалъ онъ мягкимъ шопотомъ,—зачѣмъ мнѣ было доносить, подумай... Что бы я отъ этого выигралъ? Я только что вступилъ въ пансіонъ, и вдругъ доношу на своихъ товарищей. Если я самъ въ себѣ не могу найти достоинствъ, которыя защитили бы меня отъ васъ, то неужели защититъ меня Иванъ Михайловичъ или Карлъ Ивановичъ?! Вѣдь вся эта защита—палліативъ, пойми ты это.

— Ну это еще не резонъ,—сказалъ Грицо, тихо освобождая свою руку изъ руки князя и пошелъ прочь.

Князь посмотрѣлъ вслѣдъ ему, потомъ снова обнялъ меня, и мы прошли изъ корридора въ дортуаръ.

Тамъ собрались малыши, вздорили и шумѣли изъ-за какой,то разорванной картинки.

— Я сейчасъ къ Александрѣ Алексѣевнѣ пойду,—говорилъ Морхуновъ весь красный и въ слезахъ.—Что же это, нельзя играть?!

Въ это время мы какъ разъ входили въ дверь, и онъ натолкнулся на насъ. Князь схватилъ его за руки.

— Зачѣмъ къ Александрѣ Алексѣевнѣ, а ты ко мнѣ

пойди, и онъ присѣлъ передъ нимъ,—ты мнѣ разскажи, что тебѣ сдѣлали.

— Да что!.. вонъ Петя Корьгинъ схватилъ картинку и разорвалъ; я рисовалъ... рисовалъ...

И онъ захныкалъ.

А Петя Корьгинъ ходилъ взадъ и впередъ, весь нахохлившись.

— Да,—говорилъ онъ,—и разорвалъ, а ты зачѣмъ мою коробочку разломалъ?

— А хочешь я тебѣ дамъ хорошенькую картину, гдѣ много солдатъ на лошадяхъ?—сказалъ князь.

— Хочу.

— Ну пойдемъ...

И князь повелъ его въ нашъ дортуаръ, но по дорогѣ захватилъ съ собой и Петю. И всѣ малыши потянулись за нами.

Князь отперъ свой чемоданчикъ. Вся крышка въ немъ была наполнена коробками, коробочками, свертками, книгами, альбомчиками.

Князь вынулъ изъ одной коробки, наполненной картинками, небольшую литографію, чисто дѣтскую, изображавшую какую-то битву, гдѣ дрались синіе уланы съ красными гусарами.

— Хороша?.—спросилъ онъ, подавая ее Сашѣ и ласково смотря на него.

— Хороша!..

И мы всѣ критически разсматривали картинку.

— А тебѣ вотъ коробочку...

И онъ вынулъ изъ одной коробочки какую-то вещицу и подалъ коробку Петѣ.

Всѣ прочіе обступили насъ и съ завистью стотрѣли на Сашу и Петю.

— Ты мнѣ дашь ее срисовать, — говорилъ Мухановъ Сашѣ;—только я ее совсѣмъ иначе нарисую.

— А хотите сказку слушать?—спросилъ вдругъ князь.

— Хотимъ, хотимъ!—закричали всѣ.

— Ну, садитесь.

И всѣ гурьбой отправились и, толкаясь и ссорясь, посѣли на кровать ближе, какъ можно ближе къ князю.

— Ну вотъ, садитесь ладкомъ, не толкайте другъ друга, —говорилъ князь,—всѣмъ будетъ слышно и видно, всѣмъ будетъ мѣсто.

«Давнымъ давно, въ одномъ старомъ городѣ (началъ князь своимъ мягкимъ, пѣвучимъ голосомъ) жили были царь съ царицей, и было у нихъ два сыночка. Одного звали Еруслановъ, а другаго Емельяномъ. Еруслан былъ мальчикъ здоровый, сильный, коренастый, сутуловатый; волосы у него были черные, курчавые, личико желтое, сердитое. Емельянъ былъ тоненькій, бѣленькій, съ голубыми, большими глазами и свѣтлыми волосами, что вились мелкими кудерьками. И жили между собой братья неладно. Подарятъ имъ игрушекъ, картинокъ, старшій братъ Еруслан все отниметъ у брата, все изорветъ, побросаетъ...

«— Братецъ милый,—говоритъ Емельянъ,—зачѣмъ ты у меня отнимаешь, возьми все, мнѣ и такъ ничего не надо.

«Одинъ разъ говоритъ Емельянъ:

«— Братецъ, давай вмѣстѣ играть.

«— Давай,—говоритъ Еруслан.—Я буду господинъ, а ты будешь слуга.

«— Какъ же,—говоритъ Емельянъ,—ты будешь господинъ, а я слуга, когда мы оба братья родные.

«— Ну коли не хочешь быть слугой, такъ не станемъ играть вмѣстѣ.

«— Хорошо, начнемъ эту игру завтра.

«И вотъ спятъ оба брата и оба видятъ сны.

«Видитъ старшій братъ, что приходитъ къ нему старикъ маленькій, горбатый, глаза горятъ какъ угли, носъ крючкомъ

и всѣ волосы дыбомъ. Въ рукахъ у него палка, вся расписана краснымъ и чернымъ. И вся одежда на немъ какъ жаръ горитъ, вся обшита червонцами.

«— Слушай,—говоритъ онъ Еруслану,—ты завтра будешь играть съ братомъ въ господина и слугу, это мнѣ очень нравится. Заставь же брата вотъ что сдѣлать, заставь его выполоть—хорошенько выполоть—весь маленькій садъ.

«— Ладно,—говоритъ Ерусланъ.

«— А я, — говоритъ старикъ, — тебя за это награжу, дамъ тебѣ хорошенькихъ коробочекъ, золотыхъ, видишь какихъ, и онъ показываетъ ему много золотыхъ коробочекъ, такихъ блестящихъ, нарядныхъ, что у Еруслана глаза разбѣжались.

«А другой братъ видитъ другой сонъ: къ нему приходитъ во снѣ хорошенькій мальчикъ въ бѣлой, длинной рубашечкѣ, которая вся блеститъ и сіяетъ. И говоритъ ему такъ ласково:

«— Служи, Емельянъ, служи брату твоему, потому что каждый кто возвышаетъ себя — умалится, а кто умаляетъ себя—возвысится. Такъ Господь заповѣдалъ, и это истинно, потому что всякій возносящій себя возносится силами земными, а всякій умаляющій себя возносится силами небесными.

«И взялъ мальчикъ Емельяна за руку, и пошли они въ рощу красивую, и было тамъ много нарядныхъ цвѣтовъ. И нарвали они этихъ цвѣтовъ, и на этомъ Емельянъ и проснулся.

«На другой день встали братья.

«— Ну,—говоритъ Ерусланъ, — давай теперь играть въ господина и слугу. Одѣвай меня.

«Емельянъ одѣлъ своего брата.

«— Ну, теперь ступай ѣсть, а потомъ отправляйся въ маленькій садикъ и весь его выполи, хорошенько выполи. Цвѣтовъ не дергай, а крапиву, волчецъ и всѣ колючки и цѣпалки вонъ.

«А маленькій садикъ почти весь заросъ волчецомъ, крапивой и репейникомъ.

«И вотъ принялся полоть Емельянъ, а Ерусланъ наблюдаетъ, чтобы пололъ какъ слѣдуетъ.

«— А ты, говоритъ, зачѣмъ руки платкомъ да рубашкой завертываешь—ты поли, да рукъ не обвертывай. Какой ты слуга!.. ты баринъ, а не слуга!

«И Емельянъ началъ полоть крапиву голыми руками, изжегъ себѣ всѣ руки, а Ерусланъ смѣется да радуется:— что, говоритъ, нагрѣлся, ну теперь за волчецъ принимайся.

«Принялся Емельянъ за волчецъ, искололъ всѣ руки въ кровь. А у Еруслана при видѣ крови сердце радуется, при видѣ братниной крови. Совсѣмъ онъ обезумѣлъ, какъ дикій звѣрь сталъ, который кровь почуялъ.

«А Емельянъ трудится, работаетъ, и чѣмъ больше онъ трудится, тѣмъ легче становится работа. Точно кто-нибудь ему помогаетъ, и кровь съ ручекъ исчезла, и всѣ обжоги исчезли, и волчецъ не колется; и крапива не жжется.

«Кончилъ Емемьянъ.

«— Что,—спрашиваетъ,—братецъ милый, доволенъ ли ты моей работой?

«А братецъ глядитъ на него волкомъ.

«— Легкую я тебѣ работу задалъ, вотъ что!—говоритъ.

«И обернулся Емельянъ посмотрѣть на свою работу. Глядь, что такое?.. По всему саду выросли, расцвѣли чудные цвѣты.

«— Вотъ видишь-ли, дурень, зачѣмъ я тебя заставлялъ трудиться.—говоритъ Ерусланъ.—Вотъ теперь садъ на садъ похожъ.

«И сорвалъ онъ одинъ цвѣтокъ, самый красивый; хотѣлъ понюхать, и вдругъ цвѣтокъ обратился въ змѣю, которая зашипѣла. Бросилъ онъ змѣю и убѣжалъ прочь! Приходитъ

онъ въ свою горницу, а въ горницѣ на столѣ все коробочки разставлены и какъ жаръ горятъ.

«— Вотъ, говоритъ, что значитъ обѣщать и исполнить! непремѣнно получишь хорошую награду.

«И опять пришла ночь, и снятся братьямъ сны.

«Опять приходитъ во снѣ къ Еруслану горбатый старичекъ, но сердитый, горбъ трясется, носъ совсѣмъ скрючило, глаза—словно огонь.

«— Завтра,—говоритъ,—ты опять будешь играть съ братомъ, и вотъ какую ему работу задашь: пусть онъ сроетъ горку, что за садомъ. А за это я дамъ тебѣ волшебный кошелекъ, раскроешь его и что ни пожелаешь, то изъ него и вынешь.

«И показываетъ онъ Еруслану волшебный кошелекъ, и вынимаетъ изъ него картинки, игрушки, пряники, конфекты.

«— Ладно,—говоритъ Ерусланъ.

«А къ Емельяну во снѣ опять явился маленькій, хорошенькій мальчикъ. «Ну, говоритъ, ты потрудился, поработалъ, теперь отдохнуть надо». И полетѣли они, точно птички, въ чудныя рощи, гдѣ было много золотыхъ, нарядныхъ бабочекъ и маленькихъ птичекъ. Заслушался Емельянъ, такъ онѣ сладко пѣли ..

«— Ну, вставай, соня!—будитъ его толкаетъ Ерусланъ.— Совсѣмъ заспался, лентяй, давно на работу пора!

«Всталъ Емельянъ, помолился Богу, помолился ангелу хранителю, пошелъ на работу.

«— Вотъ,—говоритъ Ерусланъ,—срой ты мнѣ этотъ бугорокъ, что за садомъ.

«— Какъ же,—говоритъ Емельянъ,—буду я его срывать?.. нѣтъ у меня ни лопаты, ни заступа.

«— А руки-то на что?—говоритъ Ерусланъ.—Даромъ что-ли онѣ у тебя приставлены? работай руками, палку возьми, палкой копай!..

«Взялъ Емельянъ палку, началъ копать. Копаетъ часъ, копаетъ другой; потъ съ него льется.

«— Что,—говоритъ Ерусланъ,—упрѣлъ?! Работай, трудись, а то въ царствіе небесное не попадешь.

«Срылъ, наконецъ, Емельянъ полбугра и вдругъ почувствовалъ, что опять ему кто-то помогаетъ. Вся горка стала точно песокъ рыхлый, только онъ тронетъ палкой, такъ она и сыплется, такъ и сыплется.

«Сравнялъ Емельянъ горку, ногами ее уминаетъ, и вдругъ на горкѣ выросъ цѣлый садикъ, разросся, а въ садикѣ порхаютъ золотыя, нарядныя бабочки и красивыя птички... И такъ сладко поютъ эти маленькія птички!

«— Братецъ милый,—говоритъ Емельянъ, — послушай, какъ онѣ поютъ.

«А Ерусланъ стоитъ, бранится, отмахивается; изъ садика на него налетаютъ осы, шершни...

«— Все это дьявольское навожденіе!—вскричалъ онъ и бросился бѣжать въ свою горницу. Глядь, а въ горницѣ на столѣ большущій кошель лежитъ. «Что это въ немъ, не картинки-ли?» раскрылъ кошель—и, впрямь, тамъ все картинки, одна другой лучше. Набралъ онъ этихъ картинокъ цѣлый ворохъ—надоѣли. Заперъ кошель. «Ну теперь я хочу пряниковъ!» Открылъ кошель и полонъ онъ пряниками. Ѣлъ онъ, ѣлъ, даже тошно. Дай, подумалъ, отдамъ братцу—все равно всего не съѣмъ. Только подумалъ, опять ѣсть захотѣлось, и все съѣлъ. «Ну, подумалъ, теперь бы конфектъ!» И конфекты явились такія отличныя, вкусныя, въ раззолоченныхъ бумажкахъ. Ѣлъ онъ, ѣлъ, да такъ надъ ними и заснулъ.

«И опять ему снится маленькій старичокъ. Совсѣмъ позеленѣлъ—обозлился старичокъ. Зубы стучатъ, глаза прыгаютъ, точно факелы и дымъ изъ нихъ идетъ.

«— Очень легкую работу, говоритъ, мы ему задали...»

Въ это время дверь отворилась, вошли Неключиковъ, Горненко, Бисюгинъ, Колотуровъ, сѣли на кровать и начали слушать, что князь разсказываетъ. Затѣмъ вошли Кудиновъ съ Филей, остановились, смотря на эту сцену, и тоже начали слушать.

«— Задай ему вотъ что,—разсказывалъ князь,—задай ему вырыть прудъ.

«— Какъ же,—говоритъ Ерусланъ,—я его заставлю? у него силъ не хватитъ.

«— Какъ не хватитъ?!. а горку-то онъ срылъ, ну и прудъ выроетъ. Ты только поколоти его хорошенько, непремѣнно выроетъ. Ему помогаютъ... А если онъ прудъ выроетъ, то я тебя сдѣлаю королемъ надо всѣми. И папа, и мама твои всѣ будутъ тебя слушать, и все что ты захочешь будетъ исполняться само собой.

«— Ладно,—говоритъ Ерусланъ.

«А къ Емельяну опять явился маленькій, хорошенькій мальчикъ, и такъ ему обрадовался Емельянъ, точно братцу родному. Опять они полетѣли, и такое великолѣпіе увидѣлъ Емельянъ, какого ни въ сказкахъ сказать, ни перомъ описать. Но что всего лучше, мальчикъ привелъ его въ садъ, гдѣ было много такихъ же мальчиковъ, какъ онъ самъ. И всѣ они бѣгали, летали, играли въ этихъ садахъ и такъ имъ всѣмъ было хорошо, весело.

«И вотъ всталъ Емельянъ, помолился Богу и ангелу-хранителю, одѣлъ Еруслана; вышли они на работу.

«— Братецъ милый,—говоритъ Емельянъ,—сегодня мы играемъ послѣдній день въ господина и слугу, а завтра мы снова будемъ братьями.

«А Ерусланъ на это захохоталъ.

«— Завтра,—говоритъ, не только ты, но и все королевство будетъ моимъ слугой, всѣ и отецъ и мать моя.

«Емельянъ ужаснулся.

«— Какъ,—говоритъ,—братецъ, могутъ-ли отецъ и мать быть слугами своему сыну!

«— Могутъ, коли ихъ заставятъ,—говоритъ Ерусланъ.

«И пришли они опять въ садъ.

«— Ну,—говоритъ Ерусланъ,—выкопай мнѣ прудъ, глубокій прудъ, и мы воду въ него проведемъ.

«Взялъ Емельянъ опять ту палку, которой горку сравнивалъ и принялся копать, гдѣ показалъ ему Ерусланъ. А палка попалась хорошая, сучковатая, да и на концѣ изогнутая, видно маленькое деревцо было съ корнемъ вырвано. И вотъ этимъ корнемъ, точно киркой, Емельянъ копалъ землю.

«Копаетъ онъ, копаетъ, давно ужъ съ него потъ градомъ льетъ, а дѣло все не подвигается, выкопалъ онъ только небольшую ямку.

«— Усталъ я, говоритъ, братецъ милый, что-то сегодня не работается.

«А братецъ милый совсѣмъ обозлился. Нетерпѣніе его мучитъ, чтобы скорѣе повелителемъ быть надо всѣми, и уже заранѣе онъ представлялъ себѣ, какъ братъ Емельянъ выкопаетъ прудъ, а тутъ вдругъ братъ Емельянъ отказывается копать. Схватилъ онъ палку, бросился на него.

«— А, рабъ лѣнивый!—говоритъ...

«И началъ онъ его бить палкой.

«— Братецъ милый,—говоритъ Емельянъ, дай ты мнѣ лучше отдохнуть, съ силами собраться, а не бей ты меня...

«Но братецъ милый ничего не слушаетъ; схватилъ онъ палку за тонкій конецъ, а толстымъ крючкомъ какъ размахнется, да какъ ударитъ брата по виску... и проломилъ ему високъ.

«Упалъ Емельянъ, весь кровью залился. А Еруслана еще пуще мучаетъ досада. Не то ему досадно, что онъ убилъ брата, что совершилъ онъ грѣхъ великій, а то досадно, что теперь некому прудъ выкопать. Обозлился онъ и колотитъ,

изо всѣхъ силъ колотитъ мертваго, а земля подъ нимъ начинаетъ опускаться, опускаться потихоньку.

«— Вѣдь вотъ,—говоритъ,—лентяй поганый! Какая земля рыхлая, сама опускается!

«И опускается она все ниже, да глубже, ниже, да глубже, и не чувствуетъ Еруслан какъ онъ проваливается, не видитъ какъ небо надъ нимъ закрывается...»

Я оглянулся на Кудинова. Все лицо его какъ будто ушло въ себя, потемнѣло; губы дрожали. Вдругъ онъ быстро двинулся къ князю, оттолкнулъ малышей, что сидѣли предъ нимъ, такъ что тѣ посыпались на полъ. Князь вскочилъ. Кудиновъ всталъ противъ князя и прямо уставился на него. Онъ весь дрожалъ, руки его дергались, прошла цѣлая секунда, прежде чѣмъ онъ заговорилъ хриплымъ, груднымъ голосомъ:

— Мразь поганая!.. Это ты что проповѣдуешь? Чему дѣтей научаешь? Развращаешь ихъ! Мистицизмъ прививаешь къ нимъ, учишь гадости, халуйству, холопству, приниженію личности.

Онъ замолкъ. Князь хотѣлъ что-то отвѣчать, но при первомъ звукѣ его голоса, Кудиновъ какъ-то быстро, нервно размахнулся и ударилъ его по щекѣ...

Мы всѣ точно ахнули при этомъ рѣзкомъ, сухомъ ударѣ.

Неключиковъ, Горненко и Бисюгинъ бросились къ князю— и остановились.

Онъ страшно поблѣднѣлъ, задрожалъ, закрылъ зардѣвшуюся щеку рукой и, медленно повернувшись, подставилъ Кудинову другую щеку.

Тутъ произошло что-то такое, чего и до сихъ поръ я не могу себѣ отчетливо представить.

Мы ясно видѣли, что Кудиновъ опять размахнулся лѣвою рукой, но вслѣдъ затѣмъ, вдругъ перегнулся, опрокинулся навзничъ и полетѣлъ къ ногамъ князя.

Потомъ, въ слѣдующее мгновеніе, князь, съ страшнымъ крикомъ: «спасите! онъ умеръ!» бросился и нагнулся къ нему.

Мы всѣ тоже бросились и обступили Кудинова.

Его лицо почернѣло, глаза закатились, на губахъ выступила пѣна. Онъ хрипѣлъ.

Князь, наклонясь къ нему и всхлипывая, какъ маленькій ребенокъ, поспѣшно, дрожащими руками растегивалъ ему куртку.

— Воды!—проговорилъ онъ сквозь слезы,—ради Бога, дайте воды!

Я бросился не помня себя, и нѣсколько разъ расплескалъ и пролилъ, прежде чѣмъ донесъ трясущимися руками стаканъ воды. Неключиковъ схватилъ его и разомъ вылилъ на голову Кудинова.

— Еще давай!—вскричалъ онъ,—тащи цѣлый графинъ!

Я бѣгомъ принесъ графинъ. Неключиковъ началъ лить ему на голову, на темя, прихлопывая ладонью. Мы всѣ, съ замирающими сердцами, смотрѣли и ждали.

— Господи!—молился вслухъ князь, крестясь и плача,—умилосердись!

— Несемте въ больницу,—проговорилъ Сеня измѣненнымъ голосомъ, надо за докторомъ послать.

И всѣ торопливо, неловко подхватили его и понесли въ больницу, кряхтя и тяжело переступая.

— Легче, легче! головой не стукни!— слышалось въ дверяхъ.

Князь шелъ сзади съ пустымъ графиномъ. Я взялъ изъ рукъ его графинъ, и онъ бросился ко мнѣ.

— Дитя мое!—вскричалъ онъ сквозь слезы,—молись, молись, твоя молитва сильнѣе, доступнѣе... Ахъ, это ужасная смерть... въ гнѣвѣ, въ ненависти къ брату!

VIII.

Ночь я спалъ тревожно и просыпался чуть не каждую минуту. Мнѣ снился старичекъ въ красномъ плащѣ, безобразный, лысый, съ перекосившимся широкимъ ртомъ, изъ котораго торчали длинные клыки, съ маленькими злыми глазами и длинными острыми ушами. Или представлялся мнѣ Кудиновъ, съ чернымъ исказившимся лицомъ и остолбенѣвшими глазами. Эти глаза росли, выходили изъ орбитъ, становились какими-то тусклыми мѣсяцами, и я снова въ ужасѣ, облитый холоднымъ потомъ, просыпался.

Въ послѣдній разъ я проснулся, вѣроятно, часу въ третьемъ. Мнѣ показалось во снѣ, что князь блѣдный, блѣдный, лежитъ мертвый на полу. Я всталъ, подошелъ къ постели князя, но постель была не смята, и князя на ней не было. Я напялилъ панталоны, надѣлъ туфли и на цыпочкахъ вышелъ въ корридоръ, на концѣ котораго была больница. На этомъ концѣ горѣла или вѣрнѣе, чадила лампа, тускло освѣщая его. «Нѣтъ ли тамъ князя?» быстро представилось мнѣ, и я дрожа всѣмъ тѣломъ, на цыпочкахъ, почти бѣгомъ отправился въ больницу.

Въ ней никто не лежалъ, кромѣ Кудинова. Обѣ койки были пусты, а та, на которой лежалъ Кудиновъ, была заслонена ширмами. Я вошелъ за ширмы. Сзади, у изголовья кровати, предъ столикомъ, уставленнымъ лекарствами, на которомъ горѣла небольшая свѣчка подъ абажуромъ, сидѣлъ князь погруженный въ чтеніе. На немъ были большія синія очки. Увидѣвъ меня, онъ поднялъ свое грустно улыбающееся лицо и приподнялъ брови.

— Что ты? что тебѣ?—быстрымъ шепотомъ спросилъ онъ, оставивъ книгу.

Я тихонько подошелъ къ нему, и весь нашъ разговоръ шелъ шепотомъ.

— Ты что здѣсь сидишь?—спросилъ я.

— Мнѣ позволили,—сказалъ онъ,—смотрѣть за нимъ и давать лекарство.

И онъ взглянулъ на маленькіе часы на столикѣ, которые бойко тикали среди ночной тишины.

— Надо давать черезъ часъ,—сказалъ онъ.

— Что съ нимъ?—спросилъ я.

— Незнаю. Докторъ говоритъ, что, пожалуй, будетъ нервно-желчная лихорадка. Очень онъ разсердился на меня.

— Князь... и ты цѣлую ночь просидишь здѣсь?

— Просижу до шести часовъ, а въ шесть встанетъ Мавра и смѣнитъ меня.

Я нѣсколько мгновеній смотрѣлъ на ширмы, изъ-за которыхъ слышалось тяжелое дыханіе.

— Князь,—сказалъ я, несмѣло и зипинаясь,—за что онъ ударилъ тебя? Вѣдь онъ злой!

Послѣднія слова я произнесъ такимъ шепотомъ, изъ подлобья смотря на кровать Кудинова, что едва-ли ихъ разслышалъ князь.

Онъ взялъ меня за руку и началъ гладить по ней другою рукой.

— Не суди,—сказалъ онъ тихо и строго,—и не будешь судимъ. Онъ ударилъ меня, потому что не могъ сдержать гнѣва своего. А я, глупый, не могъ разсудить, что не надо было при немъ разсказывать такую сказку. Сердитый, вспыльчивый человѣкъ все равно, что больной. Не надо его раздражать, а я, глупый, раздражилъ его.

— А скажи мнѣ, спросилъ я, не глядя на него и тихо перебирая шнурки его куртки,—это ты нарочно подставилъ ему другую щеку, чтобъ онъ еще разъ ударилъ тебя?

Онъ грустно улыбнулся и потрепалъ меня по плечу.

— Вѣдь это еще больше разсердило его,—допытывался я,—и вотъ онъ теперь лежитъ больной...

— Милый мой, мы не знаемъ путей Его. Мы не знаемъ что дѣлаемъ, въ особенности въ гнѣвѣ, въ страстяхъ, въ волненіи. Онъ распоряжается нами.

— Значитъ и ты не виноватъ, если раздражилъ его? А еслибы Кудиновъ тебя еще разъ ударилъ? и еще, и еще разъ?

Князь пристально и серіозно постотрѣлъ на меня.

— Дитя мое,—сказалъ онъ грустно,—не мудрствуй лукаво. Я сдѣлалъ то, чему училъ насъ Господь. Въ другой разъ, можетъ быть, я этого и не сдѣлалъ-бы, но тогда я это сдѣлалъ невольно. Въ эту минуту мнѣ такъ ясно представились слова Спасителя, такъ громко зазвучали въ ушахъ моихъ, что я не могъ не повиноваться имъ, и я послушался, и не раскаиваюсь.

Въ это время Кудиновъ повернулся и глухо простоналъ.

Князь быстро повернулъ къ нему голову и приставилъ палецъ къ губамъ.

Съ полминуты мы сидѣли, не шевелясь. Я почти не дышалъ.

Въ это время, въ сосѣдней небольшой комнаткѣ, что-то заскрипѣло, точно кто-то ходилъ по ней. У меня сердце сжалось. Я посмотрѣлъ съ недоумѣніемъ на князя.

— Это крысы,—сказалъ князь,—чего ты боишься?

И онъ снова замолкъ. Мертвая тишина стояла кругомъ насъ. Только вдали, въ корридорѣ, тяжело и глухо, мѣрными ударами отбивалъ маятникъ большихъ часовъ въ высокомъ старинномъ шкафчикѣ тумбочкой.

— Князь,—сказалъ я, пододвинувшись къ нему.

— Костя...—поправилъ князь,—зачѣмъ ты зовешь меня княземъ?

— Костя, отчего ночью дѣлается страшно?

— Оттого, милый мой, что свѣта нѣтъ, ты какъ слѣпой. Вокругъ тебя здѣсь свѣтъ, а тамъ—и онъ махнулъ рукой кругомъ—тамъ темнота и ты это знаешь. Да еще оттого, что днемъ люди вокругъ тебя шумятъ, что-нибудь дѣлаютъ, «на людяхъ и смерть красна», а ночью все спитъ, точно все вымерло, и страхъ находитъ на человѣка. Но вотъ что я тебѣ скажу, другъ мой милый: кто любитъ Бога, тотъ ничего и никого не боится; ему страшно только одно—гнѣвъ Божій... А любишь-ли ты Бога? Любишь-ли ты Его добраго, любящаго, справедливаго, великаго...

И голосъ Кости слегка задрожалъ, въ немъ послышались слезы. Онъ ниже нагнулся ко мнѣ, сжалъ мою руку и быстро прошепталъ со страстью, наклонясь почти надъ самымъ моимъ ухомъ:

— Оттого-то и все зло на землѣ, что никто, никто въ цѣломъ свѣтѣ не любитъ Его... Весь міръ ходитъ въ потьмахъ. Всѣ люди любятъ себя, всякую глупость, мерзость, а Его не любятъ... не хотятъ любить... Душа моя, подумай, каково даже человѣку любящему жить среди людей, которые Его не любятъ и знать не хотятъ!.. Онъ хочетъ сдѣлать всѣмъ добро и дѣлаетъ его постоянно, а Ему платятъ чуть не презрѣніемъ, холодностью, зломъ... Тяжело, охъ! какъ тяжело Великому Божьему Сердцу среди холоднаго людскаго міра!

И онъ крѣпко прижалъ меня и поцѣловалъ, и я почувствовалъ при этомъ, какъ полная тяжелая слеза его скатилась ко мнѣ на щеку.

Сердце во мнѣ почти остановилось, я дышалъ съ трудомъ и упорно смотрѣлъ на потолокъ въ одну точку. Темнота потолка, казалось, раздвигалась предо мной, и въ сѣромъ, расплывающемся пятнѣ вырисовывалась фигура Его. Но въ этомъ представленіи не было ничего влекущаго, ничего заставляющаго сердце трепетать и плакать отъ слад-

кой любви. Предъ моими глазами, слабо и блѣдно, рисовался образъ того Саваоѳа, со свѣтлымъ треугольникомъ на головѣ, котораго изображеніе я видѣлъ еще въ дѣтской азбукѣ. И ничего человѣчнаго не было въ этомъ представленіи; при немъ сердце молчало и не шевелилось. И рядомъ съ нимъ явилось другое—явился образъ отца Анемподиста, священника нашей пансіонской церкви, строгаго, черстваго...

— Милый мой,—сказалъ Костя,—поди спать. Нехорошо! Неравно тебя найдутъ здѣсь и спросятъ: зачѣмъ ты пришелъ?

Я обернулся къ нему, обхватилъ руками его шею и крѣпко поцѣловалъ его. Затѣмъ твердыми шагами, на цыпочкахъ, вышелъ изъ больницы, но не успѣлъ дойти до половины корридора, не успѣлъ погрузиться во мракъ, который ожидалъ меня впереди, какъ что-то бѣлое (казалось мнѣ) мелькнуло по срединѣ корридора, на половикѣ. Ужасъ охватилъ меня съ головы до пятъ, я чуть не закричалъ, опрометью бросился назадъ, не переводя духа и добѣжалъ почти вплоть до самаго князя.

Онъ медленно приподнялъ голову отъ книги.

— Что ты, мой милый?—спросилъ онъ съ испугомъ.

— Костя,—сказалъ я весь дрожа,—я боюсь. Тамъ, что-то бѣлое мелькаетъ.

— Господь съ тобой,—сзазалъ онъ, вставая и кладя книгу на столъ,—чего ты боишься?

Онъ оглянулся на Кудинова, взялъ меня за руку и пошелъ со мной по корридору.

— Вездѣ Богъ,—прошепталъ онъ, наклоняясь къ моему уху,—вездѣ силы Его небесныя. Чего же ты боишься? Видишь, какъ ты далекъ отъ Него, какъ въ тебѣ мало вѣры въ его доброту, вѣры въ то, что Богъ любитъ и бережетъ тебя.

И онъ почти довелъ меня до двери дортуара.

— Прощай, мой милый,—прошепталъ онъ, нагибаясь ко мнѣ,—спи съ Богомъ.

И онъ перекрестилъ меня, какъ крестила меня мать, и снова я поцѣловалъ его.

Сердце еще сильно колыхалось въ груди, дрожь пробѣгала по спинѣ, когда я раздѣлся и снова легъ въ холодную постель, совершенно успокоенный и довольный.

«Онъ добрый, добрый Костя», подумалъ я, еще дрожа отъ волненія. И что-то повелѣвающее, влекущее наполнило сердце. Оно какъ-то особенно тихо и торжественно забилось. Что-то словно отверзлось въ немъ. Глаза заволокло слезами, и я съ любовью, медленно, перекрестился большимъ крестомъ.

IX.

У Кудинова, дѣйствительно, разыгралась нервно-желчная горячка. Князя, на другой-же день, уже не пускали къ нему. Докторъ сказалъ, что даже присутствіе его можетъ раздражать больнаго и усложнять болѣзнь. Изъ другихъ учениковъ также никого не пускали, и двери въ больницу заперли наглухо для всѣхъ.

Точно струна, которая звучала какъ камертонъ и давала строй всему, вдругъ оборвалась во всемъ пансіонѣ. Бисюгинъ вздумалъ было вступить въ роль Кудинова, но на первыхъ же порахъ сцѣпился съ Крамковымъ, такъ что всѣ старшіе едва могли ихъ разнять.

Разговоры не клеились или всѣ сводились къ вопросу: что съ нимъ? Мы, малыши, принимались нѣсколько разъ шумѣть; но старшіе грозно шикали на насъ, и мы расходились по угламъ, шептались и хихикали.

Вечеромъ я вошелъ въ дортуаръ. Тамъ сидѣлъ одинъ князь на кровати у столика. Передъ нимъ стояла небольшая шкатулка, очевидно старинная, пузатая, обитая краснымъ сафьяномъ и серебряными гвоздиками. Онъ перебиралъ и укладывалъ въ нее разныя вещицы. На постели были разложены также разныя вещицы: коробочка, маленькій портфельчикъ, старый, весь истертый, серебряная кружечка съ чернью, розовый шарфикъ. Когда я подошелъ къ князю, онъ тщательно свернулъ этотъ шарфикъ и бережно положилъ его въ одинъ уголокъ шкатулки.

— Костя,—спросилъ я его,—этотъ шарфикъ, это вѣрно подарокъ у тебя чей-нибудь?..

— Нѣтъ, дружокъ, это память... сестры, моей милой Любы...

— Она умерла?

— Да, она умерла. Я остался одинъ, одинъ въ цѣломъ Божьемъ мірѣ... Она была кроткая, какъ голубка бѣлая... и умерла въ чахоткѣ. Это былъ любимый ея шарфикъ. Предъ смертью она повязала его мнѣ на руку. «Вотъ, говоритъ, Костя, на память обо мнѣ...»

— Какъ же это, Костя, развѣ у тебя нѣтъ больше родныхъ? А отецъ твой, мать?

— У меня мачиха...

— Она не любитъ тебя?—быстро спросилъ я его.

Онъ пристально посмотрѣлъ на меня, провелъ задумчиво нѣсколько разъ по моей головѣ и тихо прошепталъ.

— Не любитъ, дружокъ. Я, говорятъ, похожъ на мою покойную мать...

— А отецъ твой? Гдѣ онъ живетъ?

— Онъ живетъ съ мачихой въ Петербургѣ.

— Что-жъ онъ?

— Онъ добрый, очень добрый, онъ любитъ меня... но еще больше онъ любитъ maman... Кто сильно любитъ, тотъ

и ревнуетъ... Ты этого еще не понимаешь, и хорошо, что не понимаешь...

— И тебя сослали сюда, къ намъ въ пансіонъ, за тысячу четыреста верстъ отъ Петербурга?!

— Какъ сослали? Никто меня не ссылалъ, просто отдали въ пансіонъ.

— Неправда, Костя! Я все понимаю, ты просто не хочешь признаться.

— Если понимаешь, то тѣмъ хуже для тебя. А я тебѣ скажу, не осуждай и не будешъ судимъ.

— Какъ же, Костя, а суды? Вѣдь этакъ каждый судья грѣшитъ, если осуждаетъ.

— Нѣтъ, милый, грѣшитъ только тотъ, кто осуждаетъ не по совѣсти. Каждый судья судитъ земнымъ судомъ, а надъ нимъ есть судъ небесный...

Разговоръ замолкъ; князь быстро укладывалъ свои вещи, а въ моей головѣ смутно укладывалось это новое понятіе: что такое судъ земной и что такое небесный?

— Послушай, Костя,—вдругъ я спросилъ его,—а какъ же сочинители, вѣдь они судятъ другъ друга; критики, вѣдь они критикуютъ другъ друга (признаюсь, о критикахъ я имѣлъ тогда весьма смутное понятіе).

Князь улыбнулся.

— Они не судятъ, а только помогаютъ человѣку идти впередъ. Но ты этого еще не поймешь, дружокъ... Каждый критикъ какъ будто судитъ, а на самомъ дѣлѣ онъ только толкуетъ, высказываетъ свое мнѣніе.

Я не знаю, вѣрно-ли я передаю теперь слова князя, не знаю, насколько крѣпки мои воспоминанія; но мнѣ кажется теперь, что смыслъ его словъ былъ именно тотъ, какимъ онъ мнѣ представляется теперь, спустя почти тридцать лѣтъ, послѣ моей пансіонской жизни.

Черезъ два или три дня послѣ нашего разговора, вече-

ромъ, я вышелъ на галлерейку. Въ полумракѣ ея, при тускломъ освѣщеніи лампой изъ столовой, собрались всѣ старшіе. Князь сидѣлъ у окна на табуреткѣ. Подлѣ него стоялъ Сеня Бисюгинъ, весь красный, страшно ероша свои курчавые волосы и поминутно поправляя pince-nez.

— Нѣтъ, позвольте,—говорилъ онъ,—вы утверждаете, что люди злы, потому что есть зло на свѣтѣ... въ видѣ какого-то духа зла. Гдѣ же этотъ духъ зла, позвольте васъ спросить? кто и гдѣ его видѣлъ? C'est ce que je désire à savoir...

— Вы меня вовсе не поняли,—сказалъ Костя:—хотя я не хочу и не могу отрицать духа зла и даже цѣлаго легіона ихъ, но я вовсе не то хотѣлъ сказать... Я употребляю выраженіе—духъ зла въ томъ смыслѣ, какъ у насъ обыкновенно говорится: это стремленіе къ злу... И если оно существуетъ въ обществѣ, то не ищите въ немъ добрыхъ дѣлъ: каждое дѣло не будетъ идти изъ добраго источника, а каждое дѣло будетъ только выгоднымъ дѣломъ.

— Да-съ!—вскричалъ Крамковъ, быстро вскочивъ съ окна и подбѣгая къ князю;—всякое доброе дѣло безъ выгоды—это глупое дѣло-съ; оно приноситъ вредъ тому, кто его дѣлаетъ. Это ясно какъ день и не требуетъ опроверженій.

Князь всплеснулъ руками. Все лицо его покраснѣло.

— Да развѣ это будетъ доброе дѣло?.. Это будетъ выгодное дѣло!—вскричалъ онъ и закашлялся нервно, сосредоточенно.

А Крамковъ продолжалъ свои возраженія, нисколько не смущаясь болѣзненнымъ припадкомъ князя.

— Да-съ, это будетъ разумное и вдвойнѣ выгодное дѣло, выгодное для себя и для другаго. И всякое дѣло безъ выгоды есть ложь и глупость...

Князь пересилилъ кашель и порывисто схватилъ его за руку.

— Послушайте,—заговорилъ онъ умоляющимъ, груднымъ, надорваннымъ шепотомъ,—да гдѣ же будетъ сердце, чувство?.. гдѣ же будетъ братская любовь?

— Они будутъ тамъ, гдѣ имъ слѣдуетъ быть-съ: въ глупомъ, пошломъ романтизмѣ, отъ котораго теперь общество мало-по-малу начинаетъ освобождаться...

Князь схватилъ его за обѣ руки и посмотрѣлъ на него нѣсколько мгновеній. Крамковъ съ неудовольствіемъ, нахмурясь, выдернулъ свои руки.

— Да развѣ можетъ оно освободиться отъ чувства?—спросилъ князь и тихо засмѣялся.—Что идетъ впереди: умъ или чувство?—спросилъ онъ тѣмъ же груднымъ шопотомъ, но голосъ его былъ слышенъ во всѣхъ углахъ комнаты. Онъ остановился на мгновеніе и началъ еще рѣзче, слышнѣе.—Чувство ведетъ насъ всюду, доброе или злое чувство, себялюбивое или братолюбивое. Я дѣлаю добро, потому что это мнѣ пріятно; я дѣлаю зло, потому что это доставляетъ мнѣ наслажденіе. Дѣлать добро выгодно, вы это правду сказали...—и онъ опять тихо засмѣялся,—выгодно для тѣхъ, кто вѣритъ въ будущую жизнь, въ свѣтлый міръ правды и любви. Но только они, эти вѣрующіе и добрые, никогда не думаютъ о такой выгодѣ, и прекрасно поступаютъ. Повѣрьте, что они, эти добрые, если имъ суждено побороть злое общественное начало, они устроятъ міръ на чувствѣ, а не на разумѣ, на братской любви, тепломъ участіи всѣхъ ко всѣмъ, и это участіе, въ которомъ не будетъ забытъ ни одинъ изъ несчастныхъ и глупыхъ, свяжетъ міръ крѣпче всякихъ выгодъ, возбуждающихъ корысть, зависть, всякіе звѣрскіе инстинкты и всякую мерзость.

Я передаю все это, разумѣется, своими словами, приблизительно, оформировывая ихъ смыслъ насколько можно, но вотъ что я помню хорошо и чего никогда, мнѣ кажется, не забуду: это задушевную силу, вдохновенный пророческій

голосъ, какимъ онъ говорилъ. Всѣ переглянулись какъ бы ища поддержки другъ у друга и всѣ уставились на Крамкова какъ на оппонента, на силы котораго были возложены всѣ надежды. Но Крамковъ молчалъ какъ будто и на него подѣйствовалъ тонъ мягкаго, тихаго говора князя, тонъ прочувствованныхъ, задушевныхъ убѣжденій. Послѣ мгновенной паузы князь снова началъ еще болѣе тихимъ, откровеннымъ, внушительнымъ голосомъ, взявъ невольно Крамкова за петельку сюртука и нервно перебирая ее пальцами.

— Вы подумайте, другъ мой, посмотрите на нынѣшнее наше общество... Вѣдь вы слѣдите за его жизнью?

— Еще бы, конечно! — пробормоталъ хвастливо Крамковъ и передернулъ плечами.

— Ну, вы посмотрите куда оно идетъ? Къ смягченію нравовъ, къ человѣчности всѣхъ общественныхъ отношеній... Неужели вы полагаете, что эта человѣчность совмѣстима съ конкурренціей, съ борьбой за существованіе? Вѣдь въ благоустроенномъ обществѣ для каждыхъ рукъ и для каждой головы найдется мѣсто, гдѣ эти руки и головы будутъ полезны. Вотъ въ Америкѣ, я недавно читалъ, слѣпые набираютъ и издаютъ цѣлую газету; такъ она и называется *Газета Слѣпыхъ*. А какъ вы думаете, эта забота о меньшемъ братѣ будетъ создана разумомъ или чувствомъ? Вѣдь разумъ-то прямо говоритъ намъ, что слѣпой и всякій уродъ, а въ особенности глупый лѣнтяй есть непроизводительный членъ общества, его надо выбросить, уничтожить, какъ Спартанцы уничтожали слабыхъ, больныхъ или уродливыхъ дѣтей. А на его мѣсто найдется,—замѣтьте, всегда найдется—крѣпкій, здоровый и неглупый человѣкъ, производительный человѣкъ, который съ пользой будетъ занимать это общественное мѣсто, съ пользой для цѣлаго общества и съ наибольшею выгодою для него... Да! да, да! милый

другъ мой, съ наибольшею выгодой; а вѣдъ это и дорого! Не правда ли, это-то и дорого?..

И онъ снова засмѣялся своимъ тихимъ, незлобивымъ смѣхомъ и затѣмъ быстро оставилъ петельку Крамкова; схватилъ себя за голову и потянулся весь подъ наплывомъ тяжелаго чувства.

— Ахъ! въ томъ-то и бѣда, друзья мои, въ томъ-то и бѣда, что мы думаемъ и не додумываемся! Въ томъ-то и горе, что мы всѣ больше заботимся о самихъ себѣ, а не о другихъ. Если кто не кричитъ, какъ воронъ въ баснѣ Флоріана и не мѣшаетъ намъ жить, какъ сумасшедшій, то мы и не хлопочемъ о немъ: «что дескать мнѣ за дѣло, что онъ хромой, слѣпой, больной, уродъ нравственный и физическій... у меня своя семья есть, о ней я и забочусь»... Мы знаемъ притчу о милостивомъ Самарянинѣ, а развѣ неразвитой человѣкъ, не просвѣщенный, этотъ нравственный уродъ не тотъ же лежащій на дорогѣ, израненый, безпомощный старикъ! Вѣдь его цѣлое общество безъ жалости бросаетъ на большой дорогѣ, да притомъ еще въ темную ночь... Да что *бросаетъ*, оно дѣлаетъ еще того хуже, оно поступаетъ съ нимъ какъ разбойникъ... Нѣтъ, мои дорогіе, грѣхъ на насъ всѣхъ умныхъ людяхъ, на насъ, что хвастаемъ своимъ умомъ и кричимъ: «надо жить разумомъ».

— Позвольте же, однако,—вдругъ прервалъ его Неключиковъ, — вѣдь въ природѣ же устраиваются общества; вѣдь они же того... идутъ... впередъ... вонъ хоть муравьи что ли... Ну, отчего же-съ имъ не нужно разума... а мы все должны сами устраивать... отчего-съ?

— Да оттого, другъ мой,—сказалъ князь, — оттого что намъ данъ умъ отъ Господа, а отъ Его непосредственнаго руководительства мы давно отошли. Разумъ и науки, то-есть знаніе, даны людямъ, но только не для того, чтобы мы заглушали ими наши симпатіи или антипатіи. Нѣтъ,

вовсе нѣтъ. Міръ животныхъ тѣмъ и силенъ, что ведется своими симпатіями и антипатіями...

Князь замолчалъ, посмотрѣвъ на всѣхъ добрыми любящими глазами и снова тихо заговорилъ.

— Послушайте, вѣдь вотъ мы здѣсь также составляемъ общество. Давайте, попробуемте, сдѣлаемте опытъ. Поживемте хоть одинъ день, хоть нѣсколько часовъ по человѣчески, попробуемте полюбить другъ друга какъ самихъ себя, чтобы наши дѣла, мысли, желанія все бы было дружное. Поддержимте другъ друга въ борьбѣ съ лѣнью, ложью и всякою мерзостью. Будемте дѣйствительно братьями-товарищами, хоть не надолго, и если это намъ удастся и выйдетъ прокъ, то будемте такъ жить и дальше. Рѣшимтесь, попробуемте, давайте руки скорѣе на крѣпкій братскій союзъ, въ общую родную семью.

Первымъ отозвался на зовъ Горненко. Онъ самъ быстро подошелъ къ князю, обнялъ его, крѣпко поцѣловалъ и, не выпуская руки князя, подалъ другую Крамкову, притянулъ его къ себѣ и также поцѣловалъ.

И всѣ старшіе точно институтки обрадовались новымъ отношеніямъ и наперерывъ другъ предъ другомъ старались показать, что они братья, что они любятъ другъ друга. Это тѣмъ болѣе было легко, что при этомъ всякія разсужденія упразднялись. Люби и не думай, коротко и просто.

Мы, «малыши», сначала заразились ихъ примѣромъ, и я на другой же день съ важностью подошелъ къ Гусику.

— Давай, Вася,—сказалъ я,—будемъ братьями, будемъ любить другъ друга, не будемъ ссориться.

Гусикъ посмотрѣлъ на меня съ недоумѣніемъ, своими тупыми глазами, а я, передразнивая Горненко, который наканунѣ поцѣловалъ князя, притянулъ Гусика къ себѣ и крѣпко поцѣловалъ. Послѣ чего Гусикъ, нисколько не убѣж-

денный этимъ поцѣлуемъ въ пользѣ братства, безо всякой церемоніи вытеръ губы грязнымъ кулакомъ.

Какъ это ни странно, но князь сдѣлался центромъ, замѣнилъ старшимъ Кудинова. Всѣ спорившіе шли къ нему за разрѣшеніемъ. Къ нему обращались постоянно за разъясненіями, и только немногіе остались въ сторонѣ. Они прижались и выжидали. Ученіе князя имъ очевидно крѣпко не нравилось. Другимъ самолюбіе не позволяло сдѣлать крутой вольтъ-фасъ и уйдти въ лагерь со знаменемъ, которое имъ было до сихъ поръ необычно. Третьи молчали и и ждали: куда подуетъ вѣтеръ.

Впрочемъ, все это сдѣлалось не вдругъ. Съ горяча обрадовались перемѣнѣ, и лишившись своего вожака, всѣ довольно дружно примкули къ князю; но когда онъ принялся проводить свою систему на практикѣ, то многіе покосились и отшатнулись.

Прежде всего онъ просилъ и требовалъ правды, — но какъ же было ее водворить, когда весь пансіонъ самъ собой дѣлился до сихъ поръ на два лагеря? Въ одномъ стояли пансіонеры, то-есть опять старшіе и мы, малыши, подъ ихъ руководствомъ; въ другомъ, всѣ учителя и надзиратели, вплоть до «почтаря». Смотрѣть на нихъ какъ на враговъ считалось обязанностью, похвальнымъ дѣломъ. Лгать и обманывать ихъ требовала вся постановка и собственная выгода.

Князь началъ съ разбора: полезно ли просвѣщеніе или нѣтъ? Но тутъ онъ встрѣтилъ жестокій разладъ и отпоръ.

Всѣ согласились, разумѣется, что ученіе свѣтъ а неученіе тьма.

— Но позвольте же,—говорилъ басомъ Колотуровъ,— малый лѣтъ пятнадцати, самый прилежный изо всѣхъ пансіонеровъ, нервный и страшный кутила, съ умнымъ, скуластымъ, широкимъ, слегка рябоватымъ лицомъ, краснымъ носомъ и

сѣрыми маленькими глазками,—позвольте, да развѣ наше пансіонское ученіе есть ученіе?

Князь молчалъ. Мы всѣ смотрѣли на него вопросительно.

— Это-съ не ученіе, а столоверченіе,—продолжалъ Колотуровъ.—Вы посмотрите, развѣ есть слово живое хоть въ одномъ учебникѣ. Все это—Слово о полку Игоревѣ. Чортъ бы ихъ побралъ съ ихъ ученіемъ! Развѣ нужно для члена общества то, чѣмъ они насъ наполняютъ?... И все это потому только, что прапрадѣдушка Иванъ учился такъ, прадѣдушка Иванъ учился такъ, дѣдушка Иванъ учился такъ, батюшка Иванъ учился такъ, такъ и ты Иванъ-болванъ учись такъ, ибо стыдно, замѣтьте пожалуста, стыдно этого не знать, потому что это всѣ знаютъ. Въ которомъ году было открытіе Америки, позвольте спросить васъ... Я говорю серьезно. Кому тепло или холодно оттого, что я не буду знать, когда была открыта Америка или когда царствовали Хильдерикъ и Лудовикъ Косноязычный, чтобъ ихъ горой росперло! Да, позвольте васъ спросить...

— Тебя,—поправилъ кротко князь.

— Ну, тебя, меня, ихъ, все равно... Развѣ они доподлинно знаютъ, когда было открытіе Америки, развѣ принятое лѣтосчисленіе доказано? Вы скажете: важна хронологія сравнительная. Да что же она показываетъ и доказываетъ? Ровно ничего! Тьфу и больше ничего... Въ одно время идетъ здѣсь суматоха, война, а рядомъ въ государствѣ миръ и покой. Это въ одинъ годъ. Конечно, если бы для всего этого нашли объясненія, показали бы мнѣ какъ все это развивалось, вязалось одно съ другимъ, а то... тьфу, тьфу и тьфу!..

И онъ трижды энергически плюнулъ.

— И вотъ всю эту чепуху насъ заставляютъ проходить, ибо власть имѣютъ заставить насъ проходить. И вы утверждаете, что это не враги наши, что мы должны покорно подставлять имъ наши головы, для забиванія ихъ всякою чепу-

хой, которую они сами не могутъ разжевать и переварить, что мы не можемъ съ ними хитрить и обманывать ихъ.

— Другъ мой,—вскричалъ князь,—обманывать никого не слѣдуетъ. Если тебѣ не нравится то, чему тебя учатъ, не учись и заяви, почему ты не учишься, почему ты считаешь ненужнымъ это ученіе...

— Да кому же я заявлю, позвольте узнать?

— Какъ кому? Учителю, инспектору, содержателю.

Колотуровъ громко захохоталъ и многіе прыснули.

— Нѣтъ, mon cher, — закричалъ Бисюгинъ, вскочивъ быстро съ окна и подбѣгая къ князю,—ты увлекаешься, ты всегда увлекаешься! Это невозможно, повѣрь, невозможно.

— Попробуй-ка заявить,—говорилъ, между тѣмъ Колотуровъ со смѣхомъ Крамкову,—попробуй заявить, что это чепуха, такъ тебѣ такую чепуху покажутъ, что ты и мѣста не найдешь на всемъ земномъ шарѣ. Заявить!.. Нѣтъ ужь,— сказалъ онъ, подходя къ князю,—вы эту проповѣдь-то оставьте, намъ она будетъ непонятна, ибо мы,—и онъ уперъ пальцемъ въ грудь, а другою рукой указалъ на всѣхъ,—мы отъ міра сего, а вы «не отъ міра сего», такъ этакъ и разсуждаете... Заявить! Хххха!

И онъ отвернулся, энергически пожалъ плечами и махнувъ рукой, пошелъ вонъ.

X.

Прошло еще нѣсколько времени, въ которое у насъ царствовала полная анархія. Князь былъ, повидимому, для всѣхъ симпатиченъ, но, кажется, немногіе раздѣляли его мнѣнія и желали принадлежать къ числу «не отъ міра сего».

Между тѣмъ, разъ утромъ Бисюгинъ принесъ извѣстіе, что Кудинову лучше, что онъ былъ въ больницѣ и видѣлъ

его. И дѣйствительно, чрезъ нѣсколько дней Кудинова выпустили. Старшіе окружили его, каждый лѣзъ взглянуть на него, какъ на что-то новое, интересное. Желтый, худой, онъ всѣмъ улыбался привѣтливо, но эта улыбка была улыбка самолюбія. Кудинову было пріятно сознавать себя предметомъ общаго вниманія.

Когда успокоилось это движеніе и около Кудинова остались только Бисюгинъ и Крамковъ, къ нему медленно подошелъ князь.

— Позвольте поздравить васъ съ выздоровленіемъ,— сказалъ онъ, протягивая ему руку.—Отъ души радуюсь, тѣмъ болѣе... что я былъ, можетъ быть, невольною причиной вашей болѣзни...

Но рука князя такъ и осталась протянутою. Лицо Кудинова какъ будто сильнѣе пожелтѣло, брови сдвинулись, глаза сверкнули и забѣгали.

— Я, ваше сіятельство,—сказалъ онъ, медленно опуская руки въ свои широкіе шаровары,—имѣю обыкновеніе не давать руки тѣмъ людямъ, которые позволяютъ себя бить по рожѣ.

Лицо князя приняло мучительно грустное выраженіе. Онъ пожалъ плечами, отвернулся и тихо вышелъ изъ комнаты.

— Ну, ужъ ты слишкомъ!—заговорилъ вдругъ Бисюгинъ, быстро поправляя pince-nez и отчаянно ероша волосы.—Ты ужъ слишкомъ нападаешь на него. Онъ добрый малый. Немножко fanatisé и... страшный идеалистъ. Онъ «не отъ міра сего».

Кудиновъ ничего не отвѣтилъ. Онъ еще сильнѣе нахмурился и быстро отвернувшись, пошелъ въ классы.

Вечеромъ мы были одни съ княземъ въ дортуарѣ. Онъ снова разбирался въ своей шкатулкѣ. Свѣчка горѣла передъ нимъ на кровати. Князь сидѣлъ, а я стоялъ, облокотившись на его колѣни. Онъ показывалъ мнѣ небольшую литографію;

на ней былъ представленъ ангелъ, уносящій младенца въ небо.

— Это ангелъ хранитель,—говорилъ Костя.—При каждомъ изъ насъ есть ангелъ хранитель, который сторожитъ наше тѣло и душу и не дозволяетъ злымъ духамъ и помысламъ овладѣвать нами, если только мы сами этого не желаемъ.

Дверь отворилась и вошелъ Бисюгинъ.

— Костя,—сказалъ онъ, подходя къ князю,—мы желаемъ отпраздновать выздоровленіе Кудинова и устраиваемъ складчину. Я пришелъ тебѣ предложить. Надѣюсь, ты не откажешься участвовать въ нашей общей радости о выздоровленіи товарища.

Онъ покосился на меня, снявъ pince-nez, и протирая его новымъ батистовымъ платкомъ, сѣлъ на кровать подлѣ князя.

Князь не вдругъ отвѣтилъ. Онъ положилъ литографію въ шкатулку, положилъ всѣ вещи, вынутыя оттуда, заперъ ее и потомъ заговорилъ тихо, своимъ задушевнымъ голосомъ, взявъ Бисюгина за руку.

— Ты знаешь и не сомнѣваешься, что я радъ такъ же, какъ и всѣ вы, выздоровленію товарища, но... мое участіе въ вашей пирушкѣ будетъ неправильно, не говоря о томъ что это будетъ ему непріятно: онъ не можетъ хладнокровно видѣть меня.

— О, нѣтъ!—прервалъ его Бисюгинъ,—ты ошибаешься, ты жестоко ошибаешься. Мы всѣ, кажется, успѣли, то-есть намъ удалось убѣдить его, что ты добрый, честный товарищъ.

— А затѣмъ,—продолжалъ князь,—скажи мнѣ: ваши пирушки дѣлаются съ вѣдома директора, инспектора или надзирателей?

Бисюгинъ громко захохоталъ, приподнявъ вверхъ свою курчавую голову.

— Quelle naiveté, mon cher! Это, напротивъ, дѣлается en grand secret...

И онъ опять покосился на меня.

— Въ такомъ случаѣ, другъ мой,—сказалъ князь,—я отказываюсь. Я ничего не хочу дѣлать втайнѣ.

Бисюгинъ пожалъ плечами, немного помолчалъ и похлопалъ нога объ ногу.

— J'espere, mon cher,—сказалъ онъ,—qu'au moins tu gardera notre secret. ...N'est-ce pas?

И онъ, мигая глазами, посмотрѣлъ на князя.

Князь схватилъ руку Бисюгина и крѣпко пожалъ ее.

— Pour moi,—сказалъ онъ,—dénoncer un secret, c'est plus vilain qu'en avoir.

Черезъ три дня, ночью, почти всѣ старшіе долго не приходили въ дортуаръ. Мы всѣ, малыши, знали, что старшіе кутятъ и преспокойно спали безмятежнымъ сномъ. Вдругъ мы всѣ были разбужены необыкновеннымъ и страшнымъ шумомъ и крикомъ, и почти вслѣдъ за этимъ, всѣ старшіе, толпой и давя другъ друга, ворвались, какъ бѣшеные.

Послѣдній вбѣжалъ Крамковъ, и быстро захлопнувъ дверь, заперъ ее на ключъ; затѣмъ бросился къ другой двери и также заперъ ее на ключъ.

Затѣмъ всѣ они, словно по командѣ, начали раздѣваться и ложиться.

Мы всѣ, малыши, вскочили на своихъ постеляхъ и смотрѣли во всѣ глаза. Кудиновъ, въ одномъ спальномъ бѣльѣ, быстро обѣжалъ наши кровати и, давъ каждому шлепанца или колотушку, грознымъ шопотомъ приказалъ:

— Ничего не видалъ, ничего не слыхалъ, а не то удавлю какъ кошку!!

Между тѣмъ въ двери отчаянно стучались. Слышались голоса Мавры и Никитича, и громче ихъ раздавался голосъ Карла Ивановича.

— Сейчасъ отворить. Я приказывай отворить!

Колотуровъ, взъерошивъ волосы, закутавшись въ одѣяло и притворяясь соннымъ, подошелъ и отворилъ дверь.

Карлъ Ивановичъ вбѣжалъ, какъ сумасшедшій.

— Што-ть? што-ть?.. я...

Нѣкоторые изъ насъ приподняли головы и фыркнули. И дѣйствительно хладнокровно нельзя было смотрѣть на жиденькую фигурку Карла Ивановича. Его сѣдые волосы были растрепаны, онъ былъ безъ галстуха, съ огромнымъ и приподнятымъ воротникомъ, въ форменномъ фракѣ, растегнутомъ на всѣ пуговицы, точно кто-нибудь его встряхнулъ за шиворотъ. Онъ прыгалъ направо и налѣво и долго ничего не могъ выговорить кромѣ: «Што-ть? што-ть?»

Къ довершенію комизма, онъ держалъ за хвостъ громадную королевскую селедку и размахивая ею по воздуху, кричалъ:

— Што-ть?.. што-ть?.. Это что-сь? Was ist das?.. А?

— Это, Карлъ Ивановичъ, селедка-съ,—кричитъ изъ угла Крамковъ, и мы всѣ дружно фыркаемъ.

— Селедка-сь?—отчаянно вскрикиваетъ Карлъ Ивановичъ.—А зачѣмъ селедка-сь попаль во второй классъ.. Какъ попалъ-сь селедка-сь во второй клясcь?!.

И онъ подбѣгаетъ къ Крамкову и отчаянно трясетъ селедкой передъ его носомъ.

— А это, Карлъ Иванычъ, сегодня утромъ,—хладнокровно объясняетъ Крамковъ,—Бисюгинъ завтракалъ и показывалъ намъ всѣмъ, какія того-съ... королевскія сельди... да одну уронилъ, а учитель пришелъ, мы и того-съ... о ней и забыли...

Карлъ Ивановичъ на нѣсколько мгновеній останавливается неподвижно, съ открытымъ ртомъ. Такого простого объясненія ему очевидно не представлялось.

— А зачѣмъ же здѣсь дверь запираль, а?.. Зачѣмъ на дортуаръ дверь запираль?

— Это для безопасности, Карлъ Иванычъ,—докладываетъ обстоятельно Колотуровъ.—Мы всегда запираемъ, потому что неравно злоумышленники придутъ и насъ всѣхъ перерѣжутъ...

— Да притомъ, нужно вамъ доложить,—подхватываетъ таинственно Флигинъ, наклоняясь къ Карлу Ивановичу,—что у насъ здѣсь не чисто.

— Нечисть! Кто нечисть, гдѣ нечисть? Вели чистить—и больше ничего,—говоритъ Карлъ Ивановичъ, съ презрѣніемъ бросая селедку въ уголъ комнаты и упираясь фертомъ обѣими руками въ бока.

— Здѣсь,—продолжаетъ Флигинъ еще таинственнѣе,—по дому домовой ходитъ, домовой, Карлъ Ивановичъ, Teufelgeist!

— Какой Teufelgeist? никакой Teufelgeist не существуетъ. Это просто пустяки, пустяки, пуффъ,—и онъ дуетъ на воздухъ сквозь растопыренные пальцы.—И чтобы никогда дверь не запираль, всегда должно дверь держать на-отперь. Слышь, я коварю и приказывай, чтобы дверь былъ на-отперь. И ты смотри, чтобы дверь былъ на-отперь,—приказывалъ онъ, обращаясь къ Анкундимычу, который отперъ настежь обѣ двери.

Затѣмъ Карлъ Ивановичъ торжественно пошелъ вонъ и мы думали, что уже всѣ нападенія кончены, какъ вдругъ онъ сдѣлалъ крутой оборотъ и снова бодро вбѣжавъ въ дортуаръ, быстро обратился къ намъ съ допросомъ:

— А зачѣмъ второй клясcъ запираль?.. Что дѣлалъ во второй клясcъ, а? Отвѣчать, что дѣлаль во второй клясcъ, а?

Мы всѣ молчали.

Очевидно, онъ хотѣлъ подѣйствовать на насъ неожиданностью запроса, не сообразивъ, что послѣ исторіи съ селедкой весь сюрпризъ неожиданности былъ потерянъ.

— Что-же молчить, а?—кричалъ онъ, грозно подступая къ намъ,—отвѣчайть!

— Мы не знаемъ, Карлъ Иванычъ, о чемъ вы насъ спрашиваете, — началъ Кудиновъ, — мы не знаемъ, кто и когда былъ во второмъ классѣ, мы всѣ спали здѣсь. А если теперь кто-нибудь былъ во второмъ классѣ, такъ это, должно-быть, домовой.

— Это духи, Карлъ Ивановичъ, — отозвался Неключиковъ. — Право духи-съ, это вѣрно духи-съ.

— Какой духи-съ! А зачѣмъ свѣчи горѣль? Это опять запиратель. Но мы все это завтра разберемъ, все разберемъ, какъ слѣдоваеть... Духи-съ!

И Карлъ Ивановичъ медленно и торжественно вышелъ изъ дортуара. Въ такой растрепанности чувствъ мы его еще никогда не видали. Да и было отчего: въ одиннадцатомъ часу ночи, когда пирушка была почти въ полномъ разгарѣ, онъ на цыпочкахъ, вмѣстѣ съ Мартыномъ и Никитичемъ, подкрался къ дверямъ второго класса.

Сквозь дверную щель виднѣлся огонь; двери были заперты. Онъ началъ изо всей силы стучать въ дверь, крича:

— Отворить, сейсчасъ отворить, я приказывай отворить!

Огонь погасъ, все смолкло.

— Слышить, сейчасъ отворить, я приказывай отворить! — кричалъ Карлъ Ивановичъ.

Между тѣмъ, въ классѣ шла быстрая возня втихомолку и вполголоса.

За печкой, въ самой печкѣ было углубленіе, неизвѣстно для чего, вѣроятно, просто изъ экономіи, для сбереженія кирпичей, ради кармана подрядчика. Въ это углубленіе быстро совались и прятались всѣ улики; въ одну минуту все было кончено. Бутылки, штофы, закуски, папиросы, все скрылось въ благодѣтельную нишу. Осталась только одна королевская селедка, которую кто-то впопыхахъ уронилъ на полъ.

Между тѣмъ, Карлъ Ивановичъ терялъ терпѣніе. Онъ

стучалъ въ дверь и неистовствовалъ; его голосъ превратился въ высокую жалобную фистулу.

— Отфо-ряй-ть, отфо-ряй-ть! — слышалось отчаянно за дверью. Въ это время Никитичъ надоумилъ, что, можетъ быть, другая дверь отперта, дверь, которая вела прямо изъ передней.

Бросились къ этой двери, но она также была заперта, и опять начались неистовые стукотня и крики.

— Отфоряйть, отфоряйть!

Наконецъ, опять Никитичъ надоумилъ, что отъ третьяго класса ключъ подходитъ къ этимъ дверямъ. Сейчасъ отрядили его за ключемъ. Но прежде Мартынъ сталъ на-сторожѣ у другой двери, въ которую только-что предъ тѣмъ успѣли всѣ старшіе проскользнуть и опрометью бросились въ дортуаръ. Кудиновъ заперъ дверь за послѣднимъ и ключъ положилъ въ карманъ.

Наконецъ, дверь отперли, вошли... Никого нѣтъ. Карлъ Иванычъ велѣлъ подать огня. Принесли огонь. Вездѣ пусто. Лавки сдвинуты. На столѣ ни соринки; только на полу валяется несчастная королевская селедка. Карлъ Ивановичъ обрадовался ей какъ Колумбъ Америкѣ. Онъ, какъ кошка, набросился на нее и схватилъ за хвостъ, показывая ее съ торжествомъ Никитичу и подошедшему Мартыну.

— Видишь, видишь! Здѣсь быль, здѣсь ѣль, здѣсь пиль,— на что, впрочемъ, Никитичъ посмотрѣлъ недовѣрчиво и покачалъ головой.

— Можетъ быть, давеча занесли какъ-нибудь, а я не доглядѣлъ,—сообразилъ онъ.

Но тутъ случилась вещь совершенно неожиданная. Вдругъ дверь, въ которую вошли всѣ трое, издала громкій звукъ: тэ-энъ. Никитичъ бросился къ ней, она оказалась запертою.

И опять Карлъ Ивановичъ разъяренно и неистово бро-

сился къ этой двери и началъ въ нее стучать лѣвымъ кулакомъ (правая рука была занята селедкой, которую онъ боялся выпустить изъ руки, думая, вѣроятно, что она исчезнетъ).

— Отфоряйть, отфоряйть!—кричалъ онъ въ изступленіи, но дверь не отворялась.

Мартынъ бросился къ другой двери, она также была заперта. Такимъ образомъ, трое сыщиковъ сами попались въ западню.

Они стучали, кричали; Мартынъ вмѣстѣ съ Никитичемъ пробовали даже высадить двери, но двери только трещали, а не подавались. Наконецъ, Мавра, услыхавъ этотъ неистовый шумъ и стукъ, встала въ юпкѣ, босикомъ, и приговаривая: «Помилуй насъ грѣшныхъ!», пришла со свѣчей и выпустила заключенныхъ.

Карлъ Ивановичъ, не выпуская селедки, тотчасъ бросился къ дортуарамъ; они были тоже заперты и опять стукъ и «отфоряйть!»

Послѣ этого легко ужъ можно представить себѣ тотъ градусъ изступленія, близкій къ помѣшательстку, въ которомъ онъ влетѣлъ къ намъ въ дортуаръ, съ королевскою селедкой въ правой рукѣ.

IX.

На другой день былъ формальный судъ и разбирательство.

Всѣхъ насъ собрали во второй классъ, который былъ больше другихъ. Пришелъ самъ «почтарь», явился Карлъ Ивановичъ, въ качествѣ обвинителя, явились Мартынъ, Анкудимычъ и Мавра, въ качествѣ свидѣтелей, явились даже трое учителей, вѣроятно, для большей торжественности. Спрашивали, допрашивали, кричали, топали, говорили, что

въ Сибирь упекутъ, но ничего не добились. Въ заключеніе почтарь, весь красный, поминутно ероша свои курчавые волосы, сказалъ намъ нѣчто въ родѣ спича; онъ говорилъ довольно краснорѣчиво, хотя краснорѣчіе его очень напоминало семинарскія хріи.

— Для чего мы живемъ? — восклицалъ онъ, — для добрыхъ дѣлъ, для блага вашей родины; какія же добрыя дѣла мы можемъ творить, когда въ насъ все будетъ испорчено, когда въ самой школѣ мы уже привыкли обманывать нашихъ руководителей и наставниковъ, когда мы въ этомъ святомъ, дѣвственномъ возрастѣ предаемся ночнымъ кутежамъ, пьянству, разврату.

— Друзья мои,—началъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, и въ голосѣ его задрожала задушевная нотка, — и я былъ молодъ, и меня тянуло на волю отъ скучныхъ книгъ, школьной дисциплины и душныхъ классовъ, но я помнилъ всегда одно: что я захвачу съ собой на школьной скамейкѣ, то пойдетъ со мной на всю жизнь, и я велъ себя безупречно,—и онъ ударилъ себя въ грудь,—я старался чтобы никакое безнравственное пятно не омрачило чистоты моей юной совѣсти; будьте же и вы чисты яко голуби, и Богъ поведетъ васъ въ жизни и содѣлаетъ добрыми, полезными служителями общества.

Сказавъ это, онъ махнулъ рукой, быстро отвернулся и вышелъ; насъ распустили.

Въ этотъ же день намъ наняли еще дядьку, браваго солдатика Мироныча, который всегда ходилъ какъ палка, вытянувшись въ струнку, все дѣлалъ по темпамъ, былъ глупъ насквозь и около, и носилъ громадные усы и бакены.

Наняли намъ также еще надзирателя или, собственно говоря, Карлу Ивановичу помощника, низенькаго, худенькаго сутуловатаго человѣка, какого-то канцеляриста. Черненькій, гладко обстриженный, съ маленькими красными,

постоянно мигавшими, глазками и оттопыренными губами, онъ ходилъ за нами ходуномъ, слѣдилъ день и ночь и постоянно дѣлалъ замѣчанія отрывисто и сердито; всѣ наши старанія возмутить его или вывести изъ себя оставались безъ успѣха. Мы его прозвали «Чернымъ Котомъ».

На разбирательствѣ всего болѣе поразило насъ то обстоятельство, что «почтарь» то и дѣло ссылался на князя и превозносилъ его скромность и невинность.

— Вотъ вамъ примѣръ,—сказалъ онъ, показывая на князя,— которымъ вы можете пользоваться. Тихій, скромный, ни въ какія шалости не мѣшается, ни въ какихъ пирушкахъ не участвуетъ, хотя его и завлекаютъ нѣкоторые...

И онъ выразительно посмотрѣлъ на Бисюгина и потомъ вдругъ отставивъ ногу, началъ грозить намъ пальцемъ:

— Вы не думайте, чтобъ я ничего не зналъ: я все знаю, все знаю, все терплю... но берегитесь, когда мое терпѣніе лопнетъ!..

Послѣ разбирательства, когда я ходилъ въ корридорѣ съ кускомъ чернаго хлѣба, ко мнѣ подошли Кудиновъ съ Бисюгинымъ. Кудиновъ схватилъ меня за руку и утащилъ въ дортуаръ; тамъ, быстро присѣвъ предо мной на корточки и крѣпко держа меня за руки, началъ грознымъ шепотомъ:

— Слушай ты, кудлашка, говори сейчасъ, кто былъ еще въ дортуарѣ, когда Бисюгинъ приглашалъ князя на пирушку.

— Никого не было.

— Врешь! говори, кто былъ!

И онъ еще сильнѣе сжалъ мнѣ кулаки, причемъ раздавилъ хлѣбъ, который я держалъ въ рукѣ.

— Право, никого не было...

И я готовъ былъ заплакать, какъ вдругъ у меня мелькнуло воспоминаніе, что кто-то дѣйствительно тихонько входилъ въ дортуаръ и вскорѣ опять вышелъ, но кто— этого я не замѣтилъ, увлеченный литографіей, которую

предъ тѣмъ мнѣ показывалъ князь, и приглашеніемъ, которое ему дѣлалъ Бисюгинъ.

— Кто же входилъ? Ну, говори!

И онъ такъ сдавилъ мнѣ кулаки, что у меня невольно выступили слезы, и я прошепталъ чуть не плача:

— Не знаю!

Кудиновъ оставилъ мои руки, и уставивъ на меня свирѣпый, немигающій взглядъ, его сѣро-зеленыхъ глазъ, погрозилъ мнѣ пальцемъ, постучавъ имъ мнѣ по лбу.

— Смотри, мзгля, пришибу, слышишь?

Затѣмъ быстро приподнялся и отрывисто, шопотомъ проговорилъ Бисюгину:

— Кутенокъ вретъ со страху. Его сіятельство, ханжа и фискалъ, соединилъ въ себѣ всѣ симпатичныя свойства.

Онъ съ омерзѣніемъ плюнулъ и быстро вышелъ вонъ вмѣстѣ съ Бисюгинымъ.

Я, помню, стоялъ нѣсколько минутъ неподвижно когда они ушли.

«Неужели, Костя, думалъ я, такой хитрый и скверный? Нѣтъ, нѣтъ, не можетъ быть. Онъ такой добрый, правдивый, славный». И повторивъ въ душѣ, что все это вздоръ, я пошелъ воровать новый кусокъ хлѣба.

Вечеромъ мы одни съ Гусикомъ возились въ дортуарѣ, устанавливая общими силами самодѣльную мельницу изъ лучинокъ и драночекъ. Мы такъ были погружены въ нашу работу и сальный огарокъ такъ плохо освѣщалъ нашу постройку, что мы не замѣтили, какъ вошли Кудиновъ и Колотуровъ.

Они оба быстро подошли къ кровати князя, Кудиновъ нагнулся и вынулъ изъ ящика кровати шкатулку князя.

— Велика, проклятая, не унесешь,—сказалъ онъ, повертывая шкатулку.—Подай свѣчку и выгони малышей,—сказалъ онъ Колотурову.

Колотуровъ подошелъ къ намъ, взялъ свѣчку и, слегка хлопнувъ Гусика по затылку, закричалъ сердитымъ шопотомъ:

— Пошли вонъ!.. Стойте у дверей и сторожите, чтобы никто, слышите, никто не вошелъ!

Мы вышли вонъ.

Чрезъ четверть часа Кудиновъ вышелъ изъ дортуара; озираясь, какъ волкъ; за нимъ шелъ Колотуровъ.

Мы снова вошли въ дортуаръ. Свѣчка горѣла попрежнему на полу. Постоявъ нерѣшительно нѣсколько мгновеній, мы съ новымъ жаромъ принялись за работу.

Тихо вошелъ князь. Онъ каждый вечеръ разбирался въ своей шкатулкѣ. Мы пріостановились и наблюдали за нимъ. Онъ отворилъ ящикъ и ахнулъ. Мы оба съ Гусикомъ быстро подошли къ нему, онъ сидѣлъ на кровати и дрожащими руками держалъ на колѣняхъ шкатулку; она была взломана, крышка пробита. Все въ ней скомкано, смято, исковеркано, изорвано.

Князь торопливо, дрожа всѣмъ тѣломъ, выбиралъ, изъ груды обрывковъ, лоскуточки шарфика его любимой сестры, шарфикъ былъ весь изорванъ, растеребленъ. Костя собралъ всѣ лоскутки, какъ святыню и долго держалъ, прижавъ къ губамъ.

Изъ глазъ его катились крупныя слезы.

— Люба, дорогая, другъ мой небесный,—шепталъ онъ,— прости имъ, не вѣдаютъ, что творятъ. — Костя поставилъ шкатулку и перекрестясь, тихо опустился на колѣни предъ кроватью:—Господи, Свѣте милосердый, отпусти имъ!

Онъ не могъ долѣе молиться, слезы душили его. Онъ припалъ къ подушкѣ и зарыдалъ какъ ребенокъ.

Дверь изъ корридора отворилась, вошли: Кудиновъ, Крамковъ, Бисюгинъ, Флигинъ, Колотуровъ.

Князь быстро поднялся съ колѣнъ и началъ укладывать всѣ обрывки въ шкатулку.

Кудиновъ вышелъ на средину комнаты и гордо подбоченился.

— Что, ваше сіятельство, у васъ, кажется, маленькіе безпорядочки случились? Это-съ я сдѣлалъ. Я-съ, рабъ Божій Сергѣй Кудиновъ. Я осмѣлился потрепать немножко ваши княжескіе цацы, супирчики и сувенирчики, розовенькія ленточки и шарфики съ нѣжненькихъ шеекъ. Чтоже-съ ваше сіятельство, извольте отправляться и доносить на меня. Скатертью дорога-съ! — Кудиновъ указалъ на двери.—Это будетъ благороднѣе немножко, чѣмъ доносить на своихъ товарищей за то, что они вздумали безъ вашего спроса пирушку устроить. Извольте же идти, ваше сіятельство, вы теперь въ экстазѣ-съ, въ слезахъ. Распустите нюни предъ Иваномъ Михайловичемъ, скажите «обидѣли!», авось меня и выгонятъ.

Князь, который лежалъ, уткнувъ лицо въ подушку, вдругъ приподнялся. Лицо его было красно, глаза сверкали слезами. Онъ заговорилъ какимъ-то звучнымъ, груднымъ, надорваннымъ голосомъ:

— Кудиновъ, я не клянусь, потому что грѣхъ, но вотъ вамъ свидѣтель, — и онъ указалъ на образъ, — Спаситель!.. никогда я не доносилъ ни на кого изъ васъ... А это... это... что вы... изорвали у меня... моей Любы...

Онъ не могъ продолжать. Новый пароксизмъ плача завладѣлъ имъ. Онъ опять упалъ на подушку, зарыдалъ истерически, и вдругъ отчаянный припадокъ кашля заставилъ его вскочить. Костя схватился за грудь, какъ бы силясь удержать душившій его кашель. Онъ прижалъ платокъ къ губамъ, а на ярко-бѣломъ платкѣ выступило небольшое кровавое пятно. Но оно расплывалось болѣе и болѣе по мѣрѣ усиленія кашля. Наконецъ, Костя вскочилъ и выбѣжалъ вонъ.

Гусикъ, стоявшій все время посреди комнаты и смотрѣв-

шій изъ подлобья на эту сцену, жуя какую-то веревочку. вдругъ бойко отправился вслѣдъ за княземъ.

— Куда, куда!—неистово закричалъ на него Кудиновъ, куда, пащенокъ!

Гусикъ вернулся.

— Пришибу! слышишь, возьму и пришибу...

— У него... того... кро-овь...—прошепталъ Гусикъ.

— А вотъ я тебѣ морду всю разобью, и у тебя тоже будетъ кро-овь, овца паршивая.

Я хорошо помню, меня тогда поразило одно обстоятельство: никто изъ большихъ не двинулся за княземъ, и всѣ разошлись молча. Помню также, что у меня ноги точно приросли къ полу, руки похолодѣли, сердце страшно билось, и вся комната какъ будто слегка покачивалась.

XII.

На другой день, послѣ первой перемѣны, насъ, трехъ малышей, позвали къ Александрѣ Алексѣевнѣ.

— Вы извольте сидѣть здѣсь,—сказала она.—Вамъ нечего со старшими водиться, добру не научитесь. Гдѣ ваши книги? Принесите сейчасъ и садитесь здѣсь.

Мы принесли и засѣли.

Когда пришли учителя, «Черный Котъ» явился за нами.

— Вы, Евсигней Петровичъ,—обратилась къ нему Александра Алексѣевна,—не давайте имъ говорить со старшими. Надо хоть маленькихъ спасти отъ этой язвы.

— Хорошо-съ,—сказалъ «Черный Котъ».

За обѣдомъ между нами и старшими сѣлъ тотъ же «Черный Котъ». Князя не было. Старшіе говорили вполголоса. Бисюгинъ, обыкновенно разговаривавшій немолчно и докторально, то съ товарищами, то съ Александрой Алексѣевной,

то съ Михаиломъ Ивановичемъ, теперь сосредоточенно и упорно молчалъ.

Мнѣ пришлось сидѣть возлѣ «Чернаго Кота».

— Евсигнѣй Петровичъ,—спросилъ я шопотомъ послѣ втораго блюда,—что съ княземъ Костей, отчего его нѣтъ?

— Сидите смирно! чего вамъ?—фыркнулъ «Котъ».—Князь боленъ, въ больницѣ лежитъ.

Вечеромъ насъ опять усадили у Александры Алексѣевны, и затѣмъ, послѣ ужина, «Черный Котъ» отвелъ въ дортуаръ.

Въ дортуарѣ было поставлено въ углу большое изорванное вольтеровское кресло, изъ котораго торчали мочалки; его стащили съ чердака и усадили въ него Мироныча. Онъ долженъ былъ спать въ этомъ креслѣ до полночи. Въ полночь его долженъ былъ смѣнить Никитичъ.

Чрезъ часъ Миронычъ храпѣлъ уже свѣсивъ голову. Подушка выпала изъ-подъ головы и шлепнулась на полъ.

Кудиновъ всталъ съ постели, молча толкнулъ Колотурова и махнулъ ему рукой.

Колотуровъ также всталъ съ постели.

Тихо, безъ шума, вдвоемъ они перетащили старый тюфякъ, который лежалъ въ углу, за платянымъ шкафомъ. Разостлали тюфякъ у ногъ Мироныча, положили подушку, затѣмъ схватили его за ноги и вдругъ разомъ дернули.

— У-мъ, бу-умъ! Ф-фы!—зафыркалъ и замахалъ Миронычъ.

Бисюгинъ подскочилъ и схватилъ за заднія ножки вольтеровское кресло.

— Тащите,—прошепталъ онъ, махнувъ впередъ головой.

Кудиновъ съ Колотуровымъ снова схватили Мироныча за ноги и дернули. Бисюгинъ въ то же время опрокинулъ вольтеровское кресло и Миронычъ, вытряхнутый изъ своей траншеи, соскользнулъ по наклонной плоскости и какъ разъ попалъ на разостланный тюфякъ.

— Въ зурры... зуры... въ зурры, валяй!.. — забормоталъ онъ съ просонья и приподнялся на тюфякѣ, отчаянно размахивая руками. Затѣмъ опять свалился и захрапѣлъ.

— Въ зурры... въ зурры, валляй!.. передразнивалъ Колотуровъ, также отчаянно махая руками.

Мы всѣ зажимали рты, прыскали и фыркали подъ одѣялами.

Наконецъ, смолкло фырканье, и всѣ заснули. Не спалось одному мнѣ. День, проведенный необычно, подъ строгою ферулой постоянно ворчавшей и ко всему придиравшейся Александры Алексѣевны, а тутъ еще болѣзнь Кости. Я уже началъ засыпать, какъ вдругъ представился мнѣ князь блѣдный, весь въ крови... Я вздрогнулъ, сердце забилось тоскливо и безпокойно.

Проворочавшись еще съ полчаса на постели, я не могъ дольше выносить. Всталъ, надѣлъ панталоны, туфли и тихонько отправился въ больницу.

Въ больницѣ было три кровати; на одной изъ нихъ лежалъ Костя. Въ изголовье у него стоялъ маленькій столикъ съ ночникомъ, который бросалъ слабый свѣтъ на спящаго. Вся голова и грудь его были въ тѣни.

Сердце мое сжалось. Мнѣ показалось, что Костя уже умеръ. На цыпочкахъ тихо подошелъ я къ кровати.

Костя пошевелился, повернулся но мнѣ и быстро приподнялся

— Дѣтка, что ты?!..

У меня сдавило горло. Я бросился къ нему на грудь и зарыдалъ, стараясь удерживать слезы и всхлипывая.

— Что съ тобой, родной мой?.. Тише! не тронь мнѣ грудь... здѣсь мушка!..

— Костя!—сказалъ я сквозь слезы,—мнѣ показалось, что ты умеръ.

— Такъ что же, дружокъ? Вѣдь мы всѣ должны умереть.

— Костя,—сказалъ я сквозь слезы,—какіе они злые! Зачѣмъ они обидѣли тебя?!...

— Не осуждай, не осуждай!—заговорилъ онъ торопливымъ шопотомъ. — Кто можетъ знать въ какомъ ненавистномъ видѣ я имъ кажусь? Кто можетъ ихъ разувѣрить, что не я донесъ на нихъ, и кто можетъ сказать, что все это не сдѣлано по волѣ Того, Кого мы не должны никакъ осуждать. Можетъ-быть всего этого не случилось бы, еслибы я не любилъ такъ всѣ эти мелочи. Не любилъ... платочка... моей Любы.—Голосъ его задрожалъ.—Ты видишь, прибавилъ онъ,—я былъ мелочникъ... вотъ...

Но онъ не кончилъ, вдругъ закашлялся, уткнувъ голову въ подушку, и нѣсколько разъ махнулъ на меня рукой.

Я догадался, что онъ гонитъ меня прочь, изъ боязни, что меня увидятъ здѣсь, въ больницѣ. Чтобы не безпокоить его, я вышелъ изъ комнаты и почти бѣгомъ бросился по тусклоосвѣщенному корридору.

Прибѣжавъ въ дортуаръ, я тихо раздѣлся, улегся, но слезы, невольныя слезы текли и не давали мнѣ спать.

«Господи!» думалъ я, «отчего нѣтъ справедливости, мира и отчего не надо осуждать?.. А я думаю, это онъ отъ трусости... Нѣтъ, онъ не можетъ быть трусомъ...»

Я заснулъ вѣроятно около полуночи, но только-что успѣлъ уснуть, какъ снова пробудился отъ довольно громкаго говора Никитича.

Проснувшись, я не вдругъ понялъ въ чемъ дѣло.

Миронычъ сидѣлъ на тюфякѣ и протиралъ заспанные глаза, силясь что-то сообразить.

— Вѣдь это барскій тюфякъ! фофанъ!—ворчалъ на него Никитичъ.—Такъ какъ же ты разложилъ его да и развалился на немъ... Свинья! Пра свинья! Вѣдь тебѣ кресло принесено!

— Да не я же разложилъ его, тебѣ говорятъ!.. Чоортъ!

— Какъ не ты, кто же разложилъ, лѣшій!.. нешто онъ

самъ къ тебѣ пришелъ, да и разостлался... На вотъ, молъ, развались!

Миронычъ, ворча и бормоча что-то подъ носъ, слезъ съ тюфяка, всталъ покряхтывая и шатаясь пошелъ вонъ. Никитичъ бросилъ ему въ догонку его подушку.

— Подбери свои потрохи-то, сапердонъ поганый, прости Господи!

Потомъ онъ, примостивъ свои подушки на креслѣ, долго укладывался, ворочался, кряхтѣлъ, охалъ; наконецъ стащилъ подушки на тюфякъ и улегся, раза два перевернулся и захрапѣлъ.

На другой день Миронычъ и Никитичъ цѣлый день ругались, и встрѣчаясь другъ съ другомъ, какъ добрые псы, оскаливъ зубы, фыркали и глухо урчали.

Прошло еще нѣсколько дней, наступила третья недѣля поста. На дворѣ уже начинались весенніе утренніе заморозки. Дорога почернѣла. Я раза три забѣгалъ въ больницу къ князю, разумѣется, урывками, крадучись.

Наконецъ его выпустили. Онъ пришелъ сильно похудѣвшій, задумчивый, блѣдный. Всѣхъ разцѣловалъ, кто подошелъ къ нему, всѣмъ улыбался привѣтливо.

Вечеромъ въ тотъ же день мы узнали, что его положеніе весьма опасно и что Иванъ Михаиловичъ написалъ уже письмо къ его отцу, прося, чтобы его поскорѣе взяли и увезли въ деревню.

Впрочемъ, въ тотъ же день утромъ «Почтарь», несмотря на опасность положенія князя, счелъ долгомъ поднять исторію и сдѣлать разслѣдованіе о шкатулкѣ.

Около второй перемѣны онъ вошелъ въ третій классъ, куда мы всѣ собрались въ ожиданіи завтрака, и оглянувъ всѣхъ начальническимъ взглядомъ, обратился къ Кудинову:

— Господинъ Кудиновъ,—заговорилъ онъ строго, ероша свои волосы,—вы опять учинили пакость. Вы изволили

изорвать всѣ вещи князя, уничтожили его завѣтную шкатулку и можетъ-быть были причиной его тяжкой болѣзни. Какъ вамъ угодно-съ, а я не могу дольше держать васъ у себя. Нѣтъ-съ, не могу. Ученикъ, который подаетъ дурной примѣръ и соблазнъ цѣлому пансіону, долженъ быть исключенъ, съ позоромъ исключенъ. Приготовьтесь къ выходу... я сегодня же напишу вашему отцу.

Кудиновъ пожелтѣлъ. Онъ злобно смотрѣлъ на всѣхъ и наконецъ взглянулъ на князя. На губахъ его выступила усмѣшка презрѣнія.

Князь, сидѣвшій до сихъ поръ на табуретѣ, быстро всталъ и подошелъ къ Ивану Михайлычу.

— Иванъ Михайловичъ!—сказалъ онъ, слегка покраснѣвъ,— это не вѣрно... (онъ сложилъ обѣ руки и притянулъ ихъ къ груди). Я не знаю, кто разбилъ шкатулку и разорвалъ мои вещи; онъ сдѣлалъ это невольно, увѣряю васъ, что это сдѣлано невольно... И мнѣ теперь всѣ эти веши нисколько не дороги, Иванъ Михайловичъ. Я самъ бы ихъ истребилъ, выбросилъ бы или раздарилъ бы кому-нибудь. Повѣрьте мнѣ, Иванъ Михайловичъ, я нисколько не претендую на Кудинова, если онъ разломалъ шкатулку... Стыдно тому, кто ссоритъ насъ, кто доноситъ на товарища...

Послѣднія слова онъ произнесъ съ трудомъ и наконецъ закашлялся, махнулъ рукой и отошелъ въ сторону.

«Почтарь» строго обратился къ Флюгаркѣ:

— Что жъ это вы, почтеннѣйшій, ложные доносы дѣлаете? Была какая-то частная ссора, а вы жалуетесь... Что вамъ за дѣло до частной ссоры, а?!.

Флюгарка страшно поблѣднѣлъ.

— Я... Иванъ Михайловичъ...—началъ онъ тихо, наклонивъ голову,—видѣлъ только-съ, что обижаютъ... хотѣлъ-съ заступиться-съ за обиженнаго.

— Впередъ прошу съ подобными жалобами ко мнѣ не

являться, слышите!—накинулся тотъ на него.—И такъ довольно дѣла безъ васъ, чтобы еще разбирать ваши дрязги. Слава Богу, не маленькіе, сами своимъ судомъ можете устроиться

И окинувъ всѣхъ вызывающимъ взглядомъ, онъ повернулся и вышелъ вонъ, отчаянно ероша волосы.

Флюгарка, не глядя ни на кого, кусалъ ногти.

Кудиновъ медленно подошелъ къ нему, заложивъ руки въ карманы шароваръ.

Онъ постоялъ передъ нимъ, осмотрѣлъ его съ ногъ до головы. Въ его глазахъ было столько презрѣнія, злобы, ненависти, что мы всѣ съ замираніемъ сердца ждали какой-нибудь отчаянной выходки.

— Вы слышали, панъ Флюгарка,—началъ Кудиновъ глухимъ, насмѣшливымъ тономъ,—рѣшеніе воеводы: «устраиваться собственнымъ судомъ». Ну-съ, мы съ вами и устроимся «собственнымъ судомъ». Будьте покойны-съ!

И онъ быстро отвернулся, презрительно плюнулъ и вышелъ.

Въ это время Никитичъ сильно зазвонилъ къ завтраку и мы всею гурьбой хлынули въ столовую.

И вдругъ мнѣ ясно вспомнилось, какъ по пріѣздѣ князя, къ намъ въ пансіонъ, Флюгарка подъѣзжалъ къ нему и какъ Кудиновъ бросилъ Флюгарку на полъ и пнулъ ногой.

«Это вѣрно онъ, Флюгарка, доносилъ постоянно на Кудинова», подумалъ я и кажется, это стало такъ же ясно для всѣхъ насъ.

XIII.

Князь сдѣлался вторично предметомъ нашихъ открытыхъ или, правильнѣе говоря, худо скрытыхъ симпатій. Мы всѣ боялись еще власти Кудинова, и даже самые сильные невольно

преклонялись передъ этою властью. Но Кудиновъ не только пересталъ преслѣдовать князя, а даже какъ будто вовсе не вмѣшивался въ наши общія дѣла и нашу пансіонскую нравственность; только по временамъ онъ давалъ какой-нибудь совѣтъ своимъ диктаторскимъ тономъ, или по прежнему прикрикивалъ на насъ малышей.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что и князь сильно перемѣнился. Онъ сталъ какимъ-то безучастнымъ, обыкновенно забивался куда-нибудь въ уголокъ, или къ себѣ на постель, и читалъ какую-нибудь книжку, изрѣдка глухо покашливая сухимъ глубокимъ кашлемъ. Даже лицо его перемѣнилось, оно сдѣлалось грустно-задумчивымъ, и только когда подходилъ къ нему кто-нибудь изъ насъ малышей, онъ приподнималъ брови, въ его большихъ блестящихъ глазахъ загорался тихій ласковый огонекъ и улыбка выступала на губахъ.

Онъ былъ освобожденъ почти отъ всѣхъ уроковъ и только ходилъ въ классы исторіи, чтобы послушать разсказы учителя, которыхъ не было въ учебникахъ, да попросить у него какихъ-нибудь новыхъ книгъ.

Иногда по вечерамъ, когда мы приходили рано въ дортуаръ, онъ случайно вступалъ въ наши разговоры, но также какъ то безучастно, какъ будто отвѣчая самому себѣ или высказывая вслухъ свою сентенцію.

Однажды поднялся споръ о томъ—имѣетъ-ли человѣкъ естественное право на собственность?

— Собственность, это мой трудъ,—говорилъ Неключиковъ.—Все, что я добуду моими силами и способностями, все это составляетъ часть меня самого и никто не имѣетъ права посягнуть на нее, а потому выраженіе Прудона я нахожу...

— Позволь, mon cher,—сказалъ Бисюгинъ,—какимъ-же образомъ ты устроишь общее довольство? Тогда будетъ опять монополія капитала, способный или болѣе ловкій бу-

детъ богатымъ, а глупый, неспособный и неповоротливый—бѣднымъ.

— Каждый имѣетъ право богатѣть,—тихо сказалъ князь, сидя на постели,—но не для себя.

Всѣ обернулись къ нему. Онъ сидѣлъ поджавъ ноги и обхвативъ ихъ обѣими руками. Голова его была обвязана платкомъ, намоченнымъ въ холодной водѣ съ уксусомъ.

— Каждый имѣетъ право богатѣть,—сказалъ онъ,—чтобы раздѣлять плоды своихъ трудовъ между тѣми, кому природа не дала многаго. Чего нѣтъ у однихъ, то дополняютъ другіе; таковъ законъ Божеской гармоніи.

— Amen!—произнесъ торжественно Крамковъ.

— Такъ по мнѣнію вашего сіятельства,—вдругъ вмѣшался Кудиновъ,—каждый умный человѣкъ долженъ качать воду на дураковъ, и чѣмъ онъ способнѣе, тѣмъ онъ сильнѣе долженъ качать. Пріятное занятіе, нечего сказать! Вотъ такъ законъ Божеской пудрамоніи.

Нѣкоторые фыркнули при этомъ опредѣленіи.

Князь ничего не отвѣтилъ.

Въ послѣднее время Кудиновъ обращался съ нимъ съ презрительною небрежностью, въ которой иногда проглядывалъ оттѣнокъ снисходительности, но обыкновенно онъ просто обрывалъ его словами: «Блаженны блаженные и уроды юродствующіе».

Старшіе немного помолчали.

— Въ обществѣ устроенномъ, правильно устроенномъ,—говорилъ сонно и вяло Колотуровъ, сбрасывая куртку и развязывая галстухъ,—дураки и всякіе уроды юродствующіе немыслимы: ихъ жизнь вытретъ. Въ умномъ обществѣ никто не подастъ помощи какому-нибудь идіоту, потому только, что и онъ человѣкъ... и всякую шваль, которая мѣшаетъ развитію, устранятъ.

— A propos, господа!—спросилъ вдругъ весело Неключи-

ковъ, совсѣмъ раздѣвшись и вскочивъ въ постель:—если никто не имѣетъ права отнять чужую собственность, то имѣетъ-ли общество право почему-либо уничтожить самого человѣка?

— Какъ это? не понимаю.

— Ну да, имѣетъ-ли оно право надъ жизнью другого?

— Не только общество, но каждый человѣкъ имѣетъ право устранить жизнь другаго, если эта жизнь мѣшаетъ обществу, его развитію,—вдругъ отвѣтилъ Кудиновъ съ какою-то горячею, злобною энергіей.

И всѣ замолкли.

Прошло нѣсколько дней. Наступила опять холодная погода; выпалъ снѣгъ, поднялись жестокіе вихри; въ особенности ночью надоѣдали они постояннымъ стукомъ ставней. Какъ-то рано утромъ, послѣ такой бурной ночи, прибѣжалъ къ намъ въ дортуаръ Никитичъ, блѣдный, растрепанный.

— Батюшки! что это!..—бормоталъ онъ, весь дрожа.— Какая бѣда стряслась!..

— Какая бѣда?—спросилъ Неключиковъ.—Что ты, болванъ, спать не даешь?

— Почтарь что-ли лопнулъ?—освѣдомился сквозь сонъ Колотуровъ.

— Флюгитскій...

— Ну что Флюгитскій?

— Мертвый... въ саду лежитъ... въ оврагѣ...

Многіе приподняли головы, другіе вскочили и начали одѣваться. По корридору кто-то стремительно пробѣжалъ, кто-то закричалъ внушительно: «Бѣги къ Карлу Ивановичу! Да за докторомъ, чай, надо послать».

По корридору быстро прошелъ Иванъ Михайловичъ въ шубѣ и фуражкѣ.

Мы всѣ наскоро одѣлись. Въ дортуаръ вошелъ «Черный Котъ».

— Господа!—сказалъ онъ, быстро мигая глазами и прямо подходя къ двери въ четвертый классъ,—я имѣю строгое приказаніе запереть васъ здѣсь до слѣдствія.

И онъ заперъ двери четвертаго класса, бойко отправился къ другой двери въ корридоръ, но Бисюгинъ, Неключиковъ и, вслѣдъ за ними, Кудиновъ заслонили ему дорогу.

— Какъ запереть!.. Позвольте-съ,—кричалъ Бисюгинъ весь красный,—какъ? кого запереть?

— Что мы преступники, что-ли!.. Вы насъ арестуете?!.—вскричалъ Колотуровъ такъ же красный.

— Это насиліе!.. Противозаконное насиліе,—вскричалъ Кудиновъ.—Мы не арестанты!

И мы всѣ напирали на дверь, противились и наконецъ оттерли «Чернаго Кота».

Но не успѣли мы добѣжать до конца корридора, какъ дорогу намъ загородилъ обѣими руками Карлъ Ивановичъ.

— Шшть, господа!.. Sein sie ruhig. Не мишайть!.. Сишайсъ будетъ Polizei и все будетъ разбирать.

— Мы, Карлъ Ивановичъ, будемъ смирны... Мы только изъ окошекъ... aus Fenster,—упрашиваетъ Крамковъ, приставляя къ глазу палецъ, согнутый колечкомъ.

Мы, малыши, пользуясь этими переговорами, проскользнули мимо растопыренныхъ рукъ Карла Ивановича.

— Куда-сь, куда?—закричалъ онъ на насъ.

Но только что обернулся, какъ и старшіе пробрались въ большую переднюю и первымъ дѣломъ кинулись къ дверямъ, но двери были заперты.

Бельтесовъ схватился за животъ и весь скорчился.

— Карлъ Иваровичъ, я не могу-съ... unmöglich!—закричалъ онъ,—меня схватываетъ.

— Ступайте туда, ступайте туда! — закричалъ Карлъ Ивановичъ, толкая Бельтесова снова въ корридоръ.

Мы всѣ бросились къ окнамъ, но въ окна ничего не было видно, кромѣ сада.

Въ это время, на наше счастье, входитъ Мартынъ и тотчасъ же запираетъ за собой тщательно дверь.

— Что̀? что тамъ?—бросаемся мы всѣ къ нему.

Онъ медленно отеръ лысину.

— Чего тамъ! убился. Вотъ чего тамъ. Сколько разъ говорили хозяину, почини, да почини перильца на галерейкѣ... вѣдь малыши ходятъ... Гниль, долго ль до грѣха. Господи! Вотъ и дождался... «Ничего, и такъ, говоритъ, простоитъ». Вонъ и простояло...

И онъ двинулся въ корридоръ.

Но мы не пустили его.

— Разскажи, Мартынъ, пожалуйста, разскажи! Какъ онъ? что? совсѣмъ убился?

— Въ оврагъ слетѣлъ, — пояснилъ Мартынъ, — а тамъ, сами знаете, камни, колья. Голову всю раскровянилъ, глазъ высадилъ.

— Странно, какъ это мы ничего не слыхали, — подивился Бисюгинъ.

— Чего жь услышишь? Онъ вѣрно ночью вышелъ, а вѣтеръ съ ногъ валитъ. Стукъ такой шелъ ставнями, ничего не разслышишь!

— Какъ это никто не хватился!?

— Въ это время «Черный Котъ» принялся собирать насъ, малышей, и всѣхъ отправилъ въ дортуаръ.

Въ дортуарѣ оставался одинъ только князь. Онъ сидѣлъ на своей постели, опустивъ голову.

Мы наперерывъ начали разсказывать ему, какъ и что̀ случилось.

— Онъ, знаешь, пошелъ на галерейку,—толковалъ Гусикъ, — какъ вышелъ на галерейку, а вѣтеръ его схватилъ и сдулъ прямо въ оврагъ.

Эта галерейка, узенькая и ветхая, соединяла главный корпусъ дома съ небольшою деревянною пристройкой. Домъ былъ двухъ-этажный, деревянный, оштукатуренный, а внизу, подъ галерейкой проходилъ довольно глубокій оврагъ, заставшій лѣтомъ крапивой, лебедой и всякою сорною дрянью. Въ него валили битые кирпичи, плитнякъ, булыжникъ и всякій мусоръ, который остается отъ построекъ.

Хотя оврагъ и былъ перегороженъ заборомъ и часть его принадлежала дому, но всѣ сосѣди считали его общиннымъ владѣніемъ и, не стѣсняясь, возили въ него всякую рухлядь и гниль, которую лѣнь было вывести за городъ.

Мы всѣ, малыши, каждый по своему, передали князю все слышанное и замолкли.

— Костя, — сказалъ я,—вѣдь это Богъ наказалъ Флюгарку и сбросилъ въ оврагъ.

— Нѣтъ, дружокъ,—сказалъ князь тихо, погладивъ меня по головѣ,—каждый получаетъ то что, онъ самъ себѣ заработалъ.

Онъ помолчалъ немного и снова началъ еще тише.

— Прежде всего, это неосторожность; отъ нея много бѣдъ бываетъ на свѣтѣ. Не надо было въ такой вѣтеръ подходить къ перильцамъ на галерейкѣ. А Флюгитскій должно быть не только подошелъ, а еще и заглянулъ въ оврагъ. Перильца подломились, и онъ полетѣлъ.

Въ это время въ передней послышался усиленный шумъ, топотъ, говоръ. Мы всѣ бросились къ дверямъ дортуара; но двери были заперты.

— Отоприте!—повелительно закричалъ Гусикъ, колотя кулачкомъ въ дверь.

— Шш!—зашикалъ на него князь,—Гуся, поди ко мнѣ, поди скорѣе!

— Что же это,—протестовалъ Гусикъ, идя къ князю,—что-же насъ заперли? Мы не арестанты.

И всѣ надулись и приняли обиженное выраженіе.

Князь взялъ Гусика за голову и поцѣловалъ его.

— Ты не арестантъ,—сказалъ онъ,—а умный. Вѣдь ты умный?

Гусикъ молчалъ.

— Тамъ случилось несчастіе, всѣмъ большія хлопоты, всѣ суетятся, а маленькіе только имъ будутъ мѣшать, вотъ ихъ и заперли здѣсь. Вѣдь ты видишь, и меня заперли, а я сижу и молчу, а мнѣ тоже хочется посмотрѣть, что тамъ дѣлается.

— Это вѣрно, буточники и квартальные пришли—сказалъ Мурхановъ.

Въ это время шумъ смолкъ, и, немного, погодя въ корридорѣ послышались шаги толпы, говоръ. Двери дортуара отперли и всѣ старшіе вошли, въ сопровожденіи Карла Ивановича.

— Пожальста сидить смирно,—уговаривалъ Карлъ Ивановичъ,—надо дѣлать Polizei-Акt. Это, это ошень важни, ошень важни.

— Для кого важно, Карлъ Ивановичъ?—наивно спросилъ Неключиковъ,—для полиціи?

— Ай нѣтъ, это важни для государствъ. Надо глядить былъ ли убійствъ или самоубійствъ или несчастни слушай.

— Что же,—спросилъ Кудиновъ,—ваше государство лопнетъ, если не узнаютъ, былъ ли тутъ убійствъ или самоубійствъ?

— Ай нѣтъ! пожальста смирно сидитъ.

— А чаю намъ скоро дадутъ, Карлъ Ивановичъ?

— Сишасъ дадутъ, сишасъ дадутъ! Я пойду хлопотать, сишасъ дадутъ, пожалисть...

И Карлъ Ивановичъ сложилъ умоляющимъ образомъ ручки и, низко поклонясь, вышелъ на цыпочкахъ.

Мы всѣ прыснули.

— Вишь клейстерная колбаса, теперь затанцовалъ, какъ Polizei-Akt начали составлять,—сказалъ Флигинъ,—пожалисть, пожалисть!

Бельтесовъ выскочилъ на середину комнаты и началъ комически присѣдать, сложивъ ручки. Мы всѣ хохотали въ тихомолку, Гусикъ обратился къ князю:

— Костя,—спросилъ онъ тихо,—теперь вѣдь его потрошить будутъ, онъ вѣдь покойникъ?

Кудиновъ быстро всталъ съ постели и подошелъ къ намъ, малышамъ, которые все еще стояли около князя.

— Слышите вы всѣ, мальга безмозглая. Видите, Фиглярка фискалилъ, на всѣхъ доносилъ, вотъ его Богъ и покаралъ, вѣтромъ сдуло его въ оврагъ, онъ тамъ и убился, какъ кошка поганая. И всѣмъ будетъ такъ, кто доноситъ на своихъ товарищей, всѣхъ Богъ убьетъ...

Онъ вдругъ обратился къ князю:— такъ что ли я толкую, ваше сіятельство, или нѣтъ?

Князь отрицательно покачалъ головой.

— Всякій получаетъ, что самъ заработалъ,—бойко отчеканилъ слова князя Гусикъ.—Такъ Костя сказалъ.

— Вотъ какъ!—удивился Кудиновъ и вопросительно посмотрѣлъ на князя.

— А если бы Фиглярка самъ не убился,—спросилъ я слегка заикаясь,—вѣдь ты же убилъ бы его какъ кошку?

Я до сихъ поръ самъ не понимаю, откуда у меня взялась смѣлость предложить вдругъ подобный вопросъ Кудинову. Видно у всѣхъ насъ сидѣло мучительное сомнѣніе: можетъ ли онъ кого-нибудь изъ насъ убить или нѣтъ?

Кудиновъ весь поблѣднѣлъ, губы его задрожали.

— Я тебя перваго пришибу,—заговорилъ онъ дрожащимъ шопотомъ,—безмозглая мозглявка! Когда кому я говорилъ, что убью его, а? Ну, отвѣчай же!

И онъ схватилъ меня за руку, отдернулъ отъ постели князя, на которую я облокотился, и нагнулся ко мнѣ, присѣвъ на одно колѣно.

Я не могъ смотрѣть на него: такъ страшно, злобно было

его лицо и такъ нестерпимъ былъ блескъ его зеленыхъ глазъ.

— Ну, говори же, пащенокъ!—приказалъ онъ и страшно сжалъ мою руку.

— Я... ничего... никогда...—забормоталъ я сквозь слезы.

— Ну, такъ *ничего, никогда*!—и онъ далъ мнѣ два сильные щелчка въ голову.—А не то раздавлю, какъ кошку и закину въ колодецъ. Слышалъ? Раздавлю, и закину!

И онъ быстро поднялся, тяжело вздохнулъ и громко спросилъ:

— А что же, господа, намъ чаю не даютъ?..

Но голосъ его дрожалъ и прерывался.

XIV.

Насъ всѣхъ. малышей, опять собрали къ Александрѣ Алексѣевнѣ и усадили за уроки. У нея въ гостиной мы пробыли цѣлый день и почти цѣлый день она намъ внушала, какъ надо быть осторожнымъ. Всегда надо слушать старшихъ и не должно никогда ночью выходить на галерейку и подходить къ перильцамъ, а то можно упасть и убиться, какъ этотъ несчастный Флюгитскій.

— Кудиновъ говоритъ, что это его Богъ наказалъ,—ляпнулъ Гусикъ.—за то, что онъ фискалилъ и доносилъ на насъ.

Александру Алексѣевну передернуло.

— Кудиновъ внушаетъ вамъ глупости,—накинулась она на Гусика,—никогда не нужно ничего дурного дѣлать, тогда никто не будетъ на насъ жаловаться.

Иванъ Михайловичъ нѣсколько разъ входилъ къ намъ въ гостиную, съ какимъ то растеряннымъ видомъ. Постоитъ посмотритъ, вздохнетъ, поерошитъ волосы, махнетъ рукой и выйдетъ. Разъ онъ постоялъ, пожалъ плечами и сказалъ какъ бы самъ себѣ:

— Просто не знаю, какъ и что?.. Голова кругомъ идетъ... Ну что я теперь отцу-то напишу... что?...

— Такъ что же?—сказала Александра Алексѣевна,— развѣ мы виноваты? Странно!

— Ахъ, матушка, кто виноватъ?.. Чортъ виноватъ!—вскричалъ онъ съ досады и, схвативъ голову обѣими руками, быстро вышелъ.

У Флюгитскаго былъ богатый отецъ, который былъ управляющимъ у графа Б., въ Кіевской губерніи. Флюгарка былъ, кажется, единственный сынъ его, котораго онъ послалъ на воспитаніе къ теткѣ въ нашу губернію.

Вечеромъ мы какъ то выскочили изъ строгой опеки. Александра Алексѣевна куда-то отправилась, «Черный Котъ» тоже ушелъ, и мы одинъ за другимъ съ книжками пробрались на любимую галерейку. Тамъ были почти всѣ старшіе. Они толпились около Мартына, который отчаянно спорилъ и разъяснялъ.

— Теперича почему не вскрыли?—говорите вы.—Да развѣ это пріятно?.. Вскрывать пансіонера... Вѣдь весь пансіонъ разоришь!...

— Вздоръ! — утверждалъ Неключиковъ.—Надо всегда дѣлать по закону. Законъ велитъ вскрывать и вскрой.

— Ахъ, позвольте! Закону-то вѣдь что жъ, ни тепло, ни холодно оттого, что вскроютъ, или нѣтъ, а Ивану Михайловичу разореніе. Ну, а какъ вскроютъ, да что нибудь найдутъ тамъ неладное. Вѣдь вонъ неизвѣстно, отчего у него синякъ на правомъ вискѣ; вѣдь онъ ударился лѣвою стороной и всю щеку ободралъ, и лѣвый глазъ высадилъ, а тутъ вдругъ у него на правомъ вискѣ синякъ оказался. Что онъ въ перевалку что ли стукался? Сперва направо, затѣмъ налѣво?

И Мартынъ перекачнулся направо и налѣво.

— Очень просто,—пояснилъ, подходя къ намъ, Кудиновъ, который сидѣлъ все это время въ сторонѣ на столѣ, пока-

чиваясь и злобно усмѣхаясь.— Очень просто. Онъ поскользнулся;—вѣдь на галерейкѣ у тебя всегда наплескано, лысый чортъ, а тутъ еще снѣгу напало. Онъ поскользнулся, ударился правымъ вискомъ въ перильца; перильца подломились онъ хотѣлъ удержаться правою рукой, она соскользнула, а онъ повернулся и лѣвымъ бокомъ полетѣлъ въ оврагъ. Вотъ какъ было дѣло, лысый чортъ!... И не мути, и не путай!

И онъ со злобнымъ торжествомъ отошелъ и опять сѣлъ на столъ.

— Такъ-таки не вскрывали?—переспросилъ Бисюгинъ.— Вѣдь чай это чего-нибудь да стоило «Почтарю». Даромъ никакой скотъ ничего не будетъ дѣлать.

Мартынъ махнулъ рукой и быстро, отрывисто что-то зашепталъ, наклонясь къ Бисюгину.

— Вы это сами посудите,—прибавилъ онъ громко.—Вѣдь еслибъ изъ этого дѣло затѣять, перво-на-перво всѣхъ васъ надо опросить, а тутъ допросили только насъ да дворника; затѣмъ, еслибъ и ничего не нашли, то мало ли чего можно нагородить въ бумагѣ-то, приплести и то, и другое, и пятое, и десятое, такъ что не только бы Иванъ Михайловичъ пансіону бы рѣшился, да еще на всю жизнь бы въ подозрѣніи состоялъ. Вотъ вѣдь это какая штука! Нѣтъ, это вотъ только и спасло его, что губернаторъ очень ужъ довѣряетъ ему, Ивану Михайловичу, а то бы и-и-и что было!..

— Что-же,—спросилъ Флигинъ,—онъ будетъ и ночь лежать тамъ.

И онъ махнулъ головой на четвертый классъ, гдѣ стояло запертое тѣло Флюгарки.

— А то какъ же?—спросилъ Мартынъ.—Къ теткѣ, Вѣрѣ Михайловнѣ, послали эстафету, къ отцу телеграмму. Надо дожидаться, можо завтра и отвѣтъ придетъ.

Онъ раздвинулъ насъ, проговоривъ «позвольте» и пошелъ звонить къ ужину.

Когда мы пришли въ дортуаръ, то Колотуровъ, снимая жилетъ, высказалъ такую сентенцію:

— Знаете-ли что, господа? когда живешь мелкою, мелочною жизнью, какъ мы, то всякая дрянь, выходящая изъ уровня, дѣлаетъ пертурбацію; ну, что изъ того, что какой-нибудь подлецъ Флюгарка слетѣлъ въ оврагъ и однимъ скотомъ меньше стало на свѣтѣ? Никому вѣдь ни тепло, ни холодно, кромѣ развѣ «Почтаря», а стадо взволновалось.

Князь, который почти цѣлый день молчалъ, сказалъ при этомъ тихо и внушительно:

— Каждая душа человѣческая скорбитъ и ужасается внезапной страшной смерти брата ея.

— Amen,—пробурчалъ Крамковъ, который въ это время лежалъ, закутавшись съ головой въ одѣяло.

— Это-съ, ваше сіятельство, изъ мистической психологіи вѣрно,—проговорилъ, раздѣваясь, Кудиновъ,—только разъясните ужъ намъ пожалуйста слѣдующее: вѣдь эта душа теперь мученическую смерть воспріяла и уже вѣрно попала въ царствіе небесное, такъ почему-же другіе-то должны оттого скорбѣть и ужасаться, должно быть, по малодушію; такъ что ли-съ?

Князь ничего не отвѣтилъ.

— А я вотъ какой вопросъ ставлю, господа,—говорилъ Колотуровъ уже въ постели,—«теперича» всѣ эти разсказы о мертвецахъ, какъ они тамъ ни глупы, а все-таки человѣкъ образованный и просвѣщенный не можетъ избавиться отъ ихъ дѣйствія; невольно, чуточку, а все-таки боится: на кладбище не пойдетъ и съ мертвецомъ спать не ляжетъ... Отчего?

— Привычка,—сказалъ Крамковъ, зѣвая.

— Совершенно вѣрно,—подтвердилъ Бисюгинъ,—могильщикъ не боится..... да и студентъ медикъ...

— Нѣтъ, позвольте,—перебилъ Колотуровъ,—привычка тамъ или не привычка, а отчего-же всякія привычки иско-

реняются, а эта нѣтъ; этотъ страхъ не проходитъ и даже на всю жизнь остается.

— У меня нѣтъ привычки,—рѣзко заговорилъ Кудиновъ,—я не могильщикъ и съ трупами не возился, но съ кѣмъ угодно и о чемъ угодно поспорю, что вотъ пойду и ночую теперь въ четвертомъ классѣ, вмѣстѣ съ Флюгаркой; будетъ противно, но вовсе не страшно.

Всѣ помолчали. Бисюгинъ быстро вскочилъ и сѣлъ на постели.

— А знаешь ли, mon cher,—заговорилъ онъ,—это былъ бы отличный опытъ для уничтоженія всякихъ дрянныхъ суевѣрныхъ страховъ, хоть бы въ средѣ нашей.

— Что-жь, достань ключъ; я ничего.... пойду.

— Филя, голубчикъ,—сказалъ Бисюгинъ,—стащи!..

— Только вы меня, господа, устройте съ комфортомъ,—говорилъ Кудиновъ,—притащите тюфякъ, подушку, а одѣяло я, пожалуй, и самъ притащу.

— Да ты тамъ разоспишься утромъ, какъ тюлень,—предостерегъ Колотуровъ,—еще увидятъ.

— Такъ что-же?—спросилъ Кудиновъ,—вотъ велика важность! Мы всѣ скажемъ: Иванъ Михайловичъ, мы не хотѣли, дескать, оставлять на ночь одно тѣло нашего товарища, чтобы дескать крысы не повредили.

Кто-то фыркнулъ, вѣроятно, представляя себѣ удивленную фигуру «Почтаря».

— Постойте, господа,—сказалъ Флигинъ,—я ключъ стащу; надо только дать угомониться, тамъ еще возятся.

И всѣ замолчали. Началось всеобщее позѣвыванье, ворочанье; изрѣдка раздавался кашель князя. Вдругъ онъ приподнялся съ постели и заговорилъ тихо, но среди общей тишины его голосъ звучалъ ясно и отчетливо.

— Друзья мои,—заговорилъ онъ,—послушайтесь моего совѣта, не глумитесь надъ прахомъ несчастнаго товарища.

— Мы, ваше сіятельство,—заговорилъ Кудиновъ,—хотимъ произвести только маленькій опытъ, экспериментъ, съ научною цѣлью-съ. Чтобы доказать инерцію матеріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и почтить прахъ нашего несчастнаго товарища... Я, Божій рабъ, Сергѣй Кудиновъ, избранъ охранять этотъ драгоцѣнный прахъ отъ нашествія дикихъ звѣрей, готовыхъ растерзать его.

Князь что-то хотѣлъ отвѣтить, но закашлялся и опустился на подушку. Всѣ малыши спали. Гусикъ отчаянно храпѣлъ. Я старался изо всѣхъ силъ не заснуть и усердно пялилъ глаза, и все-таки заснулъ. Не знаю, чрезъ сколько времени и что такое, стукъ или какой-то шумъ разбудилъ меня, но только первое, что бросилось мнѣ въ глаза—былъ Кудиновъ, быстро входившій въ дверь изъ корридора; я сначала не узналъ его и весь похолодѣлъ отъ страха. такъ было блѣдно его лицо не отдѣлявшееся отъ его сорочки; я сначала принялъ его за мертвеца, тѣмъ болѣе, что онъ былъ закутанъ въ простыню. Онъ шатаясь, подошелъ къ Колотурову и разбудилъ его.

— Пойдемъ,—онъ говорилъ съ трудомъ, его зубы громко стучали,—перенесемъ... нервный припадокъ, галлюцинація.

Проснулся Неключиковъ.

— Что ты, какъ, чего?—проговорилъ онъ съ просонья.

Они пошептались. Затѣмъ всѣ трое отправились и перенесли постель Кудинова и залегли спать.

— Вотъ видишь,—сказалъ Бисюгинъ,—опытъ вышелъ неудаченъ.

Они всѣ уже спали, а мнѣ не спалось; сердце усиленно билось, и пугающіе вопросы одинъ за другимъ вставали въ возбужденной головѣ.

Мнѣ все казался легкій шорохъ, стукъ, какъ будто кто-то крадется къ постели; я ужъ закутался совсѣмъ въ одѣяло, заткнулъ уши и усиленно повторялъ, чтобы ничего не слы-

хать и ни о чемъ не думать: «Да воскреснетъ Богъ и да расточатся врази Его». Кажется, я уже заснулъ, какъ быстрый толчекъ заставилъ меня вскочить. Предо мною стоялъ Кудиновъ.

— Ты что не спишь, кудлашка поганая?—спросилъ онъ, сверкая глазами, которые ярко блестѣли при тускломъ свѣтѣ ночника. — Что наложилъ платье горой, кое-какъ, неряха противная?

И онъ сбросилъ на полъ мое платье, которое лежало на табуретѣ.

— Встань, подними и сложи, какъ слѣдуетъ.

Я всталъ, подобралъ и сложилъ все платье, дрожа и вздрагивая отъ испуга и холода. Кудиновъ улегся. Нѣсколько времени лежалъ. Потомъ вдругъ опять вскочилъ, и какъ бы со злобой подбѣжалъ къ кровати Гусика. На гвоздикѣ было повѣшено платье и сверхъ платья бѣлый картузъ. Онъ вскочилъ на табуретъ, сорвалъ все это и побросалъ на Гусика, который что-то промычалъ съ просонья, повернулся къ стѣнѣ и захрапѣлъ.

Мои ночные страхи отлетѣли. Кудинова я, разумѣется, меньше боялся, чѣмъ мертвецовъ и вообще всего таинственнаго и непонятнаго.

На разсвѣтѣ я еще разъ проснулся и робко приподнялъ голову. Всѣ спали. Только Кудиновъ сидѣлъ на своей постели свѣсивъ голову и обхвативъ руками колѣни. Даже издали глаза его злобно блестѣли и бѣгали. Желтовато-блѣдное лицо рѣзко выдѣлялось на темно-сѣромъ шерстяномъ одѣялѣ, подоткнутымъ подъ подбородкомъ.

XV.

На другой день, вечеромъ, пріѣхала тетка, и тѣло Флюгарки увезли, а черезъ два, три дня все бы вошло въ обыч-

ную колею, если бы не заболѣли разомъ князь и Кудиновъ, такъ что у насъ снова водворилась полная анархія.

У Кости опять кровь хлынула горломъ. Его уложили въ больницѣ, и докторъ предписалъ полное спокойствіе, по крайней мѣрѣ, на нѣсколько дней.

Что сдѣлалось съ Кудиновымъ, мы сами не знали. Но съ той самой ночи, которую онъ провелъ въ IV-мъ классѣ съ тѣломъ Флюгарки, онъ сталъ неузнаваемъ. Дичился всѣхъ. Если кто-нибудь обращалея къ нему съ какимъ-нибудь вопросомъ, то онъ или не отвѣчалъ, или накидывался на вопросителя съ такою злобною руганью, что тотъ отходилъ.

— Онъ, господа, просто того... не въ порядкѣ... Воля ваша,—говорилъ Бисюгинъ.

— Да, кажется... соскочилъ немного,—соглашался Крамковъ.

— Онъ вѣрно сильно испугался,— догадывался Неключиковъ,—тогда, когда ему представился Флюгарка... Помнишь... ночью?

— Галлюцинація.

— Ну, да! Но онъ вѣдь разсказывалъ, что и прежде у него бывали такія галлюцинаціи; а тутъ подъ вліяніемъ...

— Его просто надо, господа, тряхнуть. Онъ просто сталъ трусъ трусомъ,—заговорилъ дидактически Колотуровъ.

— Ты что же сдѣлаешь?—спросилъ насмѣшливо Крамковъ.—Смотри, какъ бы онъ тебя самъ не тряхнулъ, такъ что у тебя сдѣлаются галлюцинаціи.

— Нѣтъ! Куда же? А вотъ подождемъ, онъ непремѣнно сюда придетъ, потому что вечеромъ или ночью онъ ни за что одинъ не останется.

И дѣйствительно, черезъ нѣсколько минутъ онъ вошелъ. Онъ старался ни на кого не смотрѣть. Молча подошелъ къ своей кровати и тихо сѣлъ на нее.

— А что, господа,—заговорилъ Колотуровъ,—пуганая

ворона, говорятъ, куста боится, такъ что будь хоть разгерой-героевичъ, а тутъ предѣлъ человѣческому геройству.

Онъ помолчалъ и взглянулъ изъ-подлобья на Кудинова.

— Я вотъ теперь готовъ предложить какое угодно пари, что не всякій изъ насъ сейчасъ пойдетъ свободно въ IV классъ безъ свѣчи и принесетъ оттуда что-нибудь... ну хоть мѣлъ или губку,

— Изволь, я держу пари,—вскричалъ Бисюгинъ.—Пойду, mon cher, и принесу чего хочешь и куда хочешь.

— И я тоже,—вскричалъ Неключиковъ, вскочивъ съ постели.

— И я!

— И я!

— Постойте, господа! не объ васъ рѣчь, — возразилъ внушительно Колотуровъ.—Я сказалъ не всѣ... А вы далеко не всѣ.

Всѣ привстали и составили группу около Колотурова. Только мы, малыши, стояли въ сторонѣ, да сидѣлъ упорно, облокотясь на свой постели, одинъ Кудиновъ, и всѣ молчали. Нѣкоторые искоса, въ полъ-оборота взглянули на Кудинова.

Онъ сдѣлалъ неопредѣленное движеніе. Затѣмъ посидѣлъ еще съ полминуты и, видя, что всѣ на него смотрятъ, страшно поблѣднѣлъ, вскочилъ и быстро пошелъ къ дверямъ, но не дойдя до половины, такъ же быстро обернулся къ намъ и проговорилъ дрожащимъ прерывающимся голосомъ:

— Вы всѣ, господа, подлецы!.. гадины!.. безчеловѣчники!

И затѣмъ еще быстрѣе повернулся и вышелъ.

Колотуровъ вскочилъ съ постели:

— Филя! голубчикъ!.. живѣе... кувшинъ съ водой... да похолоднѣе нельзя-ли. Онъ пошелъ въ IV классъ. Господа,—

проговорилъ онъ многозначительнымъ шепотомъ, обращаясь ко всѣмъ,—сейчасъ онъ тамъ грохнется.

И дѣйствительно, не прошло и полминуты, какъ въ сторонѣ IV класса, что-то грохнулось на полъ.

Всѣ вскочили и толкаясь, опрометью побѣжали туда,

— Не шумите, господа! Тише! тише! на цыпочкахъ!— командовалъ Колотуровъ.

— Вы, всѣ, мальга, назадъ,—осадилъ онъ насъ повелительнымъ шепотомъ?

Но мы потихоньку, слѣдомъ, все-таки пробрались.

Кудиновъ лежалъ на полу. Всѣ надъ нимъ наклонились. Филя обливалъ ему водой голову; Бисюгинъ держалъ свѣчку.

— Еще, Филя, тощи живѣй! — скомандовалъ шепотомъ Колотуровъ.

И Филя побѣжалъ опрометью.

— Схватилъ губку, — пояснилъ шепотомъ Колотуровъ, указывая на губку, которой стирали съ классной доски и которая крѣпко была зажата въ рукѣ Кудинова,—и шелъ съ торжествомъ къ намъ. А въ это время и... хлопъ!

— Что-сь? что такое?—вскричалъ въ это время Карлъ Ивановичъ, вбѣгая въ четвертый классъ.—Что такое? Gott, mein Gott!

— Обморокъ, Карлъ Ивановичъ.

— Пошелъ въ потьмахъ въ четвертый классъ за губкой и упалъ въ обморокъ.

— Мы его водой...

— Тащить скорѣй nach больница! Сейчасъ, скорѣй тащить!

И мы подхватили и понесли,

Въ больницѣ старшіе окуривали его жженными перьями. Приставляли банку съ нашатырнымъ спиртомъ. Кудиновъ лежалъ какъ мертвый.

Послали за докторомъ, котораго не скоро нашли.

Докторъ велѣлъ растирать ему грудь и началъ накачивать ему въ грудь воздухъ съ помощью самоварнаго мѣха.

— Съ нимъ уже пятый день неладно,—прошепталъ Неключиковъ, усердно растирая лѣвый бокъ.

— Что вы говорите?—спросилъ докторъ, серьезно оттопыривъ губы, щупая пульсъ и смотря на часы.

— Я говорю, что ужъ пятый день онъ нездоровъ. Нервы разстроены. Все галлюцинаціи у него.

Докторъ посмотрѣлъ на него.

— Все ему мертвый Флюгар... Флюгитскій представляется, галлюцинаціи..!

Въ это время у Кудинова едва замѣтно приподнялась грудь, и легкій стонъ, въ родѣ мычанья, вырвался изъ сдавленной груди. Чрезъ нѣсколько секундъ онъ открылъ глаза и посмотрѣлъ на всѣхъ мутнымъ, безмысленнымъ взглядомъ.

— Теперь, господа,—сказалъ докторъ,—прошу васъ удалиться. Ему необходимъ покой.

И всѣ тихонько, на цыпочкахъ, одинъ за другимъ вышли вонъ.

— Что же, опытъ удался,—сказалъ Неключиковъ, когда мы вошли въ дортуаръ.

— Это былъ не опытъ, господа, а попытка излечить,—пояснилъ Колотуровъ.

— Какимъ же образомъ?

— А просто: similia similibus curantur. Петра Великаго Голицынъ вылечилъ же отъ боязни моря, толкнувъ его въ воду. Я подумалъ, если Кудиновъ грохнется отъ галлюцинаціи, да окатить его холодною водой, такъ все какъ рукой сниметъ. Вотъ поглядимъ, что завтра будетъ.

И мы всѣ принялись раздѣваться.

На завтра однако Кудинова не только не выпустили изъ больницы, но даже было строго запрещено кому бы то ни было видѣться съ нимъ. Докторъ даже совѣтовалъ помѣ-

стить его совершенно въ отдѣльную комнату. Но подумали и оставили его тутъ же, только отгородили ему ширмами пространство въ одно окно, въ родѣ отдѣльной комнатки. Эти тонкія, мѣстами прорванныя, ширмы отдѣляли теперь князя отъ Кудинова.

Когда князя уложили въ больницу и притомъ надолго (можетъ быть, навсегда, по опредѣленію доктора), то онъ просилъ Ивана Михайловича, чтобы тотъ дозволилъ около него быть одному или двумъ ученикамъ. И выбралъ для этой цѣли меня и Горненко.

— Хорошо,—согласился Иванъ Михайловичъ,— но только, чтобъ это не мѣшало ихъ урокамъ.

Вечеромъ у Александры Алексѣевны онъ пожималъ плечами.

— Изъ рукъ вонъ странно,—говорилъ онъ.—Двѣ недѣли уже прошло. Третьяго дня телеграмму послалъ. Ни отвѣта, ни привѣта.

— Отъ кого это?—спросила Александра Алексѣевна.

— Да отъ отца князя. Изъ рукъ вонъ странно!

— Погоди, можетъ быть, тетка ѣдетъ за нимъ.

Но тетка вовсе не ѣхала за нимъ, а черезъ два дня пришло письмо, въ которомъ было вложена довольно значительная сумма.

Вечеромъ мы всѣ, весь пансіонъ, чрезъ Мартына узнали содержаніе письма. Отецъ писалъ, что неизлѣчимая болѣзнь сына, а тѣмъ болѣе смерть можетъ произвести очень дурное и вредное вліяніе на здоровье его жены, которой нервы и такъ сильно разстроены. Что онъ поручаетъ Костю милосердію Божію и увѣренъ въ добромъ расположеніи и старательномъ уходѣ Ивана Михайловича.

Я въ тотъ же вечеръ съ глазу на глазъ передалъ все Костѣ. Моему дѣтскому разсудку тогда вовсе не представлялось, что эта передача можетъ огорчить, испугать его или

вообще дурно повліять на его здоровье. Мнѣ просто хотѣлось передать поскорѣе новость, и я передалъ. И только передавъ, я догадался, что передавать вовсе не слѣдовало.

Никогда не забуду той безконечной грусти, которая выразилась на всемъ лицѣ Кости. Онъ что-то тихо, неслышно прошепталъ и медленно перекрестился большимъ крестомъ.

— Костя,—сказалъ я,—тебя бросили? Ты теперь одинъ.

— Дружокъ мой, я теперь свободенъ и буду думать только объ одномъ, о Богѣ Великомъ и любящемъ.

И двѣ слезинки выступили на его кроткихъ глазахъ.

Я долго молчалъ, стараясь сказать что-нибудь въ утѣшеніе, и не могъ.

— Костя,—наконецъ тихо спросилъ я,—какъ же говорятъ *Богъ любящій*, а онъ заставляетъ страдать тѣхъ, кто Его любитъ. Развѣ это значитъ любовь!

— Дѣтко мое, не мудрствуй лукаво. Что значитъ страданіе здѣсь? и что знаетъ человѣкъ, какое блаженство онъ покупаетъ этимъ страданіемъ въ той жизни? Вѣдь мы судимъ о добрѣ и злѣ только по тому, что намъ пріятно и непріятно. Мы все мѣряемъ нашими наслажденіями, и другой мѣрки у насъ, темныхъ, нѣтъ.

Онъ говорилъ тихо, съ передышками и глухо покашливая.

Въ это время кровать Кудинова за перегородкой заскрипѣла, онъ всталъ и тихо вышелъ—длинный, худой, желтый, въ желтомъ халатѣ, съ головой, обвязанною полотенцемъ. У него были сильныя головныя боли. Пошатываясь и морщась, онъ медленно подошелъ къ намъ и сѣлъ на пустую кровать, подлѣ Костиной.

— Зачѣмъ вы встали?—спросилъ удивленно князь,—вѣдь вамъ велѣли спокойно лежать, вамъ будетъ хуже.

— Да ужъ очень занятно, ваше сіятельство, изволите толковать, я вотъ и поднялся... Просвѣтите темнаго, жажду свѣта, этому малышу вы изволите втунѣ толковать, онъ еще

не смышленъ и ничего не воспріиметъ, а меня грѣшнаго просвѣтите.

И онъ хотѣлъ съ комическою важностью поклониться князю, но схватился обѣими руками за голову и сильно сморщился.

— Вотъ только мозговикъ поганый сбрендилъ,—кисло проговорилъ онъ;—какія-то пружинки тамъ должно быть поломались.

— Видите-ли,—сказалъ князь,—вамъ теперь тяжело и вредно всякое движеніе и всякая головная работа. Я думаю, вамъ уже пора положить ледяной компрессъ.

— Нѣтъ еще, ваше сіятельство, двадцати минутъ не достаетъ...

И онъ взглянулъ на маленькіе стѣнные часы, которые повѣсили недавно въ больницѣ.

— Вы хорошо изволите говорить,—продолжалъ Кудиновъ, сжимая голову обѣими руками и тихо покачиваясь.— Только какія же такія чувства и ощущенія могутъ быть безъ нервовъ, вотъ относительно чего разъясните мнѣ, ваше сіятельство.

— Я признаю, Кудиновъ, кромѣ нервовъ еще нѣчто, что мы привыкли называть душой или духомъ.

— И что я привыкъ называть чепухой или свинымъ ухомъ, —перебилъ рѣзко Кудиновъ и, слегка покраснѣвъ, сильно закачался; онъ даже тихо, глухо застоналъ.

Князь немного помолчалъ, покосился и началъ очень тихимъ голосомъ, такъ что Кудиновъ приподнялся и подвинулъ къ нему одною рукой желѣзную кровать, на которой сидѣлъ.

— Кудиновъ,—сказалъ князь,—по вашему, все матерія, не такъ-ли?

— Совершенно угадали, ваше сіятельство!.. а по вашему, все свиное ухо, не такъ ли-съ?

И онъ подмигнулъ.

— Скажите же мнѣ, какъ это объяснить. Я объ этомъ часто и много думалъ. Вѣдь вотъ говорятъ: mens sana in corpore sano. Но отчего же энергичные, живые, умные люди бываютъ сухощавы? Отчего въ нихъ мало матеріи? Вѣдь, по вашему, матерія источникъ всякой силы. Не правда ли?

— Оттого, ваше сіятельство, что они нервные или желчевики. Оттого-съ, что матерія матеріи рознь, и щепотка золотаго песку тяжелѣе, чѣмъ цѣлый ворохъ пуху.

— Постойте, я вѣдь не кончилъ,—сказалъ князь.

— Слушаю-съ премудрое разсужденіе вашего сіятельства.

— Отчего, Кудиновъ, вдохновенныя дѣла, энергія воли и... религіозный фанатизмъ, какъ вы называете, а я скажу энтузіазмъ, гораздо сильнѣе у подвижниковъ, постниковъ, у которыхъ матеріи очень мало? Что-жъ? Неужели и у нихъ качество ея измѣняется отъ умственнаго и сердечнаго настроенія? Отчего, чѣмъ болѣе они постятся, тѣмъ тверже становится ихъ вѣра, ихъ энергія, ихъ дѣянія?

Онъ нѣсколько помолчалъ. Кудиновъ жадно и вмѣстѣ съ тѣмъ насмѣшливо смотрѣлъ на него, держа обѣими руками голову и качаясь.

— Что-же вы на это скажете, Кудиновъ?

— Скажу, ваше сіятельство, что это вопросъ хитрый. Кой чортъ я знаю о томъ, откуда берется сила у вашихъ постниковъ? Можетъ быть при этомъ матерія получаетъ свойство выдѣлять больше силы. Вѣдь вонъ въ паровыхъ котлахъ, когда воды немного, то столько пара выдѣляется вдругъ, что даже котелъ лопнетъ.

Князь тихо покачалъ головой.

Кудиновъ опять началъ:

— Какая силища, напримѣръ, является у сумасшедшихъ. Я тоже гдѣ-то читалъ, что въ нѣкоторыхъ нервныхъ болѣзняхъ, истерикахъ у слабенькихъ женщинъ такая проявляется

мышечная силища, что нѣсколько здоровенныхъ мужчинъ не могутъ съ ними сладить. Ну, а сила постниковъ, сила энтузіазма или тамъ... вѣры что ли, это еще не есть сила. Этакъ можно упрямство тоже назвать силой, а это скорѣе безсиліе, инерція.

Онъ пожалъ плечами и замолчалъ.

— Послушайте Кудиновъ, — сказалъ князь, наклоняясь къ нему и такъ тихо, что я едва могъ слышать его, хотя и стоялъ между нимъ и Кудиновымъ.—Послушайте, Кудиновъ, можно все объяснять въ одну сторону выходить изъ матеріи и вертѣться въ этомъ заколдованномъ кругу матеріи. Можно ничего не признавать кромѣ силы нервовъ. Ну, а если есть что-то еще, кромѣ этой силы нервовъ?

Онъ закашлялся немного и снова продолжалъ:

— Возьмемъ, напримѣръ, ваши галлюцинаціи.—Кудиновъ слегка вздрогнулъ и лицо его сдѣлалось темнымъ.—Положимъ, можно ихъ объяснить разстройствомъ мозга, тамъ... нервной системы, кровообращенія, но можно сказать и наоборотъ, что онѣ вызвали разстройство мозга или нервовъ, а затѣмъ,—Костя наклонился еще ближе,—кто же поручится, что это дѣйствительно галлюцинаціи, а не что-нибудь другое, чего мы еще не знаемъ.

Кудиновъ страшно поблѣднѣлъ, отнялъ руку отъ головы и пересталъ качаться.

Князь взглянулъ на него и замолкъ.

— Простите, Кудиновъ,—сказалъ онъ тихо и нерѣшительно, какъ бы самъ съ собой,—я сдѣлалъ глупость... мнѣ не слѣдовало...

Кудиновъ всталъ. Кровь опять прилила къ его лицу, оно потемнѣло, глаза засверкали. Онъ дышалъ страшно тяжело и прерывисто.

— Изъ васъ, ваше сіятельство,—сказалъ онъ хриплымъ, сдавленнымъ голосомъ,—изъ васъ, кромѣ глупостей, ничего не добудешь. Глупость и свиное ухо.

Онъ сдѣлалъ шаговъ пять, качаясь и хрипло дыша, вдругъ взмахнулъ лѣвою рукой и грохнулся на полъ.

Мы съ княземъ бросились къ нему. Изъ его рта и носу быстро побѣжала струя темной крови.

— Бѣги, бѣги, дѣтка! Зови скорѣй! Ахъ, Боже, Боже милосердый!—вскричалъ Костя, нагибаясь къ нему и разтегивая его халатъ.

Я самъ былъ, кажется, близокъ къ обмороку. Не помня себя, съ крикомъ: «помогите, помогите!» я бросился въ корридоръ.

XVI.

На другой день Кудинова перемѣстили въ маленькую комнатку подлѣ больницы. Прежде она была занята разнымъ хламомъ, связками бумагъ, старинными книгами, поломанною мебелью, сложенною въ кучу, сундуками съ какою-то рухлядью и тому подобными антикварными предметами. Все это убрали и вынесли. Комнатку вымыли, промыли единственное окошечко, которое было на верху, высоко отъ полу, и помѣстили Кудинова словно затворника.

Насъ никого не пускали къ нему, а дежурила при немъ какая-то нанятая сидѣлка, женщина сгорбленная и обширная, медленная и сонная.

За то мы ходили къ князю, правда, урывками, но только около него почти всегда собиралось человѣка три, четыре; потому ли, что двое воспитанниковъ были серіозно больны, или по какимъ-нибудь другимъ соображеніямъ, но надзоръ за нами значительно ослабѣлъ. Даже «Черный Котъ» куда-то исчезъ безслѣдно и незамѣтно, а Миронычъ большею частью спалъ, сидя въ передней на конникѣ.

Прошла недѣля, и Кудинова выпустили изъ его больнич-

ной тюрьмы. Намъ всѣмъ было приказано не разговаривать съ нимъ и не безпокоить. Впрочемъ, это и сами бы мы сдѣлали охотно. Онъ, очевидно, всѣхъ дичился; уходилъ въ какой-нибудь пустой классъ и тамъ читалъ или писалъ.

Если изъ старшихъ кто-нибудь обращался къ нему съ вопросомъ, то онъ обыкновенно махалъ рукой и уходилъ прочь. За обѣдомъ онъ сидѣлъ молча, почти ничего не ѣлъ, а вечеромъ рано ложился спать.

Однажды, когда мы всѣ собрались въ дортуаръ, гдѣ онъ лежалъ, уже раздѣвшись и, по обыкновенію, закутавшись въ одѣяло, онъ вдругъ сбросилъ одѣяло, сѣлъ на постели и, къ удивленію всѣхъ насъ заговорилъ.

— А что, господа,—спросилъ онъ какимъ-то неестественнымъ голосомъ,—одинъ, такъ сказать, общественный вопросъ...

Мы всѣ молчали.

— Это я просто, понимаете, ради назиданія, такъ сказать, общаго интереса, а не ради чего-нибудь.

Онъ весь вздрогнулъ, потянулся и помолчалъ.

— Я вотъ думаю... тьфу! проклятая трясучка, все еще значитъ боленъ,—замѣтилъ онъ въ скобкахъ,—вѣдь Флюгарка былъ вредное животное, то-есть въ общественномъ смыслѣ. Такъ, самъ по себѣ, онъ былъ, можетъ быть, и хорошій, добрый человѣкъ, но въ общественномъ смыслѣ...

Онъ немного помолчалъ, мы тоже всѣ молчали.

— Ну-съ, а потому его надлежало устранить изъ общества. Вѣдь преступниковъ казнятъ, а онъ совершилъ преступленіе, и не одно...

Онъ опять помолчалъ и потомъ заговорилъ тихо, съ трудомъ:

— А что, господа, еще маленькій вопросецъ: вотъ вы всѣ возмущены поступкомъ Флюгарки и всѣ желали бы его исключить и похерить. А позвольте васъ спросить; поднялась-ли

бы у кого-либо изъ васъ рука на Флюгарку? Я спрашиваю: поднялась ли бы или нѣтъ?

Онъ немного привсталъ съ постели и покраснѣлъ.

Бисюгинъ вдругъ также поднялся съ постели и подошелъ къ нему.

— Ты, mon cher, предлагаешь вопросъ, которымъ слѣдовало бы закончить. Во всемъ необходима постепенность. Зачѣмъ намъ поднимать было на него руку, когда было множество способовъ устранить его.

— Какъ?..—спросилъ Кудиновъ и поблѣднѣлъ.

— Мы могли бы, напримѣръ, просить удалить его, какъ сквернаго товарища, могли бы написать угрожающее анонимное письмо къ отцу, могли бы его, наконецъ, выгнать мелкими преслѣдованіями. А наконецъ, еслибъ это все не помогло,—и онъ заговорилъ шопотомъ,—мы бы начали ему подбавлять въ чай добрую порцію аглицкой соли, и его животы, которые были и безъ того плохи, такъ бы испортились, что, наконецъ, принуждены бы были убрать его прочь.

— Я это пробовалъ,—признался Кудиновъ отрывистымъ шопотомъ и вдругъ поблѣднѣлъ еще сильнѣе.

— Что же не довелъ до конца?

Кудиновъ ничего не отвѣтилъ и сидѣлъ молча.

Мы всѣ смотрѣли на него. Вдругъ лицо его начало краснѣть, глаза засверкали. Онъ нѣсколько разъ взглянулъ на насъ со злобой.

— Все это, господа,—заговорилъ онъ, съ трудомъ дыша, — трусость въ васъ говоритъ; всѣ вы подлецы, скоты, свиньи!..—И онъ плюнулъ.

Колотуровъ хотѣлъ что-то отвѣчать ему, но Бисюгинъ дернулъ его за рукавъ и быстро подошелъ ко мнѣ.

— Принеси скорѣй стаканъ воды, — сказалъ онъ шопотомъ.

— Да здѣсь есть вода. Вонъ, въ графинѣ.

Онъ налилъ стаканъ и подошелъ къ Кудинову.

— Выпей, mon cher, тебѣ нельзя сердиться и надо капли принять; ты еще совсѣмъ боленъ.

Кудиновъ не вдругъ взялъ стаканъ. Нѣсколько мгновеній онъ сидѣлъ молча, весь дрожа, и затѣмъ взялъ стаканъ, почти половину его расплескалъ на одѣяло и выпилъ.

Бисюгинъ взялъ капли съ окна, отсчиталъ пятнадцать капель въ рюмку и, доливъ водой, далъ принять ему.

Мы долго молча ворочались на своихъ постеляхъ. Я все чего-то ждалъ и въ этихъ ожиданіяхъ уснулъ крѣпко.

На другой день Кудинова опять отправили въ одиночное заключеніе.

Докторъ сказалъ, что если чрезъ мѣсяцъ онъ не поправится, то надо будетъ отвезти его къ отцу, «а то,—сказалъ онъ,—не далеко и до желтаго дома». И всѣ старшіе, какъ будто, рады были, что его удалили.

Прошло еще нѣсколько дней. Листья совсѣмъ распустились, и май мѣсяцъ переходилъ въ лѣто.

Съ каждымъ днемъ Костя становился слабѣе. Онъ видимо таялъ.

Лицо его сильно измѣнилось. Я въ жизнь свою не встрѣчалъ болѣе симпатичнаго выраженія. Онъ постоянно всѣмъ улыбался, какъ-то грустно и восторженно. Тяжелая боль въ груди, какъ будто вовсе не безпокоила его, и только, когда сильный кашель надрывалъ ему грудь, глубокое страданіе выступало на лицѣ. Вмѣстѣ съ сильно надувавшимися жилами на лбу и на тонкой, исхудавшей шеѣ, какая-то шишка постоянно двигалась по его горлу при дыханіи. Но какъ скоро кончался кашель, Костя опять смотрѣлъ на всѣхъ весело и привѣтливо, какъ будто смѣясь своему безсилію.

— Ничего, дружокъ, — говорилъ онъ мнѣ, съ трудомъ дыша,—это тѣло гнилое разрушается, надо же и ему дать время и торжество, души оно не побѣдитъ, не бойся.

Мы всѣ почти не отходили отъ него. Занятій намъ уменьшили, и мы почти все свободное время проводили въ больницѣ, тихо читая что-нибудь вслухъ.

Разъ, это было 26 мая, какъ теперь помню, вечеромъ мы всѣ, старшіе и малыши, сидѣли въ больницѣ подлѣ Кости. Онъ сидѣлъ у открытаго окна въ садъ, въ томъ самомъ вольтеровскомъ креслѣ, въ которомъ спалъ когда-то Миронычъ. Его обложили кругомъ подушками; мы натащили изъ классовъ табуретовъ и размѣстились вокругъ! Крамковъ читалъ какую-то повѣсть изъ *Русской Бесѣды*. Онъ хорошо читалъ, не громко, но «съ чувствомъ, толкомъ». Князь смотрѣлъ въ окно, прислонившись къ подушкѣ. Солнце, уже низко опустившись освѣщало его палевый, шелковый халатикъ и бѣлый платокъ въ его блѣдной, исхудалой, дрожащей рукѣ. Онъ смотрѣлъ на ясное небо, на зелень; полное довольство играло въ его большихъ блестящихъ глазахъ.

...«И онъ пришелъ къ заключенію», читалъ Крамковъ о героѣ повѣсти, «что все должно придти къ любви. и все возродится и оживится любовью».

— Это совершенно вѣрно,—сказалъ князь, повернувшись тихо къ Крамкову.—«все возродится и оживится любовью»,— Глаза его еще сильнѣе заблестѣли.—Друзья мои милые, меня не будетъ; можетъ быть, многіе изъ васъ не доживутъ до этого блаженнаго времени (Костя нѣсколько разъ кашлянулъ какъ-то глубоко, болѣзненно, прижавъ обѣ руки къ груди); но, кто доживетъ, тѣ пусть вспомнятъ мои слова; это придетъ неизбѣжно, потому что ничего другого нѣтъ и не можетъ быть ни въ природѣ, ни въ человѣкѣ. Теперь для насъ тянется тяжелое время борьбы, неустройства, ненависти къ брату, но братъ, все-таки, останется братомъ, и когда всѣ мы, всѣ придемъ къ убѣжденію, что другой дороги нѣтъ, что надо любить, то всѣ мы обрадуемся какъ дѣти и возлюбимъ другъ друга.

Онъ говорилъ тише и тише, на глазахъ его выступали слезы и словно капли чистаго, весенняго дождя покатились по впалымъ щекамъ, пылавшимъ яркими пятнами.

Онъ тихо протянулъ руку сидѣвшему подлѣ него Горненко.

— Вѣрь, другъ мой,—сказалъ онъ чуть слышно,—вѣрь, что рано ли, поздно ли, а это будетъ.

Въ это время въ комнатѣ Кудинова что то стукнуло. Онъ глухо застоналъ.

Колотуровъ приподнялся, прошептавъ:

— Надо посмотрѣть, тамъ ли сидѣлка.

Но вдругъ, самъ Кудиновъ появился на порогѣ. Онъ не шелъ, онъ вползалъ на колѣняхъ. Страшно блѣдное лицо его все дергалось, мускулы челюстей нервно сжимались; глаза, большіе, расширенные, блестѣли какою-то дикою рѣшимостью, на нихъ стояли слезы; онъ ползъ и глухо стоналъ.

Мы всѣ вскочили, даже Костя приподнялся съ подушекъ.

— Я... я... — проговорилъ Кудиновъ съ трудомъ (зубы его страшно стучали),—я убилъ его!..

Проговоривъ это, онъ припалъ головой къ землѣ и со стономъ стукаясь головой объ полъ неистово завылъ.

Отъ этого дикаго воя всѣхъ насъ невольно покоробило; но что страннѣе всего, князь, не могшій ходить безъ помощи другого, самъ всталъ и довольно твердою походкой подошелъ къ нему, всталъ на колѣни, нагнулся къ нему и приподнялъ его.

Кудиновъ обнялъ его и, припавъ къ его груди, зарыдалъ какимъ-то дѣтскимъ визгливымъ плачемъ.

Мы всѣ стояли и удивленно переглядывались.

Костя что-то такое тихо говорилъ, шепталъ Кудинову; но что такое, мы не могли разобрать. Наконецъ, онъ перекрестилъ Кудинова; тотъ всталъ и пошелъ прямо къ двери въ корридоръ.

Когда онъ повернулъ къ этой двери, глаза наши встрѣтились и, мнѣ кажется, я никогда не забуду выраженія его глазъ. Это были глаза заплаканнаго, сердитаго, капризнаго, но добраго ребенка. Въ немъ не было и тѣни той злобы, которая обыкновенно блестѣла въ нихъ.

Мы всѣ хотѣли двинуться вслѣдъ за нимъ, но князь остановилъ насъ:

— Не мѣшайте ему други милые; пусть онъ исполнитъ свое дѣло.

— Куда же онъ отправился? — спросилъ Неключиковъ.

— Онъ пошелъ къ Ивану Михайловичу... покаяться въ ужасномъ грѣхѣ братоубійства.

— Это онъ тебя убилъ, Костя?—спросилъ Гусикъ.

— Нѣтъ, мой милый... не меня... а Флюгитскаго.

— Флю-ги-тскаго!—медленно проговорилъ Бисюгинъ и удивленно посмотрѣлъ на всѣхъ. Краска почти совсѣмъ сбѣжала съ его ярко-розовыхъ щекъ, а pince-nez свалился съ его носа.

Колотуровъ многозначительно кивнулъ головой, какъ-будто говоря: «Это давно было извѣстно».

— Милые братья мои,—тихо проговорилъ Костя, тяжело дыша и лежа на подушкѣ, — повѣрьте, что нѣтъ ужаснѣе преступленія, какъ убить брата своего...

Судорожный кашель, отъ котораго затрепетало, кажется все существо его, началъ душить его.

Неключиковъ давалъ ему пить воды, Колотуровъ поддерживалъ ему голову. Кашель кончился, и тяжело дыша, весь дрожа, блѣдный какъ трупъ, Костя снова опустился на подушки.

Мы сидѣли и стояли молча вокругъ. Вдругъ дыханіе его прекратилось.

— Что это, онъ... умеръ?!—вскричалъ въ испугѣ Крамковъ.

— Вѣрно обморокъ,—сказалъ Колотуровъ, и взявъ банку съ нашатырнымъ спиртомъ, приставилъ ее къ носу Кости.

Онъ очнулся и снова слегка закашлялъ.

Я помню, да вѣроятно, никогда и не забуду того чуднаго выраженія лица, которое было у него во время обморока. Это была бездна спокойствія, довольства и блаженства...

— Я думалъ, что уже я тамъ, – сказалъ Костя, открывъ глаза и тихо улыбнувшись... — Такъ не хотѣлось бы ворочаться къ вамъ, — и онъ снова закрылъ глаза и протянулъ намъ руки...—простите меня други... такъ хорошо... тамъ.

— Гдѣ тамъ?.. гдѣ насъ нѣтъ?—сказалъ Колотуровъ, и въ голосѣ его слышалась легкая насмѣшка.

— Тамъ, гдѣ нѣтъ ни горя, ни страданія... ни ненависти... ни братоубійства,—сказалъ Костя.

Онъ помолчалъ нѣсколько минутъ, дыханіе его дѣлалось медленнѣе и отрывистѣе.

— Здѣсь, — заговорилъ онъ, чуть слышо, не открывая глазъ, такъ что Бисюгинъ, Горненко, Крамковъ и Неключиковъ должны были наклониться къ нему... — Здѣсь... на насъ всѣхъ... гяготѣетъ грѣхъ братоубійства... Сколько бѣдныхъ... умираютъ съ голода... холода... Оттого... что намъ слишкомъ хорошо... Мы... захватили ихъ... долю... и пиршествуемъ... Любовь... Братство... Сонъ!

Онъ глубоко съ протяжнымъ тихимъ стономъ вздохнулъ. Глаза его широко открылись и остолбенѣли.

Мы стояли и ждали, что онъ будетъ еще шептать намъ что-нибудь. Но Горненко торопливо положилъ руку на его грудь. Затѣмъ взглянулъ какъ-то сердито на всѣхъ насъ и вдругъ всхлипнулъ и началъ рыдать, закрывшись платкомъ.

— Скончался?!—вскричалъ съ ужасомъ Бисюгинъ.

Крамковъ молча перекрестился большимъ крестомъ. Колотуровъ стоялъ, отвернувшись къ окну и упорно смотрѣлъ на закатъ.

Красное солнце выглянуло сквозь деревья и заиграло теплымъ свѣтомъ на блѣдномъ лицѣ Кости.

Я помню, какъ у меня при этомъ все сжалось въ груди. Тяжелая, безвыходная тоска, грусть одиночества сдавили сердце.

Я помню: мнѣ хотѣлось припасть къ его блѣднымъ, исхудалымъ рукамъ и зарыдать, но меня пугало его лицо съ непривычными остолбенѣлыми глазами и широко открытымъ ртомъ.

Мнѣ нечѣмъ было дышать, а мнѣ хотѣлось звать его.]

— Костя, — прошепталъ я, — Костя!.. — проговорилъ я громче,—Костя!—закричалъ я съ отчаяннымъ визгомъ и, все перепуталось, перемѣшалось въ моей головѣ.

Мнѣ показалось, что мы бѣжимъ съ нимъ гдѣ-то въ саду, бѣжимъ скоро, скоро, взявшись за руки...

Я очнулся черезъ часъ въ дортуарѣ, куда перенесли меня въ обморокѣ. Я рыдалъ долго, истерически. Горненко утѣшалъ меня, уговаривалъ и давалъ мнѣ нюхать сѣрный эфиръ. Подъ его опьянѣніемъ я мало-по-малу утихъ, и горе какъ-будто забылось.

XVII.

Въ этотъ вечеръ, къ счастію или несчастію нашему, не было дома ни Карла Ивановича, ни «Почтаря», и весь пансіонъ былъ предоставленъ на благоусмотрѣніе Мартына и его ближайшихъ помощниковъ.

Карлъ Ивановичъ съ половины мая каждый вечеръ уѣзжалъ на какую-то ферму, въ семи верстахъ отъ города.

Иванъ Михайловичъ въ этотъ вечеръ отправился также за городъ на гулянье, такъ что Кудиновъ не могъ заявить то, что онъ желалъ.

На другой день отъ Мартына мы узнали, что произошло на половинѣ Ивана Михайловича.

— Онъ пришелъ,—разсказывалъ Мартынъ о Кудиновѣ,— я ему докладываю, нѣтъ, молъ, дома Ивана Михайловича и Александры Алексѣевны, нѣтъ и до вечера не будутъ. Чай поздно вернутся, на Заимку поѣхали. Такъ вѣдь ничто его нейметъ. Усѣлся на конникѣ въ передней и, какъ вы думаете, просидѣлъ все время и дождался. Разумѣется, я его одного не оставлялъ. Вѣдь говорятъ, что сумасшедшій (проговорилъ онъ шепотомъ), долго ли до бѣды. Вдругъ приходитъ Марѳа и говоритъ: «Мартынъ, говоритъ, Мартынъ; ступай скорѣе, князь-то скончался. Всѣ плачутъ тамъ...« Ахъ ты, Господи! «Никитичъ, говорю, побудь здѣсь, пожалуйста, не оставь, говорю, Кудинова.—Князь, молъ, его сіятельство, скончался». А онъ глядитъ на меня, глазами моргаетъ, хоть бы словечко. Ахъ ты, Господи! Побѣжалъ я къ вамъ, все обрядилъ. Прихожу, ужъ часъ одиннадцатый былъ. Сидитъ, мои матушки, точно истуканъ на конникѣ. Тутъ ужъ скоро Иванъ Михайловичъ пріѣхали. Всталъ, подошелъ это къ нимъ. «Мнѣ, говоритъ, надо вамъ одну суріозну вещь объявить. Нельзя ли, молъ, безъ свидѣтелей?» И сейчасъ Иванъ Михайловичъ увели его къ себѣ въ кабинетъ. Я подождалъ немного. Что говорятъ, не слышно. Только вдругъ громче и громче пошло, ровно бранятся. Ахъ ты, молъ, Господи! что, молъ, тако? Вдругъ дверь отворяютъ. Выходятъ. «Ступайте!» говоритъ Иванъ Михайловичъ такъ гнѣвно всѣ покраснѣли: «ступайте, говорятъ, черните, говорятъ, пансіонъ; доносите, говорятъ, вамъ никто не повѣритъ».— «Не доносить я хочу», говоритъ этакъ, обернувшись къ Ивану Михайловичу ровно съ боку, «не доносить я хочу, а сознаться въ преступленіи».—«Ступайте, ступайте!» кричитъ Иванъ Михайловичъ и машетъ рукой на него: «можете дѣлать что угодно. Завтра же вы не будете въ моемъ пансіонѣ, завтра же!...»

Вчера вечеромъ въ общей суматохѣ и горѣ мы забыли

о Кудиновѣ. Поздно вечеромъ онъ пришелъ въ дортуаръ и, не раздѣваясь, повалился на постель. Впрочемъ, въ эту ночь почти никто изъ насъ не раздѣвался.

Всѣмъ было дѣло. Съ вечера старшіе ушли въ больницу и двери заперли. Въ дортуарѣ остался одинъ Горненко и мы, малыши.

Въ десятомъ часу насъ уложили спать, и Горненко ушелъ.

Я полежалъ съ полчаса, но заснуть не могъ. Меня сильно тянуло въ больницу. Костя, точно живой, стоялъ предо мною, и вдругъ я вспомнилъ, что онъ уже умеръ, что я его не увижу. Слезы душили меня. Я переворачивался съ боку на бокъ и старался ни о чемъ не думать.

Черезъ часъ пришелъ Горненко, наклонился ко мнѣ, причемъ я замѣтилъ, что на глазахъ его стояли слезы.

— Грицо!—сказалъ я ему,—мнѣ хочется пойти къ нему проститься; мнѣ не спится.

— Куда же ты пойдешь, дитко? Опять расплачешься и унять тебя нельзя будетъ.

— Нѣтъ, я не буду плакать.

И я быстро соскочилъ, одѣлся. Горненко пошелъ вслѣдъ за мной, точно нянька.

Двери въ больницу были затворены; мы вошли. Маленькая восковая свѣчечька горѣла въ углу передъ образкомъ, который стоялъ на столикѣ.

На этомъ же столикѣ лежалъ раскрытый *Псалтирь*, и Неключиковъ громко, внятно, истово читалъ его.

Передъ столикомъ, на завѣшанномъ скатертью столѣ лежало тѣло князя. Его положили въ бархатной курточкѣ. На сложенныхъ рукахъ лежалъ образокъ, который всегда висѣлъ передъ его кроватью.

Лицо его было все въ тѣни. Я подошелъ, перекрестился и съ ужасомъ уставился на него Мнѣ хотѣлось спросить отчего у него завязаны зубы и отчего на лѣвомъ глазу ле-

жала какая-то мѣдяшка, чернѣя чернымъ пятномъ на желтовато-блѣдномъ лицѣ; но мнѣ не хотѣлось ни ворочаться, ни шевелиться, ни говорить.

И вдругъ какой-то голосъ внутри ясно сказалъ мнѣ: «а вѣдь ты его больше не увидишь живаго», и тотчасъ же спазма сдавила мнѣ горло. Я больно ущипнулъ себя, чтобы не расплакаться и оглянулся кругомъ.

Колотуровъ спалъ на постели Кости. Бисюгинъ, Флигинъ и Крамковъ сидѣли рядомъ на другой кровати; сидѣли всѣ угрюмо, повѣсивъ головы или опустивъ ихъ на колѣни; вѣроятно, нѣкоторые дремали.

У меня вдругъ сдѣлалась внутренняя дрожь и ознобъ, несмотря на все желаніе мое молиться за Костю.

Горненко подошелъ ко мнѣ и, наклонившись, сказалъ шопотомъ:

— Пойдемъ... дитко! Завтра простишься... завтра!

И онъ почти насильно вывелъ меня изъ больницы. И только что мы вышли, какъ на меня опять напалъ неудержимый пароксизмъ плача.

Горненко схватилъ меня за руку и почти бѣгомъ доставилъ въ дортуаръ, гдѣ опять обратился къ спасительной банкѣ съ эфиромъ.

На другой день я проснулся поздно, когда уже всѣ давно встали. Оказалось, что меня не велѣно было будить, и я проспалъ чуть не до одиннадцати.

Первое, что поразило меня, это собравшаяся группа около Мартына, который стоялъ недалеко отъ моей кроватки и что-то съ жаромъ разсказывалъ въ полголоса.

— Ну! значитъ Никитича такъ и отпустилъ. Твердитъ на все: «знать молъ ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю, ваше благородіе. Така фефела! Ну, меня значитъ начали допрашивать: «ты молъ кто?» Такой-то. Ну, извѣстно, какъ все у нихъ слѣдываетъ, по формѣ. Былъ ты, говоритъ, когда убился

ученикъ. Былъ, молъ, говорю. Ну, разскажи, молъ, какъ-было. Да какъ, говорю, вѣрно вышелъ на галдарейку за нуждой, а тамъ, молъ, не знай, какъ у нихъ дѣло было, только Флюгитскій-то очутился въ оврагѣ. Грохнулся, знамо дѣло, и лѣвый високъ это себѣ разсадилъ, и глазъ вышибъ, а отчего у него на правомъ вискѣ былъ синякъ, это я ужъ невластенъ. Тутъ вдругъ докторъ, который поодаль сидѣлъ, вдругъ этакъ вскочитъ. «Какой такой синякъ? никакого синяка не было. Вотъ прочти, говоритъ протоколъ».—«Смотри, говоритъ приставъ, и этакъ грозитъ мнѣ пальцемъ,—смотри, ложно не показывай. Знаешь, что бываетъ за фальшивую присягу—Сибирь, каторга!» Я махнулъ рукой (и онъ дѣйствительно махнулъ рукой и прошепталъ): ладно молъ, буду показывать, какъ вамъ надо. Сибирью-то не пужайте. Ну. и показалъ.

— И вышла та же фефела другаго помола,—проговорилъ Бисюгинъ.

— Нѣтъ-съ! вы позвольте; зачѣмъ фефела? Теперь если-бъ я уперся на моемъ показаніи. Вѣдь они тоже сила! Положимъ, въ Сибирь-то меня бы не сослали, а навредили бы мнѣ такъ, что страсть.

Вдругъ Неключиковъ покраснѣлъ и подступилъ къ нему.

— Такъ тебѣ что за дѣло, подлецу, если бы даже и навредили? Правда прежде всего; ты стой за правду, а ты лжешь! Фальшивое показаніе, свинья, далъ!

Мартынъ мотнулъ головой кверху точно лошадь и усмѣхнулся

— Эвона! Что за дѣло! Чай на мнѣ своя шкура-то, а не ваша. Вы вонъ за правду-то, что не стоите? зачѣмъ даете ложныя показанія и Карлу Ивановичу, и Ивану Михайловичу? Обманываете чуть не каждый день.

— Дуракъ, дуракъ и трижды дуракъ!

— Да, дуракъ. Нѣтъ, небось не дуракъ, а человѣкъ съ оглядкой... Никто хвоста не прищемитъ!..

И онъ пошелъ вонъ.

Мы ждали Кудинова, чтобъ его разспросить обо всемъ, но Кудиновъ больше не являлся. Мы послѣ узнали, что къ его отцу Иванъ Михайловичъ послалъ эстафету и съ вечера отправилъ Кудинова въ гостинницу, куда и самъ ѣздилъ для объясненія съ отцомъ и откуда Кудиновъ ходилъ въ часть для разспросовъ. Насъ удивляло только, что онъ не пришелъ къ намъ проститься. Впрочемъ, это прощаніе вѣроятно было тяжелѣе для него, чѣмъ для насъ.

Мы отправились въ больницу.

— А вѣдь это подлость, господа,—сказалъ Бисюгинъ,— скрывать убійство, составлять дожный протоколъ.

— Какая же подлость?—удивился Колотуровъ.—Если-бъ общество было правильно организовано, то ничего бы и скрывать-то не надо было. Подлость была ябедничать, доносить. Вотъ это истинная подлость. Если бы Кудиновъ не былъ нервный, такъ ничего бы не надо было ни открывать, ни скрывать. Подлость за подлость и квиты.

— Ты считаешь убійство только подлостью?—допросилъ Бисюгинъ.

Но въ это время стремительно прибѣжалъ Крамковъ.

— Господа, господа! попы пришли,—кричалъ онъ.— «Почтарь» поповъ нанялъ панихиду служить.

Мы поспѣшно пошли въ больницу, и вслѣдъ за нами по пятамъ вошелъ дьячекъ и причетникъ. Они принесли три высокіе подсвѣчника, обернутые чернымъ коленкоромъ, поставили ихъ вокругъ стола, на которомъ лежало тѣло Кости, и зажгли свѣчи.

Затѣмъ причетникъ внесъ большой узелъ, а дьячекъ сталъ изъ него вынимать ризы, книги, Евангеліе, обернутое эпитрахилью, которое онъ положилъ на столикъ, и кадильницу.

— Господа,—обратился къ намъ шепотомъ дьячекъ,— гдѣ бы у васъ раздобыть угольковъ?

— Въ кухнѣ, я думаю, найдете.

Въ это время вошелъ Мартынъ и увелъ его въ кухню.

По корридору гулко раздались медленные шаги нѣсколькихъ человѣкъ и въ больницу вошли отецъ протопопъ съ дьякономъ, Иванъ Михайловичъ, Александра Алексѣевна, Карлъ Ивановичъ и почти всѣ учителя. Въ больничной комнатѣ стало тѣсно.

Священникъ медленно облачился въ черную бархатную ризу, обшитую широкимъ серебряннымъ позументомъ и взявъ отъ дьякона курившуюся кадильницу, началъ медленно обходить столъ, съ трехъ сторонъ, и тихо кланяясь съ каждой стороны. Въ отворенныя настежь окна доносилось щебетанье птицъ, виднѣлись зелень, небо и чуть-чуть покачивающіяся вѣтки липъ.

— Упокой Господи душу новопреставленнаго раба твоего, князя Константина,—читалъ священникъ,—отнюду же отбѣже всякая печаль и воздыханіе.

Кто-то вздохнулъ, кто-то громко высморкался. Дьяконъ началъ что-то читать, нагнувшись, весь напыжившись и бунча точно шмель или большой слѣпень.

А подъ тактъ ему Колотуровъ каждый разъ тихо повторялъ:

— Бемъ, бемъ, бумъ, бумъ, бумъ.

Мнѣ вдругъ стало неудержимо смѣшно и все мое молитвенное настроеніе улетѣло. Я фыркалъ, зажималъ ротъ и носъ, и все-таки не могъ удержаться.

Но вдругъ въ это время священникъ тихо и внятно проговорилъ:

— И объ упокоеніи души раба Божія князя Константина Господу помолимся.

И мой смѣхъ вдругъ исчезъ, и я вмѣстѣ съ Гусикомъ

опустился на колѣни. И когда священникъ внятно и съ умиленіемъ началъ читать, мнѣ вдругъ представился Костя, какъ живой. Горло мое судорожно сжалось. Я поклонился въ землю и неистово зарыдалъ.

Горненко быстро поднялъ меня и бѣгомъ увлекъ въ дортуаръ, проговоривъ ворча на бѣгу:

— Этакая слезилка, мокрая!

Но мы только что вбѣжали въ дортуаръ, какъ я точно капризный ребенокъ съ сердцемъ выдернулъ свою руку изъ его руки.

— Пусти меня!—Вскричалъ я,—я за Костю молиться хочу.

XVIII.

На другой день мы похоронили Костю.

Иванъ Михайловичъ сдѣлалъ довольно богатый гробъ голубаго бархата. На одной сторонѣ была княжеская корона. Мы послѣ узнали, что на похороны ему было прислано отдѣльно пятьсотъ рублей, которые едва-ли всѣ пошли на этотъ предметъ. Мы сложились, купили цвѣтовъ и убрали гробъ. На крышкѣ лежалъ роскошный вѣнокъ изъ розъ, фіалокъ и ландышей.

Мы всѣ несли гробъ до самаго кладбища, которое было за городомъ. Темная маленькая церковь приняла тѣло Кости. Она вся была въ зелени. Всѣ ея маленькія окна были отворены. Солнце ударило въ два изъ нихъ и упало веселыми пятнами на пыльныя плиты каменнаго пола, заиграло на окладахъ иконъ, на длинныхъ подсвѣчникахъ. Послѣ отпѣванія всѣ пошли прощаться съ Костей. Иванъ Михайловичъ и Карлъ Ивановичъ стали у гроба, ради порядка, и мы всѣ, одинъ за другимъ, подходили и молча цѣловали холодный

лобикъ Кости. Когда очередь дошла до меня и я взглянулъ на его блѣдное лицо, мнѣ показалось, что онъ улыбался своею кроткою, милой улыбкой. Я припалъ къ нему и отчаанно зарыдалъ. Меня отняли и свели со ступенекъ катафалка. Помню, кто-то сказалъ въ толпѣ:

— Онъ такъ любилъ его.

Меня увели въ дальній уголъ. Всѣ засуетились и я издали видѣлъ, какъ заколотили гробъ, подняли и понесли. Когда всѣ почти вышли изъ церкви, я почти бѣгомъ бросился за процессіей, которая двигалась медленно, и добрался до своихъ. Всѣ шли молча, склонивъ головы и несли его.

Когда подошли къ могилѣ, на ней стояла кучка людей. Изъ нея выдѣлился Горненко и подошелъ къ гробу, который поставили на край могильной ямы, на двѣ широко раздвинутыя доски.

Кто-то подлѣ меня тихо сказалъ: «онъ рѣчь будетъ говорить».

Горненко провелъ рукой по лбу и вытянулъ руку надъ гробомъ:

— Прости, нашъ родной! прости, дорогой!—началъ онъ, и при первыхъ звукахъ его глубокаго, страстнаго, трепетнаго голоса я весь задрожалъ, но не заплакалъ. Всѣ слезы какъ будто ушли внутрь и что-то сдавило, защемило около сердца.

— Чистымъ ты жилъ на землѣ,—говорилъ Горненко,— и чистымъ уходишь отъ насъ въ землю сырую. Любовью дышало кроткое сердце твое, любовью къ правдѣ и миру, и въ любви отлетѣло оно въ вѣчное царство любви и мира. Да пріидетъ, да снизойдетъ къ намъ это благодатное царство, въ которое ты вѣрилъ такъ горячо и слѣпо!.. Да улягутся скорбь и вражда, да исчезнетъ братоубійство. Міръ не взлюбилъ тебя, потому что ты былъ «не отъ міра сего», но сердца наши чувствовали и принимали то доброе

сѣмя, которое ты посѣвалъ въ насъ. Прости же, сѣятель добрый! Ты твоимъ человѣчнымъ чувствомъ привлекалъ насъ, ты твоею кротостью побѣждалъ въ насъ злобу и ненависть. Прости, дорогой, прости нашъ родной! Да будетъ сонъ твой легокъ и да будетъ память о тебѣ жить въ сердцахъ нашихъ, пока будутъ они добры и чисты....

Я оглянулся на всѣхъ. Прямо противъ меня стояли Бисюгинъ, Неключиковъ, Колотуровъ. Всѣ они стояли опустивъ головы. Неключиковъ закрылъ лицо платкомъ; даже Колотуровъ кусалъ губы.

Горненко кончилъ. Онъ проговорилъ сквозь слезы тише и тише: «Прости, прости!» махнулъ рукой, отошелъ и скрылся въ толпѣ. Я помню, какъ выступили могильщики и начали опускать гробъ на бѣлыхъ, длинныхъ и широкихъ полотняныхъ лентахъ. Я помню, мнѣ бросилось въ глаза лицо одного изъ нихъ, угрюмое, все обросшее волосами, все запачканное въ землѣ. Я даже помню глубокій шрамъ на его грубой загорѣлой мозолистой рукѣ. Онъ взялъ лопату, съ усердіемъ копнулъ ею глинистую рыхлую землю, вырытую изъ могилы, и протянулъ эту лопату къ намъ. Иванъ Михайловичъ взялъ съ нее горсть земли и бросилъ въ яму. Она съ глухимъ, рѣзкимъ стукомъ ударилась о крышку гроба. Затѣмъ, всѣ молча начали брать и бросать землю. Она мѣрно сыпалась и стучала съ сухимъ рокотомъ и журчаніемъ. А кругомъ щебетали птицы и тихо шумѣли блестящіе молодые листики березокъ, среди жаркаго весенняго дня.

Я смутно помню, какъ увезли меня съ кладбища на длинной линейкѣ, какъ Горненко очутился возлѣ меня и всю дорогу бережно поддерживалъ меня. У меня жестоко кружилась, болѣла, голова и страшно ныло въ груди; по пріѣздѣ домой меня раздѣли и уложили въ постель.

— Грицо,—сказалъ я, когда къ моей постели подошелъ Горненко.

— Что, слабое дѣтко мое?

— Грицо, дай мнѣ списать твою рѣчь.

— Какую рѣчь, дѣтко?

— То, что ты говорилъ надъ могилой Кости.

— Я говорилъ, а не читалъ, я не знаю, вспомню ли...

— Напиши это мнѣ! Грицо!... добрый мой!

— Попробую, дѣтко, можетъ быть и напишу.

Къ вечеру, когда уже смерклось, мнѣ стало легче. Всѣ были въ саду или на дворѣ.

Всѣ классы были отперты. Всѣ окна были отворены. Я тихонько, съ легкою дрожью въ сердцѣ пошелъ по пустымъ комнатамъ. Въ третьемъ классѣ за столомъ, сидѣлъ Грицо; онъ смотрѣлъ, ничего не видя; его глаза блестѣли даже въ сумеркахъ. Онъ держалъ въ рукахъ карандашъ. Предъ нимъ лежалъ кусокъ бумаги. Я тихонько подошелъ, обнялъ его и прочелъ на бумагѣ слѣдующее:

Струны порвались! Замолкла душа!
Черныя волны бѣгутъ безъ конца...
Гдѣ же всѣмъ темнымъ стремленьямъ предѣлъ?
Гдѣ ты нашъ свѣточъ? Куда улетѣлъ?..
Сердце изныло... Ему тяжело,
Въ мірѣ, гдѣ царствуютъ злоба и зло...
Добрый нашъ ангелъ! Прости нашъ родной!
Ты согрѣвалъ всѣхъ насъ теплой душой...
Въ мірѣ холодномъ тебѣ не жилось,
Въ мірѣ бездушья, разсчета и слезъ...

Здѣсь прерываются мои воспоминанія. Прочтя ихъ теперь, спустя двадцать лѣтъ послѣ того, какъ они написаны, и тридцать лѣтъ послѣ того, какъ случилось все, что въ нихъ описано, я не нашелъ ничего, что бы можно или должно было въ нихъ измѣнить. Для тѣхъ, кто считаетъ юность порой золотыхъ грезъ и безумныхъ надеждъ, пусть они послужатъ опроверженіемъ. Это пора, въ которую, хотя

вскользь, хотя не надолго, просыпаются самые серіозные, самые тяжелые вопросы и которая кладетъ на нихъ навсегда то или другое рѣшеніе, окрашиваетъ его пессимизмомъ или оптимизмомъ. То, что мы видимъ теперь въ современной молодежи, то самое уже начиналось, уже волновало молодыя головы предшедшаго поколѣнія.

Въ нашей пансіонской жизни было много юнаго, горячаго. Не смотря на нашу головную работу, на наши теоріи, каждый скажетъ, что мы жили сердцемъ, а не головой. Еслибы даже въ нашу жизнь судьба не послала такой исключительной, свѣтлой личности, какъ личность Кости—личности, которая въ нашъ вѣкъ безвѣрія кажется какимъ-то страннымъ анахронизмомъ,—то и безъ него сердечныя рѣшенія, очевидно, преобладали.—Въ дѣтяхъ, какъ извѣстно, гораздо больше эгоизма,—чѣмъ во взрослыхъ.—Тотъ же эгоизмъ владѣлъ нами и въ юности.—Но въ нашей юности, какъ и во всякой другой, была одна неизмѣнная черта: это горячее стремленіе къ правдѣ. Въ нашихъ рѣшеніяхъ мы протестовали, отрицали, но только одна рука Кудинова рѣшилась на ломку, во имя принципа, за что и была осуждена всѣми и прежде всего судомъ своей собственной совѣсти. Что же мы видимъ теперь, въ нашемъ современномъ обществѣ? Душа дешевѣетъ, деньги растутъ. Цѣльныя сердечныя стремленія становятся рѣже, слабѣе...

Но, вмѣсто отвѣта разскажу, лучше, какъ я встрѣтился не такъ давно, съ Сеней Бисюгинымъ, встрѣтился въ Петербургѣ, куда я пріѣхалъ не надолго по дѣламъ. Это было въ половинѣ августа, утромъ, въ Пассажѣ.

На встрѣчу мнѣ шли двое господъ, въ байковыхъ пальто. Одинъ приземистый, плотный, черный, съ короткими курчавыми волосами и окладистою бородкой. Другой былъ Сеня Бисюгинъ. Я сразу узналъ его, не смотря на то, что насъ раздѣляли десятки лѣтъ и соединяли только блѣдныя пан-

сіонскія воспоминанія. Онъ сталъ bel-homme, обросъ баками, но его глаза, pince-nez, и носъ его, съ горбикомъ, остались неизмѣнны. Только розовыя щеки приняли рѣзкій, почти багровый, оттѣнокъ, какой онѣ принимаютъ у сангвиническихъ натуръ, которымъ идетъ уже четвертый десятокъ.

— Сеня!—вскричалъ я.

Онъ остановился, прищурился и радостно устремился мнѣ навстрѣчу.

— А, пансіонскій товарищъ!—вскричалъ онъ.—Какими судьбами?

Мы крѣпко пожали другъ другу руку.

— Ну, я тебя, mon cher, совсѣмъ не узналъ. Совсѣмъ бы не узналъ, ma parole,—говорилъ онъ поправляя pince-nez. —Откуда? куда? какъ?

— Не надолго пріѣхалъ къ вамъ въ Питеръ, по дѣлу.

— По какому, s'il n'y a pas de secret?

— Нѣтъ! какая тайна! Сужусь съ однимъ господиномъ, который хочетъ оттягать у меня 200 десятинъ луговъ. Подалъ въ Сенатъ.

— А-а! Процессъ en forme.

Въ это время другой господинъ, стоявшій, повидимому, равнодушно, какъ-то встрепенулся, махнулъ своею камышевою тросточкой съ серебряною головкой и чуть-чуть повелъ ухомъ, какъ собака, почуявшая добычу.

— Да вотъ,—продолжалъ я,—не знаю, какъ приняться. Мнѣ рекомендовали одного ходатая, а онъ, оказывается, уѣхалъ въ Тверь и ранѣе конца мѣсяца не вернется.

— Ну, что же, mon cher, вотъ обратись (и онъ указалъ на господина съ тросточкой), могу рекомендовать. Un avocat accompli... Позвольте представить, Наѳанаилъ Исаковичъ Грудковскій... мой школьный товарищъ Тискуновъ.

Мы пожали другъ другу руку, причемъ Наѳанаилъ Исако-

вичъ сдѣлалъ очень вѣжливый поклонъ, и физіономія его приняла самое привѣтливое и добродушное выраженіе.

— Дѣло ваше въ какое отдѣленіе Сената поступило, позвольте узнать?—спросилъ онъ.

— Въ четвертое.

— Это мнѣ самое извѣстное. Могу служить...

— Да мы что же, mon cher, стоимъ,—сказалъ Бисюгинъ. —Вотъ мы шли съ нимъ попробовать. Здѣсь новый ресторанъ открылся. Вонъ тамъ внизу, и на первыхъ порахъ говорятъ, отлично, собака, кормитъ. Пойдемъ, воспользуемся.

И мы отправились.

Въ ресторанѣ Бисюгинъ заказалъ роскошный обѣдъ и посвятилъ меня въ свою position sociale. Онъ блистательно кончилъ курсъ «правовѣдомъ» и теперь былъ вполнѣ обезпеченъ. Былъ членомъ какого-то высшаго правленія и получалъ около десяти тысячъ въ годъ.

Въ короткихъ словахъ я передалъ Грудковскому сущность моего дѣла.

— Ничего, могу-съ!—сказалъ онъ, торжественно смотря на меня небольшими черными глазками, которые искрились и блестѣли отъ двухъ выпитыхъ нами бутылокъ шампанскаго,

— En l'honneur de notre adolescence!—сказалъ Бисюгинъ и протянулъ мнѣ свой бокалъ.

Мы чокнулись.

— А помнишь князя... князя... какъ его фамилія?—вспоминалъ Бисюгинъ.

— Костю?—спросилъ я.

— Да, да, да! Костю, милаго человѣка «не отъ міра сего».

— Еще бы, какъ же не помнить!

— «Блаженная душа» была. И замѣчательно цѣльный и выдержанный типъ. У насъ въ пансіонѣ въ К. былъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Грудковскому,—товарищъ, одинъ князекъ изъ Грузино-Московскихъ. Можешь себѣ предста-

вить, въ четырнадцать или пятнадцать лѣтъ мальчикъ былъ уже аскетъ en forme. И все проповѣдывалъ братство, любовь и царствіе Божіе.

— Ну, въ наше время этакіе блаженные романтики выводятся,—сказалъ Грудковскій, разсѣянно посмотрѣвъ кругомъ.—Теперь уже только дуракъ не понимаетъ, что сила не въ любви.

— А въ чемъ же, позвольте узнать?—спросилъ я.

Онъ взглянулъ на меня подозрительно и не вдругъ отвѣтилъ.

— Да вотъ-съ, позвольте васъ спросить, вашъ процессъ изъ-за чего затѣянъ, изъ братской любви, что ли?

— Нѣ-ѣтъ! это есть дѣло справедливости.

— Ну вотъ, ну вотъ, видите. Мы всѣ стремимся къ тому, чтобъ отношенія между людьми были справедливѣе, законнѣе... А любовь—это роскошь или ненужныя путы. Когда вы затѣваете процессъ съ вашимъ сосѣдомъ, то вѣрно не подумаете, что этотъ сосѣдъ вашъ «ближній», и сколько найдется людей, которыхъ бы вы пожелали имѣть вашими «ближними», а другіе пускай будутъ самые «дальніе», пускай! —сказалъ онъ, и махнувъ обѣими руками, какъ бы отталкивая всѣхъ этихъ дальнихъ, тихонько захихикалъ.—Знаете ли, я вамъ скажу,—началъ онъ, наклоняясь ко мнѣ,—народъ становится все умнѣе и умнѣе, а почему? потому что отношенія людей усложняются. Прежде было все просто, въ первобытныхъ обществахъ, а теперь посмотрите, какъ все запутано и перепутано. Разрѣшить иной процессъ—у! у! это, я вамъ скажу, математическая задача. Тутъ, чуть гдѣнибудь сдѣлаешь ошибку, глядишь и въ результатѣ ошибка. Да, вѣдь, громадная!

— Такъ вы полагаете,—спросилъ я,—что, въ концѣконцовъ, вездѣ будетъ умъ и разсчетъ?

— О, непремѣнно, непремѣнно-съ! Въ этомъ никакъ

нельзя сомнѣваться. Всѣ отношенія будутъ строго разсчитаны, даже вычислены. Какая тутъ любовь! Тутъ разсчетъ-съ и больше ничего.

Онъ пожалъ плечами, допилъ полбокала шампанскаго и взглянулъ на массивные золотые часы.

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

Вечеромъ, когда улеглись хлопоты и вся дневная суета, когда я лежалъ уже въ постели, мнѣ вдругъ вспомнился этотъ разговоръ.

Костя, словно живой, всталъ предо мной, съ его кроткимъ, любящимъ взглядомъ, съ его милою грустною улыбкой. И я невольно мысленно повторилъ:

Въ мірѣ холодномъ тебѣ не жилось,
Въ мірѣ бездушья, разсчета и слезъ!..
— — — — — — — — — — — —

ДВѢ СТКЛЯНКИ.

(Сказка).

Ахъ какая это была уморительная исторія! Двѣ стклянки женились одна на другой: стклянка съ чернилами на стклянкѣ съ амбрэ.

Кто бы могъ повѣрить, что это такъ близко, но les extremes se touchent!..

Стклянка съ амбрэ была такая красивая, изящная стклянка, такая стройная, субтильная, съ тонкимъ горлышкомъ, съ граціозными плечиками, а главное съ ярлыкомъ, съ блестящимъ раззолоченнымъ ярлыкомъ, и какое амбрэ было въ ней! О! какое амбрэ!

— Мы не продаемъ дурныхъ товаровъ!—увѣрялъ купецъ, продавая эту стклянку маленькому худенькому человѣчку, у котораго всѣ пальцы были запачканы въ чернилахъ.— Мы не продаемъ плохихъ товаровъ и притомъ мы продаемъ вамъ амбрэ 1-й сортъ!

И человѣчекъ купилъ амбрэ. Ему оно было крайне необходимо, чтобы накурить въ тѣхъ комнатахъ, въ которыхъ онъ соберетъ чуть-ли не весь цвѣтъ читающей публики.

— Амбрэ,—подумалъ онъ,—усиливаетъ впечатлѣніе и

притомъ... какъ же мнѣ не покурить, когда у меня соберется чуть-ли не весь цвѣтъ читающей публики!..—И онъ накурилъ и поставилъ стклянку на окно, подлѣ стклянки съ чернилами.

Это было въ жаркій іюньскій вечеръ, когда цвѣтущія липы шептали другъ другу о любви. Какъ же при этомъ удобномъ случаѣ могли не влюбиться одна стклянка въ другую?!

И они влюбились и тотчасъ же женились, потому что стояли рядомъ.

Въ это самое время маленькій человѣчекъ читалъ великую поэму.

Слушатели вздыхали, плакали или спали. Однимъ словомъ, каждый чувствовалъ, на сколько могъ или умѣлъ.

А онъ высказывалъ передъ ними собственную душу. Онъ говорилъ объ истинѣ, о счастьи, о блаженствѣ, о томъ, что должно быть въ мечтахъ каждаго; но никто этому не вѣрилъ, потому что человѣчекъ показывалъ передъ всѣми свою собственную душу; а эта душа была для всѣхъ потемки, ибо для всѣхъ была чужая. Да притомъ, кто же нынче заботится даже о собственной душѣ? Если вы сыты, счастливы, довольны, чего же вамъ больше нужно? И не стыдно-ли, не грѣхъ-ли заниматься какими-нибудь фантазіями!

Когда, наконецъ, онъ кончилъ послѣднюю фразу и взволнованный, дрожащій осмотрѣлъ все собраніе, то все это собраніе оживилось; зашумѣло и полѣзло благодарить его.

— Конечно, ваше превосходительство, эта поэма эпическая?—послышалось ему изъ дальняго угла.

— Какая же эпическая, когда въ ней нѣтъ эпилога!

Маленькій человѣчекъ невольно улыбнулся и вдругъ ему ясно представилась вся эта дичь людскихъ отношеній къ

его собственнымъ чувствамъ, съ которою онъ теперь стоялъ лицомъ къ лицу. Ему стало неловко и больно, точно онъ упалъ съ подмостковъ въ какую-то кучу раковъ, которые расползались врозь, возились безтолково и пошло, шептались и пятились.

— Фу! какая обидная чушь и нелѣпица!—подумалъ онъ.

Когда же онъ, угостивъ и проводивъ всѣхъ гостей, ушелъ въ свою спальню, когда онъ, наконецъ, утомленный заснулъ, то сонъ его былъ также безтолковъ и безпорядоченъ, какъ и все, что онъ дѣлалъ въ жизни.

А стклянки, только-что женившіяся, стояли тутъ же рядомъ на окнѣ. Онѣ были вполнѣ порядочны. Во-первыхъ, ихъ женитьба была совершенно идеальная, а это можетъ быть только у стклянокъ.

Стклянка съ чернилами говорила стклянкѣ съ 'амбрэ очень много весьма странныхъ вещей. Она доказывала ей, что внутри у нея лежитъ медіумъ человѣческой души, что безъ этого медіума люди ничего не могутъ сдѣлать.

— Если,—говорила она,—самый пламенный влюбленный юноша хочетъ написать къ своему предмету: «Душка! я люблю тебя»!—то это дѣлается не иначе, какъ посредствомъ чернилъ. Если надо отдать приказъ, сдѣлать предписаніе, то опять обращаются за помощью къ этому медіуму. Поэзія, наука, философія все проходитъ чрезъ меня и все кончается мною. Когда въ статистическихъ отчетахъ отмѣтятъ васъ умершей, то единица, которой васъ обозначатъ, будетъ непремѣнно изображена моей собственной сущностью. А вы согласитесь, что сумма всѣхъ сущностей и есть сумма всего существующаго.

Но стклянка съ амбрэ не могла понять этой чернильной чепухи. Притомъ объ ея смерти нельзя было упомянуть ни въ одномъ статистическомъ спискѣ, хотя бы онъ и былъ

представленъ на международный конгрессъ всѣхъ статистиковъ.

Въ то время, когда шелъ этотъ поучительный разговоръ между уже женившимися и все-таки, влюбленными другъ въ друга существами, хозяину ихъ снились въ сонномъ видѣніи то же двѣ стклянки: стклянка съ амбрэ и стклянка съ чернилами.

Послѣ этого утверждайте, что между сномъ и дѣйствительностью нѣтъ никакого соотношенія!

Впрочемъ, должно замѣтить, что обѣ стклянки снились ему совершенно въ другихъ, обманчивыхъ образахъ, какъ это обыкновенно бываетъ во снѣ.

Стклянка съ амбрэ представлялась ему въ видѣ легкаго, поэтическаго, чисто женскаго образа, отъ котораго несло самымъ тончайшимъ ароматомъ, на три версты съ четвертью. Это обстоятельство производило такой странный эффектъ, что маленькій человѣчекъ чувствовалъ себя дѣйствительно маленькимъ, а стклянка съ амбрэ или женскій ея образъ казался ему неизмѣримо великимъ, такъ что онъ не осмѣлился бы даже поднять подвязку съ ея ноги, и прошептать: honni soit qui mal y pence! Ему казалось, что все возвышенное, истинное, великое кроется именно въ ней, въ этой стклянкѣ съ амбрэ, что только, посредствомъ ея, міръ возродится и обновится. Въ порывѣ непреодолимаго обожанія, онъ готовъ былъ отдать все, самую душу, за взглядъ, за одно мановеніе бѣломатовой, крохотной ручки дивнаго существа, ибо что такое душа, какъ не частица того блеска, трепета, сіянія, которое скрыто въ ней, въ этой недосягаемой, чистой стклянкѣ съ амбрэ!

И онъ ясно, отчетливо сознавалъ во всемъ существѣ своемъ непреодолимое стремленіе слиться съ этой небожительницей.

— Послушайте! — говорилъ онъ... — нѣтъ, не говорилъ,

потому что словами нельзя выразить то, что чувствуетъ сердце, слова связываютъ.—Послушайте,—плакалъ онъ всѣми слезами трепещущаго сердца...—Гармонія или истина, что скрыто въ васъ, но меня влечетъ, всѣ фибры моего бреннаго существа натянуты и дрожатъ, и поютъ чудный гимнъ и несутся, къ вамъ, къ вамъ.. Музыка, поэзія?.. Что въ васъ?!! Голова кружится, я теряюсь, мое *я* исчезаетъ отъ одного сознанія вашего присутствія.

Она взглянула на него.

Море вѣчнаго, необозримаго раскрылось передъ нимъ. Какой-то блѣдный, нѣжущій свѣтъ льется изъ этихъ глазъ. Лучи тихіе, ласковые проходятъ на самое дно сердца и со звономъ и трескомъ ломаются въ немъ черныя страсти. Въ головѣ становится все яснѣе, яснѣе. Разсудокъ исчезаетъ. Что-то широкое, широкое, безбрежное открывается передъ его испуганными, внутренними глазами, и слезы, трепетныя, восторженныя, льются, смываютъ весь устатокъ, всю прозу и пошлость земнаго...

— Эй, вы! почтеннѣйшій!... Вы что сумасшествуете!— раздается надъ нимъ рѣзкій, солидный голосъ—и все чернѣетъ, чернѣетъ передъ нимъ. Черная стклянка съ чернилами строго опредѣленными контурами вырѣзывается на свѣтломъ образѣ и блѣднѣетъ, расплывается этотъ чудный образъ.

— Прилично-ли, пристало-ли вамъ, милостивый государь, разсудительному человѣку современнаго вѣка дѣлать юношескія глупости! Развѣ вы не видите, что передъ вами просто стклянка съ амбрэ?... И притомъ, это, милостивый государь, жена моя, да-съ, законная жена, съ которой я вступилъ въ законный бракъ. Я нарочно подчеркиваю эти слова: вступилъ въ законный бракъ! Да-съ—я держусь законнаго и презираю всѣ беззаконія. Надо только, чтобы законы общественные сообразовались съ законами природы.

— Господи!...—прошепталъ бѣдный маленькій человѣчекъ. —Господи! Отрѣши отъ насъ всякую законность!...

Такую глупость онъ, очевидно, могъ сказать только во снѣ и притомъ совершенно безсознательно. Все сердце его все существо было полно однимъ повелительнымъ желаніемъ, и вдругъ на пути этого желанія, страстнаго, поэтичнаго, встала... просто стклянка съ чернилами!

Господи!—прошепталъ онъ въ полномъ безсиліи и проснулся.

Глаза его были полны слезъ, а полная луна ласково и таинственно освѣщала всю его комнату: брюки, которыя онъ только что вчера въ первый разъ въ жизни надѣлъ, чистую рубашку отличнаго голландскаго полотна, которую онъ снялъ раздѣваясь, и двѣ стклянки на окнѣ. Онѣ такъ рѣзко, отчетливо выдѣлялись на бѣломъ подоконникѣ, освѣщенномъ луной.

Онъ долго, пристально смотрѣлъ на нихъ.

— Этакая чепуха снится!—проговорилъ онъ и снова легъ.

И снова снится ему чепуха.

Ему снится, что онъ стоитъ передъ раскрытымъ окномъ и полный мѣсяцъ, съ такимъ повелительнымъ блескомъ царитъ среди серебристой, теплой, благоухающей ночи. Какимъ нестерпимымъ сіяніемъ проникнута вся даль, паркъ, мерцающая рѣка! И все это наполнено такимъ нѣжущимъ чарующимъ ароматомъ. Онъ взглянулъ на окно, туда, гдѣ стояла стклянка съ амбрэ... Но ее нѣтъ! Одна стклянка съ чернилами угрюмо и степенно дремлетъ въ ея созерцательной неподвижности.

Сердце его упало. Онъ снова взглянулъ наверхъ, въ глубину волшебнаго воздуха. Гдѣ же она? стонетъ его бѣдное сердце.—Вѣдь это ея благоуханіемъ напоенъ весь этотъ воздухъ, и сіянье и вся необозримая даль!...

ДЪРЖАВНА МЕЖКА БИБЛИОТЕКА СОФИЯ

Что-то заструилось въ воздухѣ, и легкой дымкой заволокло блескъ мѣсяца.

«Это она!»—вскрикнулъ онъ сердцемъ и забилось, забилось съ такимъ мучительнымъ трепетомъ.

О! какъ дивно, призрачно хороша она въ этомъ туманномъ неопредѣленномъ платьѣ, легкая, прозрачная, воздушная,—съ этимъ газовымъ покрываломъ, на которомъ горятъ, металлическимъ блескомъ, неопредѣленные узоры, слова—и ему кажется ясно: I-re qualité, superfine... Но почему же это ему кажется и что влечетъ его къ ней?

Онъ протягиваетъ къ ней руки, онъ тихо поднимается отъ полу и плыветъ, летитъ къ ней; къ ней,—летитъ среди блеска и сіянья, среди свѣжести и аромата теплой, благоухающей ночи!

Онъ остановился въ двухъ шагахъ отъ нея.

Она снова смотритъ на него и что за музыка, что за безконечное томленье льются изъ ея полузакрытыхъ глазъ!

Онъ хочетъ упасть къ ея ногамъ; но куда же упасть и гдѣ же ея ноги? Все призрачно, прозрачно, воздушно, все такъ сказочно обаятельно и такъ дѣтски просто.

— Амбра,—говоритъ онъ ей, складывая руки съ страстной мольбой.—Амбра! Жить одной тобой и умереть въ сладкомъ томленьи любви!..

— Амбрэ, милостивый государь!—звонко раздается надъ его ухомъ,—амбрэ! Вы коверкаете слова и отъ этого извращаются понятія!

Онъ даже не оглянулся.

Онъ и такъ ясно чувствовалъ и понималъ, что сзади его стоитъ ненавистная стклянка съ чернилами, холодная, черная стлянка, съ желѣзно терпкими, ѣдкими, всепроникающими чернилами.

И какъ будто одно и то же желаніе вдругъ обхватило,

откликнулось и въ немъ, и въ ней, въ этой обаятельной стклянкѣ съ амбрэ.

— Полетимъ выше!—промелькнуло въ его сердцѣ и отозвалось въ ней.

И они понеслись, понеслись туда, въ безграничный эфиръ. Мѣсяцъ превратился въ едва замѣтный кружочекъ, а она, ужасная стклянка съ чернилами, чернѣетъ въ его лучахъ едва замѣтной точкой.

Но откуда же льется этотъ чудный непонятный свѣтъ? Это не блескъ мѣсяца, нѣтъ! Это какой-то особенный, нѣжный, удивительно нѣжный, благоухающій и пѣвучій свѣтъ. Онъ тихо льется и звенитъ чудными волнами и эти волны плывутъ и расходятся въ тысячахъ невиданныхъ образовъ.

Какія-то странныя растенія!.. Нѣтъ, это не растенія, а все, что живетъ растительной жизнью, живетъ безконечно въ милліонахъ причудливыхъ формъ. И скалы! Высокія, высокія... Нѣтъ, это не скалы, а волны чуднаго, безбрежнаго моря. Онѣ поднимаются какъ облака и расплываются въ серебристыхъ, голубыхъ туманахъ.

И розовый свѣтъ любви! Радужная призма безконечнаго счастья!

Все измѣняется и переходитъ одно въ другое, какъ безконечный, громадный калейдоскопъ, какъ чудовищная фантасмагорія, и нѣтъ ничему границъ и предѣловъ... Свобода, свобода, полная, безграничная! Золотой сонъ юности свершился. Сбылись завѣтныя упованія... О! какъ дрожитъ, бьется радостное сердце.

Но шире и выше всего колеблется въ этомъ сердцѣ могучая, всезахватывающая радость. Какой-то безконечный, сладостный трепетъ всѣхъ струнъ сердца, всего существа его. И только одна боязнь крадется и отравляетъ это блаженное состояніе, боязнь, что все это исчезнетъ, какъ обман-

чивый сонъ, и онъ опять очутится тамъ, внизу, въ глубинѣ, гдѣ все связано, все разграничено, неподвижно, гдѣ царствуетъ мракъ и холодъ, и эта отвратительная, ужасная — стклянка съ чернилами!

И не замѣчаетъ онъ, что летитъ уже рука въ руку съ его чуднымъ спутникомъ и не можетъ отличить онъ себя отъ этого таинственнаго существа. Дѣтски-простое, святое умиленіе царитъ въ ней и въ немъ.

— Полетимъ еще выше,—говоритъ она безъ словъ.

И онъ понимаетъ, куда зоветъ она, онъ чувствуетъ, что тамъ, выше, еще свѣтлѣе, и еще торжественнѣе, что оттуда льются всѣ эти волны, ласковыя, любящія и могучія. Еще сильнѣе трепетъ и умиленье обхватываютъ его...

— Куда это вы несетесь, милостивый государь?!—вдругъ загремѣло надъ его ушами и онъ въ ужасѣ закрываетъ глаза. Холодный потъ выступаетъ на лбу. Онъ ясно чувствуетъ, что лежитъ на жесткой, холодной постелѣ и, какъ мѣрные, оглушительные удары барабана, бьютъ хлестко, по его уху ужасныя слова. — Не стыдно ли вамъ, милостивый государь, потѣшаться обманчивыми иллюзіями! Какъ будто здѣсь только и дѣла заниматься глупыми мечтаніями? Хе!.. Опьянилъ васъ ароматъ амбре, взволновало сіяніе мѣсяца, теплота іюньской ночи, электричество въ воздухѣ и вы понеслись, понеслись все выше и глупѣе. Опомнитесь!..

Но онъ и такъ уже опомнился. Онъ прислушивается къ нестерпимому стуку сердца. Онъ ясно чувствуетъ, что кончился этотъ чудный, упоительный сонъ и онъ снова погруженъ въ грязныя, прозаическія потемки трезвой жизни.

Тихо встаетъ онъ съ постели и подходитъ къ окну. Полный мѣсяцъ также торжественно, какъ и во снѣ, освѣщаетъ всю даль и вся даль проникается его чуднымъ, трепещущимъ сіяніемъ. Такъ-же угрюмо чернѣетъ огромный

Д. Л. Зографъ

паркъ; такъ-же мерцаетъ рѣка позади его. Такъ-же чистъ, прозрачёнъ и тепелъ ароматный воздухъ. Только нѣтъ этого *нѣчто*, что наполняло его сердце тѣмъ чуднымъ чувствомъ и горько, тоскливо теперь этому бѣдному сердцу.

Онъ сѣлъ опять на постель и въ раздумьѣ опустилъ голову на руки.

— Какая тяжелая, глупая сказка—эта ничтожная жизнь! Трудись, стремись, волнуйся, мечтай о насущномъ, о дѣйствительномъ, о матеріальномъ!.. О! гдѣ же вы, поэтическія грезы, обманчивые сны!.. Зачѣмъ дѣтство не вѣчно!.. Зачѣмъ жизнь не отлетаетъ на рубежѣ золотой юности, полной вѣры, экстаза, вдохновенія?!..

— Гдѣ вы средніе вѣка! гдѣ вы люди увлеченій, всепоглощающихъ страстей? У васъ была цѣль, горячія надежды...

— Или вы святыя, первыя христіанскія общины... Вы люди вѣры, любви и молитвы... Гдѣ вы?..

«— Это, ваше превосходительство, эпическая поэма?..

«— Какая же эпическая, когда въ ней нѣтъ эпилога!».

Онъ улыбнулся, стиснулъ голову обѣими руками и запустилъ ихъ въ волоса.

— Все сѣро, тупо, пошло!.. Все пропитано какой-то сальною щелочью, копотью—чадомъ каменнаго угля, вонью газа... и люди копошатся, толкутся, снуютъ, бѣгаютъ; каждый старается встать выше другого, выхватить кусокъ изъ рта и... все стремится къ наслажденію!..

— Какъ будто наша глупая, связанная жизнь можетъ дать наслажденіе!.. Балаганный спектакль! Феерія! Каскадная музыка! Обнаженныя плечи и ноги!..

— О! Гдѣ ты родникъ всеутоляющей, тихой жизни!..

— Въ мечтахъ, въ безумныхъ порывахъ глупой фантазіи!

— Кому молиться! Золотому тельцу, или прогрессу? Да можетъ ли жить сердце человѣческое безъ молитвы, безъ ласки?

Онъ стиснулъ зубы и еще сильнѣе сдавилъ голову руками.

Его охватилъ приливъ той безвыходной, всеуничтожающей тоски, отъ которой нѣтъ спасенья—страшный разладъ воображенія и ума, разсудка и сердца.

Проходили часы, томительные, тягучіе. Онъ слышалъ стукъ собственнаго сердца и считалъ его слабые, тоскующіе удары. Порой онъ вытягивалъ руки и легкій стонъ вырывался изъ сдавленной груди. Нервное напряженіе стихало, но не улетала ѣдкая, неодолимая тоска.

Наконецъ, чувство наросло, стало во весь ростъ, проникло все существо его. Онъ закрылъ лицо руками и зарыдалъ, какъ ребенокъ... Нервно, порывисто, истерически рыдалъ онъ и вмѣстѣ со слезами уносился этотъ высокій, неестественный строй, чуждый нашей мелкой, прозаической жизни.

Между тѣмъ, стклянка съ чернилами читала длинную мораль стклянкѣ съ амбрэ.

— Вотъ видите-ли, дорогая моя, до чего доводятъ пустыя страсти и глупыя мечтанія. Жизнь есть стремленіе къ усовершенствованію, къ развитію, къ матеріальнымъ удобствамъ — это очень сложный и хитрый обмѣнъ вещества, превращеніе неорганической матеріи въ организованную и, такъ сказать, претвореніе и броженіе, однимъ словомъ — игра дробленія атомовъ. Человѣкъ, отдающійся фантазіи и страстямъ, тѣмъ самымъ растлѣваетъ себя и самъ себѣ устраиваетъ пагубу. Страсти есть услажденіе жизни. Но ими надо пользоваться умѣренно и съ осмотрительностію, какъ горчицей. А все изящное или, такъ называемое, поэтическое — возвышаетъ и утончаетъ строй жизни и даетъ высшія гармоническія сочетанія и отношенія. Да-съ! Должно жить правильно — умѣренно и аккуратно и тогда поймете, что жизнь благо, и будете имъ вполнѣ наслаждаться.

И все это послушно выслушивала стклянка съ амбрэ и

не понимала. Она чувствовала (разумѣется, на столько, на сколько можетъ чувствовать всякая стклянка съ амбрэ),— она чувствовала, что внутри все существо или вся сущность ея громко протестовала противъ этой сдержанности; что если бы не было у нея оболочки, которая дала ей форму, этой холодной, стеклянной оболочки, то вся сущность ея разлетѣлась бы въ паръ, въ туманъ, въ пахучее, ароматное амбрэ. — Но развѣ была бы она стклянкой съ амбрэ, безъ этой оболочки? Это была бы стклянка безъ стклянки, чистый non sens, чепуха!

— Ахъ! — прошептала она. — Если-бъ я могла не чувствовать... Но что же васъ влечетъ ко мнѣ — форма или содержимое?

— Гм!—сказала стклянка съ чернилами и солидно улыбнулась. И при этой улыбкѣ какой-то неуловимый масляный отблескъ появился на всей поверхности ея черныхъ чернилъ.

— Гм!..—сказала она и плотно придвинулась къ стклянкѣ съ амбрэ, къ обворожительной, благоухающей стклянкѣ.

Стклянка съ амбрэ съ ужасомъ отодвинулась. Ей показалось, что черныя чернила стклянки стали еще чернѣе, что ихъ масляный отблескъ сталъ еще блестящее. Она тревожно обернулась къ маленькому человѣчку, какъ будто ища у него спасенія и поддержки. Но маленькій человѣчекъ уже спалъ, утомленный борьбой и тихо вздрагивалъ сквозь сонъ и тяжело дышалъ всей своей маленькой грудью. Сердце его трепетало.

Опять странный сонъ томилъ его.

Тонкій разсвѣтъ заглянулъ въ окна. Сіяющій мѣсяцъ поблѣднѣлъ. Вечерняя заря гасла, и новая заря заалѣла на востокѣ. Соловей лѣниво, какъ бы въ полуснѣ, допѣвалъ свои страстныя трели. Предразсвѣтная тишина таинственно разливалась въ утреннемъ воздухѣ.

И ему снилось, какъ эта тишина обхватывала дремлющіе кусты и деревья. Онъ весь былъ переполненъ опять ожиданьемъ. Но это ожиданье было страстно и трепетно. Оно не обхватывало его всецѣло. Оно стучало только въ одинъ уголокъ сердца—стучало сладкой, повелительной страстью.

И вотъ она, опять она!.. Только совсѣмъ другая. Она не летитъ, не касаясь земли, а идетъ легкой, плавной поступью, закутанная, какъ въ чарду, въ длинное бѣлое покрывало—и какой страстной, томительной нѣгой проникнуто все существо ея.

— Амбра!—шепчетъ онъ, кинувшись ей на встрѣчу.— Амбра! Это ты!..

Его руки дрожатъ, колѣна гнутся. Онъ обхватилъ ее въ упоеніи и трепетѣ страсти.

Она откинула покрывало.

О! какая страстная, млеющая красота! Все дышетъ въ ней огнемъ, пыломъ наслажденья, тонкимъ всезажигающимъ электричествомъ страсти. Блестятъ ея дивные, меркнущіе глаза, всѣ переполненные нѣгой ожиданья. Дрожатъ и раздуваются ея тонкія ноздри. И вся она трепетъ, вся томленье всесокрушающей любви!

Онъ прильнулъ къ ея губамъ и электрическая дрожь пробѣжала по всѣмъ его членамъ...

И гдѣ же этотъ міръ недосягаемый, полный, великій! Давно-ли онъ весь былъ проникнутъ неземнымъ наслажденіемъ. Давно-ли онъ весь былъ полонъ однимъ могучимъ желаніемъ летать, плавать въ этихъ безконечныхъ пространствахъ эфира...

«Все мечты, мечты! фантазіи, дѣтскія грезы! проносится въ его горячей, отуманенной головѣ.

«Почвы, почвы! Земное ближе къ землѣ!

Вдругъ... Кракъ, дребезгъ, звонъ, что-то льется!..

Какъ безумный, вскочилъ онъ съ постели.

Яркое утро свѣтитъ въ открытое окно. Стклянка съ чернилами, или лучше сказать, половина стклянки, лежитъ на боку, а другая половина валяется на полу и чернила широкой струей, точно съумасшедшія, льются на полъ.

А стклянка съ амбрэ!?

Но она лежитъ... такъ же на полу, подлѣ стклянки, съ чернилами. Эта красивая, хорошенькая стклянка лежитъ безъ пробки и все ея амбрэ, льется на полъ и мѣшается безъ всякаго стыда, съ черными, отвратительно черными, терпкими и ѣдкими чернилами.

Маленькій человѣчекъ тоскливо, съ непреодолимымъ отвращеніемъ посмотрѣлъ на эту смѣсь.

— Поди теперь, отдѣли!—подумалъ онъ.—Гдѣ кончается амбрэ и начинаются чернила; что благоухаетъ и что воняетъ желѣзнымъ купоросомъ!..

А солнце свѣтитъ такъ ярко и радостно. И птицы щебечутъ такъ весело. И цвѣтущія липы благоухаютъ такъ нѣжно, съ такой робкой лаской.—Но все это заглушаетъ гамъ и шумъ безобразной, безтолковой, искуственной городской жизни. Все, что создаетъ природа такимъ чистымъ, въ свѣтломъ, великомъ родникѣ ея жизни, все испорчено, заплевано людьми — этими неугомонными, вертлявыми мухами. Все отравлено мелкими, узенькими поползновеньицами крохотнаго самолюбьица, все превращается въ безобразную смѣсь амбрэ съ чернилами.

— О люди, люди! Вы вѣчные враги самимъ себѣ!..

Но эта сентенція была внезапно прервана. Маленькій человѣчекъ съ ужасомъ увидалъ, что черная струя чернилъ, смѣшанная съ амбрэ, медленно ползетъ, какъ змѣйка, къ рукаву его чистой рубашки, который свѣсился со стула. Онъ вскочилъ и спасъ рукавъ отъ осквернѣнія.

Это тѣмъ болѣе было необходимо, что въ этой самой рубашкѣ онъ сегодня же долженъ былъ ѣхать къ княгинѣ

Марьѣ Алексѣевнѣ и благодарить «Ея сіятельство» за честь присутствія на его маленькомъ, литературномъ вечерѣ.

«— Это эпическая поэма, Ваше Превосходительство?»

«— Какъ же эпическая, когда въ ней нѣтъ эпилога!?»

И онъ засмѣялся.

— Экій превосходительный болванъ!—подумалъ онъ... Но тутъ же съ ужасомъ оглянулся: не подслушалъ-ли его кто-нибудь!?

МИРРА.

Рождественскій разсказъ.

Seelbury. Sir! It is Light of love.
Eduard. No... It is glance of Gold.
Drithon.

I.

Передаю разсказъ со словъ моей бабушки о странномъ, таинственномъ происшествіи, которое случилось съ однимъ изъ моихъ дальнихъ родственниковъ, княземъ Павломъ Антоновичемъ Сгаборскимъ.

Разсказъ этотъ я слышалъ не разъ, давно, еще во дни моей молодости, но онъ такъ крѣпко врѣзался въ памяти, что я могу передать его, хотя не словами разсказчицы, но со всѣми мельчайшими подробностями и даже отчасти съ тѣмъ же колоритомъ, который придавала ему моя бабушка.

Князь Павелъ Антонычъ, послѣдній потомокъ старшей линіи князей Сгаборскихъ, вернулся въ Москву, въ началѣ девяностыхъ годовъ прошлаго вѣка, прямо изъ Парижа, гдѣ прожилъ безъ малаго четыре года. Ему тогда было около тридцати лѣтъ и принадлежалъ онъ къ числу самыхъ солидныхъ и лакомыхъ жениховъ тогдашняго московскаго бомодна.

Почти четыре года онъ вертѣлся въ парижскихъ салонахъ и удивлялъ Парижъ роскошью своего туалета, блескомъ своихъ экипажей, своими пряжками и запонками изъ крупныхъ солитеровъ, замѣчательной коллекціей тросточекъ и необыкновенной покладистостью своихъ убѣжденій.

Въ Москву онъ вернулся немного разочарованный и даже шокированный первыми вспышками великой революціи, но все-таки остался вѣренъ Вольтеру и англійскимъ сенсуалистамъ.

Одинъ разъ, въ рождественскій сочельникъ девяностыхъ годовъ (а когда именно, бабушка не могла мнѣ передать въ точности), князь Павелъ сидѣлъ въ своемъ большомъ кабинетѣ въ старинномъ солидномъ домѣ князей Сгаборскихъ Домъ этотъ существуетъ и теперь, на Рождественкѣ, но давно уже перешелъ во владѣніе какихъ-то купцовъ и надъ толстыми стѣнами двухъ первыхъ этажей надстроился еще третій.

Былъ восьмой часъ, и князь Павелъ, зѣвая, раздумывалъ, куда ему дѣвать себя въ этотъ рождественскій вечеръ. Дверь кабинета тихо отворилась, и вошелъ камердинеръ князя. Онъ подалъ ему, на серебряномъ плато, небольшое, весьма изящное письмецо.

Бумага была атласная, желтоватая, золотообрѣзная, почеркъ женскій, нервный, безпорядочный. Адресъ написанъ по-французски, грамматически правильно.

— Принесла какая-то дама и проситъ немедленно отвѣта, —объяснилъ камердинеръ.

Князь разорвалъ конвертъ. Въ запискѣ было написано: слѣдующее:

«Monsieur le prince!

«Если вы желаете: 1) совершить великое, святое дѣло, 2) обладать красивой женщиной, и 3) получить 7,000,000 р., то довѣрьтесь подательницѣ письма. Остальное устроится само собою. *Мирра*»

Князь широко раскрылъ и безъ того большіе голубые глаза на выкатѣ и вопросительно уставилъ ихъ на камердинера.

— Дама,—объяснилъ камердинеръ,—сказала, что далѣе передней она не можетъ идти, а отъ вашего сіятельства требуетъ немедленнаго отвѣта: да или нѣтъ?

Князь задумался на нѣсколько сикундъ и затѣмъ быстро всталъ и сказалъ ему.

— Подай сѣрый фракъ.

Одѣвшись, князь осмотрѣлся въ большомъ зеркалѣ, которое съ успѣхомъ могло замѣнить трюмо.

Къ продолговатому лицу князя, безъ усовъ, съ маленькими баками, очень шла прическа à la républicain и его свѣтлорусые, пепельные волосы падали легкими волнами на сѣрый фракъ съ перламутровыми пуговицами.

Бѣлое кружевное жабо и громадные брыжи лежали красивыми складками. Бѣлый, съ мелкими цвѣточками, двубортный жилетъ, широко раскрытый на груди, вполнѣ обрисовывалъ эту широкую грудь и стройную талію. Свѣтло-палевыя панталоны, въ обтяжку, были спрятаны, внизу, въ глянцовитые мягкіе сапоги, съ отворотами. изъ желтой шагреневой кожи.

Осмотрѣвъ тщательно свой изящный костюмъ, князь Павелъ положилъ въ карманы панталонъ пару щегольскихъ маленькихъ двухствольныхъ пистолетиковъ, богато отдѣланныхъ золотой рѣзьбой. Затѣмъ взялъ со стола низенькую круглую шляпу и двинулся къ дверямъ, застегивая на ходу сѣрыя замшевыя перчатки. Двое лакеевъ въ ливреяхъ слѣдовали за нимъ.

II.

Въ передней на него накинули шубу черныхъ американскихъ медвѣдей.

У двери, на высокомъ дубовомъ стулѣ сидѣла дама, уже не молодая, вся въ черномъ. Лицо ея было закрыто вуалью.

Какъ только князь вошелъ въ переднюю, она встала и молча пошла къ параднымъ дверямъ.

— Вы подательница записки?—спросилъ ее князь.

Дама обернулась, молча кивнула головой и вышла въ дверь, которую распахнулъ передъ ней швейцаръ.

Передъ подъѣздомъ, подъ навѣсами, поддерживаемыми рядомъ массивныхъ колоннъ, стояла карета-возокъ, безъ гербовъ и вензеля. Она смотрѣла сумрачно и грандіозно на высокихъ полуколесахъ-полозьяхъ; какія-то цѣпи качались внизу ея, а сверху, изъ дверецъ. спускалась откинутая подножка въ видѣ лѣсенки. Высокій лакей въ черной ливреѣ, съ лицомъ, спрятаннымъ въ пушистый мѣховой воротникъ, придерживалъ дверцу.

Онъ подсадилъ даму, неловко поднявшуюся на ступеньки подножки. Вслѣдъ за ней быстро вскочилъ князь, съ беззаботностью и отвагой военнаго человѣка. Впрочемъ, въ то время бравированье всевозможныхъ опасностей было въ модѣ, въ крови тогдашней jeunesse dorée.

Тяжелая дверца съ громомъ захлопнулась и карета покатилась. Въ ней былъ свѣтъ, падавшій изъ небольшого фонарика, вдѣланнаго въ переднюю стѣнку. Занавѣски у оконъ были опущены. Князь хотѣлъ приподнять одну, съ его стороны, но спутница быстро и крѣпко схватила его за руку.

— Ihr Erlaucht— вскричала она по-нѣмецки ломаннымъ языкомъ и хриплымъ голосомъ.— Das ist verboten! Это запрещается. Притомъ занавѣски не преподнимаются. Онѣ заколочены кругомъ. Если же вашему сіятельству мало воздуха, то можно открыть верхнюю отдушину.

Она дернула за снурокъ и вверху кузова быстро открылось небольшое окошечко.

Лакей со стукомъ распахнулъ дверцу кареты. Спутница князя вышла и, обернувшись къ нему, сказала:

— Пожалуйте! Ihr Erlaucht. Мы пріѣхали.

Карета стояла подъ широкимъ подъѣздомъ, къ которому шли съ обѣихъ сторонъ отлогіе спуски. Подъѣздъ поддерживали не колонны, а глухая стѣна.

Прежде всего поразилъ князя странный входъ: онъ напоминалъ входъ въ египетскія пирамиды, косяки какъ-будто падали другъ къ другу. На высокомъ фризѣ было изображеніе солнца.

На верхней ступенькѣ небольшой каменной лѣстницы стоялъ высокій смуглый человѣкъ, закутанный въ широкій полосатый бурнусъ и въ бѣлой чалмѣ на головѣ. Въ одной рукѣ онъ держалъ небольшую лампу, напоминавшую древнія римскія лампады, другую руку онъ плотно прижималъ къ груди, голова его была низко опущена.

Какъ только князь, вмѣстѣ съ своей таинственной спутницей достигъ верхней ступеньки, человѣкъ медленно повернулся и пошелъ впередъ, освѣщая путь.

Они вступили въ длинный невысокій корридоръ со сводами, ихъ обдало той холодной, затхлой сыростью, которая бываетъ въ подземельяхъ. Шаги ихъ глухо и гулко раздавались по каменнымъ плитамъ. Не дойдя до конца корридора, они повернули въ другой, такой же длинный, за нимъ въ третій и наконецъ, спустились внизъ по небольшой лѣстницѣ. На концѣ ея открылась большая комната, задняя стѣна которой была задернута чернымъ бархатнымъ занавѣсомъ.

Подойдя къ этому занавѣсу, человѣкъ, свѣтившій имъ остановился, прокричалъ какую-то фразу на непонятномъ языкѣ и почти вслѣдъ за ней раздался, какъ-будто подъ землей, протяжный, жалобный ударъ колокола.

Дрожащій звукъ его не успѣлъ еще заглохнуть, какъ

человѣкъ широко распахнулъ занавѣсъ и опять низко наклонивъ голову, сказалъ по-англійски.

— Господинъ! Васъ просятъ войти.

Князь вошелъ въ большую, высокую залу со сводами и безъ оконъ. Занавѣсъ опустился за нимъ.

IV.

Сверху залы, сквозь большое матовое стекло падалъ ровный, но тусклый, голубоватой свѣтъ и придавалъ всей комнатѣ какой-то фантастическій оттѣнокъ.

Налѣво во всю длину стѣны тянулось большое зеркало въ черной широкой рамѣ. Цвѣтъ его былъ не чистый бѣлый, но сѣроватый, металлическій и всѣ предметы тускло отражались въ немъ.

Передъ нимъ стоялъ высокій черный треножникъ, весь украшенный мелкими рельефными фигурками. На немъ покоилась широкая чаша, вся покрытая арабесками и какими-то арабскими надписями.

Напротивъ зеркала вся стѣна была увѣшана досками съ кабалистическими фигурами и надписями на неизвѣстномъ языкѣ.

Впереди была широкая арка, занавѣшенная чернымъ. Возлѣ нея на пьедесталѣ изъ чернаго мрамора возвышался голый стволъ дерева и черный блестящій змѣй обвивалъ этотъ стволъ. Онъ держалъ во рту также черное, глянцевитое яблоко. Голова змѣя была почти человѣчья, и огромные, блестящіе глаза, подъ сильно выпуклымъ лбомъ, какъ-будто освѣщенные изнутри зеленоватымъ свѣтомъ, мрачно и злобно смотрѣли на князя.

— Куда это я попалъ?—спросилъ онъ самъ себя, быстро окидывая взглядомъ всѣ эти вещи.

Но тутъ же рѣшилъ этотъ вопросъ и успокоился.

«Это вѣроятно, — подумалъ онъ: — одинъ изъ тайныхъ массонскихъ вертеповъ какой-нибудь особенной мистической секты, которая не брезгуетъ кабалой и подобными магическими таинствами».

Должно замѣтить, что въ то время у насъ уже начинался разгаръ разныхъ мистическихъ ученій, изъ которыхъ каждое имѣло своихъ адептовъ и свой кружокъ.

Не успѣла эта мысль мелькнуть въ головѣ его, какъ снова раздался протяжный, жалобный звукъ колокола и черная занавѣсъ, закрывавшая нишу, заколыхалась и медленно раздернулась.

Яркій свѣтъ упалъ блестящимъ пятномъ на бѣлый мраморный полъ и тонкій, нѣжный ароматъ проникъ вмѣстѣ съ нимъ въ залу. За аркой открылась дверь и свѣтъ падалъ сверху, съ вышины небольшой мраморной лѣстницы.

Женскій молодой, звучный голосъ громко сказалъ по-французски:

— Войдите, князь.

И князь быстро поднялся на семь ступеней и очутился въ довольно большой, невысокой комнатѣ, представлявшей рѣзкій контрастъ съ мрачной залой, изъ которой онъ вышелъ.

Прежде всего его обдало пряными, раздражающими ароматами Востока. Вся комната была залита яркимъ свѣтомъ отъ множества свѣтильниковъ, которые горѣли въ двухъ большихъ золотыхъ канделябрахъ, поднимавшихся съ полу. Весь этотъ полъ былъ устланъ мягкими восточными коврами. Всѣ стѣны ея были задрапированы богатой узорчатой шелковой восточной тканью. Большая драпировка изъ той же ткани отдѣляла заднюю часть комнаты.

Въ этой части возлѣ стѣны стоялъ большой, широкій диванъ, обитый бѣлымъ атласомъ, весь устланный коврами изъ ангорскихъ козъ и мягкими шелковыми подушками.

Передъ диваномъ стояла дѣвушка или женщина въ богатомъ бѣломъ шелковомъ, отдѣланномъ серебромъ, восточномъ костюмѣ.

Князь взглянулъ на нее и остановился въ изумленіи.

Такой красавицы онъ не встрѣчалъ въ жизни и даже не могъ представить себѣ, чтобы могла существовать подобная красавица.

Она была статна, граціозна. Черные, густые волосы ея падали волнами на стройныя плечи и сбѣгали по нимъ чуть не до полу.

На головѣ ея была діадема изъ крупныхъ брилліантовъ, но ихъ радужный, огненный блескъ не могъ помрачить блеска ея черныхъ большихъ глазъ, которые смотрѣли гордо и открыто изъ-подъ тонкихъ стройныхъ бровей, изъ-подъ длинныхъ густыхъ рѣсницъ.

Прямой носъ съ легко-подвижными ноздрями, совершенно алыя, нѣсколько выдающіяся, какъ-бы оттопыренныя губы, легкій, нѣжный румянецъ на смуглой матовой кожѣ—все въ ней было изящно, стройно, красиво.

Богатое брилліантовое оплечье проходило черезъ всю грудь, которую прикрывала легкая полупрозрачная шелковая ткань. Брилліанты дрожали и искрились при дыханіи этой высокой, дѣвственной груди.

Руки до самыхъ плечъ были открыты. Ихъ желтоватая кожа блестѣла какъ атласъ. Ихъ стройныя античныя формы напоминали статуи лучшихъ временъ греческаго искусства.

V.

— Садитесь, князь, прошу васъ, — сказала красавица, указывая на небольшой турецкій диванчикъ, стоявшій передъ ней. И голосъ ея былъ тотъ же самый голосъ, кото-

рый пригласилъ его войти — грудной, сильный, пѣвучій голосъ.

Князь поклонился и сѣлъ, не спуская глазъ съ этой очаровательной красоты.

Она опустилась на бѣлый диванъ.

Каждая ея поза, поворотъ головы, стана, движеніе рукъ—все было картинно, гордо, благородно и удивительно граціозно...

Но эта не была строгая, холодная пластика римскихъ и греческихъ статуй. Нѣтъ, къ ней примѣшивалась нѣжная мягкость и сладострастіе Востока.

Она тотчасъ же снова заговорила и вмѣстѣ съ этой рѣчью оживилось все ея лицо. Глаза то меркли, то загорались, раздувались ноздри, приподнималась верхняя губа и выказывала ровный рядъ красивыхъ синевато-бѣлыхъ зубовъ.

Она говорила довольно свободно по-французски, но въ ея звучной рѣчи слышалось чужое произношеніе, восточные обороты, не договоренныя, какъ бы проглоченныя слова и грубый, гортанный *л* и *р*.

— Князь, — говорила она, — меня зовутъ Мирра... Я еврейка... и вамъ пока не надо знать ничего болѣе. Мы не такъ давно, осенью, пріѣхали сюда съ моимъ отцомъ, пріѣхали съ дальняго Востока и съ самаго нашего пріѣзда агенты наши неусыпно слѣдятъ за вами.

— За мной, сударыня!.. По истинѣ много чести для простого смертнаго...

— Если я послала теперь... именно, въ этотъ вечеръ за вами, то послала навѣрно зная, что воля Единаго совершится и все Имъ предначертанное — сбудется... Вы, князь, не простой смертный...—И она пристально посмотрѣла на него.—Вы не знаете сами, какое громадное значеніе имѣетъ судьба ваша для судебъ всего земного.

Князь широко раскрылъ удивленные глаза.

— Я предложу вамъ прежде всего нѣсколько вопросовъ, касающихся вашей родословной, хотя вѣрные отвѣты я имѣю уже, но мнѣ хотѣлось бы услыхать ихъ отъ васъ самихъ. Не правда-ли, вашъ родъ—древній родъ и ваши предки были выходцы изъ Скандинавіи?

— Да! Это предполагаютъ,—подтвердилъ князь.

— У меня есть вѣрныя тому доказательства, князь... При царѣ Іоаннѣ IV, такъ называемомъ Грозномъ (она перевела это слово: terrible), одинъ изъ вашихъ предковъ Jean Sgaborsky былъ при осадѣ Казани. Онъ похитилъ красивую татарку, по имени Гульджамалъ, что означаетъ «роза рая» и отъ нея родился сынъ Борисъ, усыновленный Иваномъ Сгаборскимъ. Этотъ Борисъ былъ также вашимъ предкомъ.

Князь молча кивнулъ головой,

— При королѣ Сигизмундѣ III одинъ изъ вашихъ предковъ, Алексѣй Сгаборскій, пробрался въ Венгрію и тамъ, въ Пештѣ, вступилъ въ бракъ съ Констанціей, дочерью венгерскаго магната Монго Киттаколо.

Князь опять молча кивнулъ головой.

— Отъ этого брака родился прямой предокъ той линіи, отъ которой вы произошли.

Она немного помолчала и нагнувшись къ нему и уставивъ прямо на него свои блестящіе глаза, заговорила почти шопотомъ:

— Правда-ли, князь—(это для насъ очень, очень важно), правда-ли что вашъ прадѣдъ, Константинъ Сгаборскій былъ увлеченъ одной цыганкой, по имени Фаиной, и отъ этой цыганки родился вашъ отецъ.

Князь невольно отшатнулся отъ нея. То, о чемъ теперь она его спросила, составляло самую интимную семейную тайну, разглашеніе которой могло грозить процессомъ и лишеніемъ всего громаднаго состояніе князей Сгаборскихъ.

ческіе документы. Такимъ образомъ, вашъ родъ, князь, вмѣстилъ въ себѣ кровь почти ото всѣхъ народовъ сѣверной и средней Европы. Но у меня есть свѣдѣнія, которыя ведутъ вашу родословную еще глубже. Ваши предки происходятъ отъ древняго римскаго патриція, князя, princeps Магнія Павзанія и законной жены его, гречанки Клеліи. Но и къ этой крови, по волѣ судебъ, примѣшалась африканская кровь карѳагенянъ, финикійцевъ и этрусковъ. Вы князь, представляете смѣсь всѣхъ племенъ Европы. Руны сѣвера и орлы юга воплотились въ васъ.

Послѣднія слова она произнесла какимъ-то благоговѣйнымъ шопотомъ и затѣмъ вдругъ поднялась съ дивана и съ волненіемъ посмотрѣла на князя Павла, какъ будто подавленная сложностью и величіемъ его родословной. Потомъ не спуская съ него глазъ, она начала снова тихимъ торжественнымъ голосомъ:

— Моя линія, князь, идетъ съ востока, такъ же, какъ ваша съ запада. Я не буду разсказывать вамъ, какимъ запутаннымъ путемъ въ крови этой линіи смѣшались почти всѣ восточныя націи. Въ нее влилась кровь древнихъ фараоновъ, въ ней есть кровь ниневянъ, ассуровъ, мидовъ и персовъ, кровь хананеянъ, халдеевъ, хазаровъ. Моя прямая линія идетъ изъ колѣна Іудина. Мы съ отцомъ несомнѣнные потомки этой линіи. Въ насъ, можетъ быть, воплощена лучшая часть крови избраннаго народа Еговы.

Она замолкла и нѣсколько мгновеній стояла неподвижно, гордо выпрямившись и тяжело дыша, какъ будто подавленная сознаніемъ величія той вершины, на которой она теперь стояла. Бриллiантовый вѣнецъ сверкалъ на ея главѣ, какъ на главѣ настоящей царицы Востока.

Затѣмъ взглядъ ея потухъ. Она опустила глаза, сдвинула брови и съ глубокимъ вздохомъ тихо сѣла на диванъ и закрыла лицо руками.

Дорогіе браслеты зазвенѣли при этомъ на ея прекрасныхъ рукахъ, какъ цѣпи золотой неволи. Она облокотилась на маленькій фигурный столикъ, весь убранный серебромъ, бирюзой и жемчугомъ.

Черезъ нѣсколько мгновеній она отняла руки отъ лица и снова заговорила, но въ голосѣ ея звучали слезы.

— Все величіе прошлаго прошло безвозвратно.—Народъ Божій разбросанъ... Но Эхта (Единый) знаетъ его пути и съ цѣлью собрать всѣ народы въ одинъ народъ, онъ разсѣялъ насъ по лицу земли. Сколько горя и униженія, сколько страшныхъ гоненій испыталъ Израиль! Но часъ близится и можетъ быть, насталъ уже великій часъ, который соединитъ всѣ народы въ одну братскую семью... Князь! мой отецъ владѣетъ той наукой, которая досталась человѣчеству отъ древнихъ маговъ и въ которой заключена премудрость Единаго. Отецъ умѣетъ читать по звѣздамъ судьбы народовъ и каждаго человѣка, онъ умѣетъ читать на камняхъ исторію земли, начертанную духомъ событій. Онъ умѣетъ видѣть въ великомъ зеркалѣ то, что совершается теперь въ странахъ отдаленныхъ. Онъ многое знаетъ, чего не вѣдаютъ бѣдные земные слѣпцы, ибо ему открыты знанія высшихъ силъ, свободныхъ отъ земныхъ, бренныхъ оковъ!.. Князь! Эти силы указали на васъ, какъ на великое средство соединенія народовъ.

Князь отшатнулся въ изумленіи.

Она быстро вынула изъ-подъ подушки какой то свертокъ, завернутый въ шелковую ткань.

— Вотъ здѣсь, князь, начертаны будущія судьбы народовъ и эти судьбы теперь находятся въ вашихъ рукахъ...

— Въ моихъ рукахъ?!—удивился князь Павелъ и даже посмотрѣлъ на нее подозрительно.

— Да, въ вашихъ,—проговорила она настойчиво и развернула небольшой свертокъ. Онъ весь былъ исписанъ по-

еврейски.—Слушайте, вотъ что сказалъ *онъ*, великій слуга Единаго.—И она начала переводить написанное по-французски.

(Какимъ образомъ достался мнѣ переводъ всего ею прочитаннаго—я скажу ниже, а теперь привожу текстъ этого перевода по-русски).

VII.

— «Слава Единому. Онъ караетъ и милуетъ,—читала Мирра.—Въ его длани судьбы судебъ.

«Онъ разрушилъ гордость сыновъ Архаила и потопилъ всѣхъ нечестивыхъ, уклонившихся отъ путей Его.

«Онъ смѣшалъ языки гордыхъ и противоборныхъ волѣ Его.

«Онъ сказалъ; возьму я тукъ земли и напитаю народы. Я научу ихъ добывать мѣдь и желѣзо, серебро и золото, венису и смарагды и нѣсть числа песку морского—таково будетъ богатство народа моего.

«И трудъ его будетъ оцѣненъ золотомъ.

«И освободитъ золото изъ неволи и водворитъ довольство во всѣхъ племенахъ земли и соединитъ ихъ воедино.

«Такова воля Сущаго.

«Но поднимется змій сладкоглаголивый изъ колѣна Давыдова и совратитъ народы земли. Онъ всползетъ на дерево смерти и предстанетъ предъ очами народовъ, какъ Царь Іудейскій, и многіе соблазнятся!

«Онъ будетъ сѣять и сѣмя его водворитъ раздоръ и въ семьѣ, и въ царствахъ. И возстанетъ братъ на брата и царство на царство и народъ на народъ

«И пріидутъ съ востока и запада, съ южныхъ и съ сѣверныхъ странъ и поклонятся змію, ибо сила будетъ въ ученіи его.

«И возстанетъ онъ на пути моемъ и всколеблетъ, и совратить племена земныя.

«Но я блюду надъ путями моими и стерегу сокровище мое.

«Возстанетъ царица Востока, вмѣстившая кровь Израиля, Іосіи, Озоріи и Ѳареса».

— Это обо мнѣ говорится,—тихо пояснила Мирра и снова продолжала.

«Кровь Іоакима. Іехоніи, Салафіила и Зоровавеля.

«Кровь Соломона, Іеліуда, Матѳана и Іакова.

«Она, воплотившая сѣмя двѣнадцати потомковъ Израиля.

«Она, соединитъ кровь Востока съ кровью Запада, въ лицѣ Аріила.

«Съ кровью Гоѳола, Атты, Генсареса и Тода.

«Съ кровью Аттилы, Валія, Галло и Кросса.

«Съ кровью Кормона, Куріи, Саафа и Сгабора.

«Съ кровью невидимыхъ, но присущихъ судьбамъ народовъ.

«И произведетъ кровь соединеніе и насытитъ мятежную жажду народовъ. И побѣдитъ змія и сѣмя жены сотретъ главу его».

И по мѣрѣ того, какъ она читала это странное предсказаніе, голосъ ея крѣпчалъ и разрастался. Глаза загорались изумительнымъ блескомъ. Вся грудь дрожала и лицо покрывалось блѣдностью.

Она походила на древнихъ Пиѳій, въ минуты ихъ странныхъ экстазовъ,

Князь удивленно смотрѣлъ на нее. Онъ чувствовалъ въ ея словахъ силу, но смыслъ ихъ оставался для него темнымъ.

Прошло нѣсколько мгновеній, прежде чѣмъ она снова заговорила.

— Вотъ великое повелѣніе, которое мы получили,—ска-

зала она, тяжело дыша, и затѣмъ тихо, благоговѣйно свернула свитокъ и снова его спрятала въ шелковую ткань.—А теперь я вамъ прочту разъясненіе и дальнѣйшее указаніе.

Она встала, отперла маленькій рѣзной шкафчикъ, весь покрытый золотыми украшеніями и достала изъ него большую книгу въ черномъ, кожаномъ переплетѣ.

На верхней коркѣ ея было изображеніе чернаго змѣя, обвитаго вокругъ дерева.

Мирра снова сѣла на диванъ, раскрыла книгу и начала читать:

«Въ городѣ Аарамѣ, что подъ звѣздой Халеѳа, находится Аріилъ, мужъ Запада, прекрасный кедръ ливанскій—мужъ отъ двѣнадцати колѣнъ Сидовыхъ».

— Это вы, князь, такъ называетесь, на языкѣ восточныхъ мудрецовъ,—пояснила она и продолжала читать.

«Царица Востока соединитъ кровь ея 12-ти поколѣній съ кровью 12-ти поколѣній Запада.

«Она очиститъ себя покаяніемъ и молитвой.

«Она облечется въ бѣлыя одежды и помажетъ голову свою мурромъ и элеемъ».

Голосъ ея постепенно стихалъ, легкая краска исподволь заливала ея щеки и шею и тяжело колыхавшуюся грудь.

«Отроковицею предстанетъ она предъ мужемъ Запада и раздѣлитъ съ нимъ богатства свои.

«И мужъ, появшій ее, отречется отъ змія и наступитъ на древо его и произнесетъ: Кэлла!—совершилось!

«И кровь соединенныхъ возродится въ новомъ союзѣ Эхты съ человѣкомъ.

«И народъ Израиля сольется со всѣми племенами земными и возстановитъ въ нихъ правду Яхвы...»

Она пристально посмотрѣла на князя и что-то страстное, глубокое промелькнуло въ ея блестящихъ глазахъ. Затѣмъ она закрыла книгу, встала, снова положила ее въ

шкафчикъ, тщательно заперла его и снова возвратилась на прежнее мѣсто.

— Теперь, князь,—начала она,—за этими общими указаніями, я должна исполнить частныя, которыя мы получили непосредственно отъ нашихъ высшихъ руководителей.

Она достала изъ-подъ подушки большой, довольно толстый конвертъ, запечатанный семью печатями, на которыхъ было изображено всевидящее око и надъ нимъ надпись по-еврейски: «Сущій».

— Возьмите, князь,—заговорила она, протягивая этотъ конвертъ князю, заговорила нѣжнымъ, мелодическимъ, повелительнымъ голосомъ.—Здѣсь половина того, чѣмъ я владѣю, здѣсь тѣ семь милліоновъ, которые были обѣщаны вамъ въ запискѣ...

— Сударыня!—вскричалъ князь Павелъ, невольно отстраняя отъ себя конвертъ.—Съ какой-же стати я возьму отъ васъ эти деньги?!

— Вы возьмете ихъ,—заговорила она строго и торжественно,—потому что такова воля Высшаго. Я должна ихъ передать вамъ—и вы свободны сдѣлать изъ нихъ какое угодно употребленіе: отдайте ихъ первому встрѣчному, но я должна ихъ передать вамъ, *какъ половину моей земной власти* и я прошу, я умоляю васъ: возьмите ихъ.

И она, протянувъ конвертъ къ князю, другую руку прижала къ своей груди.

Князь невольно, не зная какъ, любуясь на нее, взялъ пакетъ и опустилъ его въ боковой карманъ.

И въ это время, когда онъ опустилъ его, раздался гдѣ-то вблизи тотъ же жалобный, протяжный звонъ и тихо замеръ въ тепломъ ароматномъ воздухѣ восточной комнаты.

VIII.

— Князь,—сказала она,—я теперь прошу васъ сѣсть сюда. И она указала на табуретъ, стоявшій возлѣ нея. Онъ повиновался и сѣлъ вблизи нея.

И его обхватила эта благоухающая атмосфера, которою, казалось, было проникнуто все существо ея. Онъ чувствовалъ жаръ и трепетъ ея молодого, прекраснаго тѣла.

— Князь,—спросила она какимъ-то искреннимъ полушепотомъ, но съ чувствомъ ужаса: «Вы... вы... атеистъ?!..»

Онъ хотѣлъ съ courtoisie, свойственной тогдашней jeunesse dorée, отвѣтить ей:

— Могу ли я быть безбожникомъ, когда передо мной сидитъ божество и... и не отвѣтилъ, а только молча, многозначительно кивнулъ головой.

— А между тѣмъ вы носите на вашей груди крестъ.

Князь Павелъ изумленно посмотрѣлъ на нее. Это было дѣйствительно такъ. Но этого никто не зналъ, кромѣ близкихъ, домашнихъ его.

— Крестъ — продолжала она — большой, старинной флорентійской работы, который прислала вамъ, маленькому, ваша тетка графиня Ядвига Скамойская.

И это была правда. Онъ носилъ этотъ крестъ по дѣтской привычкѣ, да потому еще, что съ этимъ крестомъ связывалось воспоминаніе о любимой теткѣ. Но въ душѣ онъ не признавалъ даже l'Être suprême и поклонялся только одному чистѣйшему, всемогущему разуму.

— Князь, — начала она еще тише, — дайте мнѣ этотъ крестъ... Вѣдь это предразсудокъ. И она протянула къ нему руку.

Онъ не вдругъ повиновался.

Она сидѣла отъ него на полъ-аршина, не больше. Онъ не смотрѣлъ ей въ лицо, но онъ ясно видѣлъ все очертаніе ея груди подъ легкой, прозрачной шелковой тканью. Ему казалось, что онъ видитъ даже цвѣтъ ея тѣла, чуть-чуть розовый.

Она нагнулась къ нему и ея душистые, шелковые волосы словно обожгли его своимъ электричествомъ.

— Князь! дайте же мнѣ вашъ крестъ,—прошептала она, —Я прошу васъ.

Онъ машинально отшатнулся и началъ растегивать дрожащими руками свои брызжи, развязывать жабо. Онъ досталъ крестъ, большой, массивный, съ рельефнымъ распятіемъ. Онъ висѣлъ на шеѣ князя на тонкой золотой цѣпочкѣ.

Князь рванулъ ее, крестъ остался въ его рукѣ.

Онъ подалъ его Миррѣ.

— Князь!—сказала она, зажавъ крестъ въ рукѣ и прямо смотря на него. —Это предразсудокъ, дѣтская привычка, но еслибы я попросила васъ бросить этотъ крестъ на землю и наступить на него ногами?.. Еслибы вамъ привелось попрать его?..

И она смотрѣла на него прямо, въ упоръ своими искрящимися глазами.

И ея пахучіе брилліанты такъ близко сверкали около него. Ему казалось, что онъ слышитъ стукъ ея сердца, въ ея бурно волнующейся груди.

— Дай! дай!—прошепталъ онъ съ мольбой.—Я это сейчасъ сдѣлаю... И что бы я не растопталъ, не уничтожилъ ради тебя, ради твоего взгляда, твоей любви!..

— Нѣтъ, это послѣ, потомъ,—прошептала она и, откинувшись на подушки, она положила подъ нихъ крестъ.

А князь весь дрожалъ и это волненіе, казалось, сооб-

щалось и ей. Оно зажигалось и струилось въ каждой ея жилкѣ.

Не замѣчая, не помня какъ, онъ уже сидѣлъ возлѣ нея, на томъ же бѣломъ, пушистомъ диванѣ.

Она вся потянулась и въ этомъ тягучемъ томительномъ движеніи, ея атласныя, горячія руки какъ бы сами собой упали вокругъ его шеи. И всѣ ея чудные, ароматные волосы окутали его своими длинными шелковыми волнами.

Голова его закружилась.

И надъ его ухомъ тихо, нѣжно прошептала она:

— О! мой любимый, мой желанный, кедръ ливанскій!..

И уста ихъ слились въ жгучемъ поцѣлуѣ...

. . . . . .

Свѣтильники тихо гасли. Въ комнатѣ царилъ теплый, раздражающій ароматный сумракъ. Но для князя все исчезло, все слилось въ горячій безумный бредъ страсти. Онъ, забылся и... «поялъ отроковицу».

IX.

Снова медленно и жалобно дребезжащій звонъ раздался подъ землей.

Она очнулась.

— Князь; вскричала она съ испугомъ—Князь! Вотъ крестъ... Не забудь произнести: Кэлла! Совершилось!

Онъ всталъ и не говоря ни слова, весь еще переполненный упоеньемъ и благодарной радостью, бросилъ крестъ на мягкій коверъ.

Затѣмъ онъ поднялъ надъ нимъ свою святотатственную ногу. Но въ тоже самое мгновенье отшатнулся и весь задрожалъ. Крикъ ужаса невольно вырвался изъ его груди.

Передъ нимъ, прямо на землѣ, все пространство словно

раздвинулось въ какомъ-то неопредѣленномъ тускломъ бѣловатомъ свѣтѣ. И въ этомъ свѣтѣ вдругъ ясно вырисовывался распростертый образъ *Его* во всемъ величіи страданія, въ яркомъ ореолѣ кротости и любви.

Онъ смотрѣлъ такъ нѣжно, такими добрыми, любящими глазами, прямо въ сердце князя, въ сердце брата, который дерзнулъ поднять ногу на *Него*, окровавленнаго страдальца за любовь, свободу, за все лучшее, святое, великое во всемъ человѣчествѣ.

И князь отшатнулся, точно оттолкнутый невидимой силой.

Онъ глухо застоналъ и въ одно мгновеніе, какимъ-то инстинктомъ понялъ, уразумѣлъ, что здѣсь, на землѣ передъ нимъ лежалъ именно Тотъ, Кто одинъ можетъ силой любви и человѣчности соединить все человѣчество, всѣ народы, всѣ племена земныя въ одну родную семью.

Вся комната передъ нимъ словно исчезла. Исчезло и это чудо восточной красоты, которымъ онъ сейчасъ обладалъ. Исчезла вся любовь къ ней, весь пылъ страсти, который, казалось, овладѣлъ такъ полно и прочно всѣмъ его сердцемъ и помысломъ.

И все для него стало такъ пусто, тлѣнно, такъ грязно и ничтожно—передъ этимъ вѣчнымъ, великимъ свѣтомъ безконечной любви.

И вдругъ какъ будто изъ мрака, откуда-то издали—онъ опять услыхалъ ея нѣжный, глухой шопотъ.

— Скорѣе, спѣши!..—торопила она...—Сейчасъ ударитъ полночь и снова народится *Онъ*—и снова будетъ раздѣленіе и борьба.

— Я не могу!—прошепталъ князь, задыхаясь и весь дрожа, какъ въ лихорадкѣ.

— Не можешь!?..—вскричала она и, какъ ужаленная. поднялась съ дивана...—Не можешь!.. Презрѣнный!..

И въ одно мгновеніе чудное, небесное видѣніе исчезло

и она снова предстала передъ нимъ, въ тепломъ ароматномъ воздухѣ... Но все блѣдное лицо ея было искажено бѣшенствомъ злобы.

— Не можешь!?—хрипѣла она въ безсиліи отчаянія.— Не можешь... безчестный трусъ!... Я ввѣрила тебѣ все, что было великаго, завѣтнаго. Упованія и надежды всего великаго Израиля, всего человѣчества... Я отдала тебѣ все, что можетъ отдать дѣвушка человѣку... а ты не можешь?!... Иди!..

И она протянула къ нему руку... она хотѣла схватить его, но князь отшатнулся отъ нея въ невольномъ ужасѣ...

Въ это самое время снова раздался рѣзкій, дребезжащій металлическій ударъ и вслѣдъ за нимъ гдѣ-то глухо, неясно часы пробили двѣнадцать.

Послѣдній ударъ ихъ слился съ гуломъ и торжествующимъ звономъ, который раздался кругомъ, со всѣхъ сторонъ гдѣ-то въ вышинѣ и отъ котораго, казалось, всѣ стѣны задрожали.

Онъ ясно, отчетливо видѣлъ ея лицо передъ собою. Зубы ея стучали. Глухія рыданія клокотали въ горлѣ.

— Кэлла! Кэлла!—шептала она съ ужасомъ...—О! змѣй коварный!.. Ты жестоко обманулъ меня... И затѣмъ, обернувъ къ князю свое лицо, полное отчаянія, она протянула къ нему руку...—О! Будь же проклятъ ты, слабый человѣкъ Запада!—глухо заговорила она и звуки шипѣли, какъ змѣи, въ ея гортани.—Да падутъ на твою голову проклятія всѣхъ 12 колѣнъ Израиля... На тебя, на весь родъ твой, на все потомство твое и на все человѣчество... Грѣхъ Каина будетъ удѣломъ его и гнѣвъ Единаго да тяготитъ надъ нимъ вѣчно... Безплодны будутъ его матери, жены и чада. Въ безчестьи погрязнутъ его дѣвственницы и грязь земли да омрачитъ ихъ разсудокъ... Я проклинаю тебя кровью Авеля; Авесалома и Маккавея... Кровью всѣхъ, невинно погибшихъ, моей собственной бѣдной кровью...

И вдругъ увидѣлъ князь, какъ въ ея прекрасной рукѣ задрожалъ, заблестѣлъ тонкій и длинный стилетъ, Съ размаху она ударила имъ себя въ обнаженную грудь прямо противъ сердца и кровь ея, какъ показалось князю, прямо брызнула ему въ лицо и ослѣпила его глаза. Онъ видѣлъ только, какъ высоко взметнулось и рухнуло ея тѣло.

И все смѣшалось, потемнѣло въ его испуганныхъ глазахъ — — — — — — — — — — — — — — — — —

X.

Его привезли домой въ ту же ночь, почти въ безсознательномъ состояніи и тотчасъ же послали за докторами и за княземъ Алексѣемъ Данилычемъ, моимъ троюроднымъ дядей и за двоюроднымъ братомъ князя Павла, за графомъ Александромъ Л...

Черезъ недѣлю князь всталъ на ноги, но это была одна только тѣнь князя Павла Антоновича. Желтый, худой, весь осунувшійся, посѣдѣвшій, онъ поминутно хватался за грудь и говорилъ, что у него жжетъ противъ сердца и требовалъ своего креста, къ которому привыкъ.

— Мы,—разсказывала бабушка,—покупали и привозили ему разные кресты, но онъ всѣ ихъ браковалъ, срывалъ съ шеи и требовалъ именно того креста, который былъ на немъ. Но именно этого-то креста и не было. Онъ, вѣроятно, остался у проклятой жидовки.

Но деньги—всѣ 7.000,000,—привезъ князь Павелъ въ карманѣ своего фрака. Они оказались всѣ въ билетахъ англійскаго банка.

Въ томъ же конвертѣ вложены были, мелко переписанныя, по-французски, стариннымъ почеркомъ, на почтовомъ листѣ тѣ мистическія указанія, которыя читала Мирра князю.

Эту бумажку взяла бабушка на память, свято сохранила ее и передала мнѣ.

Часть денегъ Мирры пошла на розыски того таинственнаго подземнаго помѣщенія, въ которомъ случилась вся эта исторія. Мы, говорила бабушка, не жалѣли расходовъ, но всѣ усилія открыть что-либо оказались тщетными. Только въ одномъ глухомъ лѣсу, около Волынскаго, оказались груды камней, сваленныхъ въ глубокую яму.

— Все скрыли проклятые жиды,—пояснила бабушка.— Удивляюсь одному, какъ они не убили его!..

Послѣ этого происшествія князь Павелъ прожилъ еще три года и медленно хирѣлъ, погруженный въ тихую меланхолію. По временамъ это меланхолическое состояніе переходило въ крайнее безпокойство, почти бѣшенство. Въ особенности сильные припадки такого безпокойнаго состоянія случались съ нимъ предъ Рождествомъ. Въ эти дни онъ буквально не находилъ себѣ мѣста. Онъ томился, стоналъ и метался по всѣмъ комнатамъ; какъ-будто искалъ кого-то.

Бабушка предпринимала всевозможныя средства, чтобы облегчить его страданія. Она возила его по разнымъ монастырямъ и обителямъ. Она выписывала знаменитыхъ докторовъ, свозила даже его за границу, къ извѣстному тогда лондонскому психіатру Гёнтеру, но ничто не помогло.

За нѣсколько дней передъ смертью, онъ сдѣлался необыкновенно тихъ, ясенъ; со всѣми простился, допустилъ къ себѣ священника и, сидя въ креслѣ, тихо скончался, прошептавъ: Кэлла!

Всѣ оставшіяся деньги Мирры были переданы по смерти князя Павла—графу Л..., которому досталось, по наслѣдству, и все его имѣніе, такъ какъ съ этой смертью прекращалась старшая линія князей Сгаборскихъ.

ЛЮДИ и СОБАКИ.

Картинка восточной цивилизаціи.

I.

За синимъ, южнымъ моремъ, которое древніе люди принимали за самую серединку земли и потому назвали «Средиземнымъ» — тянется африканскій берегъ, богатый скалистыми холмами—и на такихъ холмахъ, на самомъ берегу моря раскинулся городъ Тангеръ,

Въ городѣ живутъ арабы, которые въ древности владѣли почти всѣми берегами Синяго Моря. Нѣкогда короли ихъ, халифы, жили въ раззолоченныхъ дворцахъ въ Испаніи и въ Палестинѣ. Всѣ они были правовѣрные и всѣ ожесточенно дрались съ благочестивыми католиками. Благочестивые католики, наконецъ, побѣдили ихъ и теперь показываютъ всѣмъ, какъ замѣчательную древность, раззолоченные дворцы, въ которыхъ нѣкогда жили правовѣрные халифы. И этого мало. Всякіе Фрэнки: французы и англичане, русскіе и нѣмцы—всѣ у которыхъ есть бѣшеныя деньги и желаніе поѣздить и поглазѣть—всѣ ѣдутъ

въ Тангеръ посмотрѣть, какъ живутъ настоящіе арабы.— Для нихъ въ городѣ нарочно выстроены хорошія гостинницы. Онѣ гораздо больше и выше тѣхъ дворцовъ, въ которыхъ когда-то жили правовѣрные халифы.

Въ городъ ведетъ длинная, узкая улица, грубо вымощенная камнемъ. По обѣимъ сторонамъ улицы тянутся низенькіе каменные заборчики. Въ нихъ дверцы ведутъ въ садики съ высокими пальмами и апельсинными деревьями, а на самыхъ заборахъ растутъ агавы и кактусы—съ огромными толстыми, колючими лепешками, вмѣсто стеблей и листьевъ. Все это покрыто сплошнымъ слоемъ пыли и все печется и сохнетъ на жгучемъ солнцѣ синяго, африканскаго неба.

Почти каждый день по этой улицѣ подымаются въ гору кавалькады странствующихъ Фрэнковъ на маленькихъ бойкихъ осликахъ, подгоняемыхъ сзади услужливыми вожатыми въ красныхъ фескахъ.—Ѣдутъ длинные, рыжіе милорды въ сѣрыхъ пиджакахъ и въ шляпахъ, укутанныхъ бѣлыми и зелеными легкими тканями, точно въ чалмахъ.

— О! yes, yes! кричатъ они.—Вотъ настоящій Востокъ! Вотъ настоящіе восточные люди!—и они жадно смотрятъ направо и налѣво въ очки и лорнетки.

— О, Правовѣрные!—кричатъ погонщики.—Сторонитесь скорѣе! Вотъ ѣдутъ настоящіе фрэнкскія собаки! Да хранитъ насъ Аллахъ отъ ихъ нечистаго взгляда!

А по сторонамъ улицы, у заборчиковъ, почти сплошными стѣнами стоятъ бѣдные восточные нищіе — худые, оборванные, высохшіе отъ голода, почернѣвшіе отъ солнца. Все это пришлецы, чужеземцы. У нихъ нѣтъ въ городѣ ни угла, ни мѣстечка. Они могутъ стоять только здѣсь при въѣздѣ въ городъ,—а когда въ девять часовъ вечера городскія ворота запираются, они должны идти ночевать въ полѣ за городъ.

Вотъ у одной двери стоитъ высокій, красивый арабъ, Аль-Джабаръ, въ темномъ изорванномъ бурнусѣ, съ бѣлой накидкой на головѣ.—Онъ стоитъ молча. Неподвижно его темнобронзовое, почти черное лицо, исхудалое, осунувшееся, покрытое пылью. Только глаза его горятъ ярко и пристально смотрятъ на всѣмъ и ждутъ, кто подастъ ему и его больному брату, хорошенькому мальчику, Абассану, который сидитъ у его ногъ. Абассанъ кутается въ толстый бурнусъ и не можетъ согрѣться. Его мучитъ и бьетъ пароксизмъ жестокой африканской лихорадки, отъ которой не согрѣетъ никакой бурнусъ и никакое, даже жаркое, африканское солнце.

Онъ на всѣхъ смотритъ своими выпуклыми, блестящими черными глазами и ворочаетъ во всѣ стороны ярко сверкающими желтоватыми бѣлками.—Онъ смотритъ на всѣхъ: на пеструю толпу фрэнковъ, на длинноухихъ осликовъ, на синее небо, что глубокой чашей опрокинулось надъ всѣмъ, на синее море, которое сверкаетъ и тонетъ въ туманной дали, на высокія пальмы и сѣрозеленые уродливые кактусы—и ему жаль разстаться со всѣмъ этимъ. Ко всѣму этому онъ такъ привыкъ. Молодая жизнь манитъ неудержимо впередъ, въ свои молодыя объятья. Онъ еще многаго не извѣдалъ. Тамъ, на верху, есть цѣлый кварталъ, гдѣ на каждомъ шагу много невиданныхъ вещей, много приманокъ. Тамъ высокіе ярко-полосатые дома, всѣ разукрашенные мелкими арабесками; на нихъ горятъ золотомъ изрѣченія изъ корана по яркому синему или красному полю,—дома таинственные, съ маленькими рѣшетчатыми окошечками и толстыми надежными дверьми. Что-то кроется въ этихъ домахъ?!...

Тамъ, подъ навѣсами, большія торговыя лавки, разубранныя богатыми коврами, и сколько чудныхъ нарядныхъ вещей въ этихъ лавкахъ! Какія шелковыя затканыя золотомъ ткани!

Тамъ все серебро и золото,—все мелкая тонкая работа!—Пояса, браслеты и ожерелья!—Дорогія оправы для кинжаловъ и пистолетовъ! Сколько тамъ янтарю, сколько коралловъ! Сколько бирюзы! Какіе роскошные каменья! А какія сѣдла—имъ и цѣны нѣтъ! На нихъ только ѣздить шейхамъ и фрэнкскимъ королямъ.

Но вотъ проѣхали одна за другой всѣ кавалькады фронковъ; проѣхали богатые марокскіе купцы, толстые, тяжелые, точно мѣшки, наполненные рупіями, равнодушно мигая сонными подслѣповатыми глазками,—и не дрогнула ни одна черта ихъ жирныхъ лицъ. Они отворачивались отъ несчастныхъ и съ отвращеніемъ плевали, приговаривая: «Собаки презрѣнныя! Пророкомъ отверженныя».

Наступилъ уже вечеръ. Солнце опускалось къ морю. Всѣ голодныя, оборванныя, «презрѣнныя собаки» отправились восвояси. Имъ никто ничего не подалъ. Можетъ быть потому, что они не надоѣдали богатымъ фрэнкамъ. Уже на закатѣ солнца, когда оно тихо опускалось подъ пологомъ яркой, горячей зари въ тихія воды синяго моря, и все море горѣло и сверкало чистымъ червоннымъ золотомъ, послышался говоръ и конскій топотъ, и мимо проѣхали двѣ молоденькія, хорошенькія фрэнкскія леди на статныхъ марокскихъ коняхъ.

— Посмотри Бетти!—вскричала одна изъ нихъ,—какой хорошенькій мальчикъ въ бѣломъ бурнусѣ! Жаль только что онъ такой черный...

— Онъ кофейный! — пояснила другая леди и, вынувъ портмоне, бросила Абассану серебрянную полфранковую монету. Алъ-Джабаръ медленно подошелъ, приложилъ руку къ головѣ и къ груди, медленно нагнулся и поднялъ монетку. Леди уѣхала.

Аль-Джабаръ посмотрѣлъ кругомъ и подошелъ къ Абассану.

— Пойдемъ, мое сердце,—сказалъ онъ.—Скоро ночь покроетъ насъ. Солнце садится.

Абассанъ поднялъ голову. Точно тяжелыя камни перекатывались къ ней. Во рту сохло. Воздухъ жегъ и палилъ.

— Дай мнѣ пить!—сказалъ онъ слабымъ голосомъ.

— Пойдемъ домой,—сказалъ Аль-Джабаръ,—тамъ по дорогѣ напьемся у фонтана.

И онъ поднялъ и повелъ Абассана, который шатался и шелъ спотыкаясь.

Они вышли за городъ. Вся мѣстность была перерѣзана холмами и рытвинами, по которымъ весной съ шумомъ катятся потоки мутной воды. У подножья одного скалистаго холма, на перепутьи, былъ маленькій фонтанъ. Онъ былъ заброшенъ. Вода сочилась изъ всѣхъ трещинъ и бѣжала ручейкомъ по мелкимъ камешкамъ.

Аль-Джабаръ усадилъ Абассана и, наполнивъ водою сухую пустую тыковку, которая висѣла у него на поясѣ, поднесъ ее брату. Тотъ жадно припалъ горячими, истрекавшимися губами къ холодной водѣ. Онъ выпилъ всю тыковку и запросилъ еще; но Аль-Джабаръ сказалъ, что нельзя пить много. Онъ намочилъ ему голову, опять полно налилъ водой тыковку, заткнулъ ее пробкой и, поднявъ Абассана, повелъ его домой.

Но Абассанъ не могъ идти. Онъ не прошелъ и двадцати шаговъ, выскользнулъ изъ рукъ брата и опустился на землю. Аль-Джабаръ былъ слабъ. Они съ братомъ уже цѣлыхъ два дня ничего не ѣли; со стономъ и проклятіемъ на судьбу онъ нагнулся надъ братомъ и, съ трудомъ поднялъ его съ земли.

— Обхвати мою шею крѣпче,—сказалъ онъ.

Абассанъ машинально послушался и Аль-Джабаръ понесъ его, шатаясь и спотыкаясь. До мѣста оставалось бо-

лѣе сотни шаговъ. Ночь холодная и сырая спускалась на землю.

Аль-Джабаръ тяжело дышалъ, задыхался. Нѣсколько разъ онъ садился, отдыхалъ немного и затѣмъ снова съ неимовѣрнымъ трудомъ поднимался и несъ своего брата.

По дорогѣ имъ попадались собаки и шакалы, которые, какъ черныя тѣни, проносились мимо.

Была глухая ночь, когдь онъ наконецъ принесъ Абассана домой.

Но что же это былъ за домъ!..

II.

Въ скалистыхъ холмахъ, возлѣ маленькаго озерка, почти высыхающаго лѣтомъ, съ заплесневѣлой, солонцеватой водой, было цѣлое селеніе. Вотъ тутъ-то и пріютились всѣ тѣ бѣдные люди, которымъ не было мѣста въ городѣ или у которыхъ не было денегъ, чтобы построить собственный домишко. Въ городѣ всѣ имѣли свои дома и никто не жилъ на квартирѣ. Мусульманинъ пріютитъ странника-гостя, но не отдастъ въ наймы ни одной комнаты и ни одной конуры на заднемъ дворѣ не уступитъ «презрѣнной собакѣ».

И вотъ эти собаки пріютились подъ открытымъ небомъ въ пещеркахъ и разсѣлинахъ скалъ, Онѣ завѣшивали ихъ отъ солнца изношенными дырявыми бурнусами. Тотъ, которому удалось добыть старую истрепанную циновку, считался богачемъ. Они спали въ тѣхъ же бурнусахъ, не раздѣваясь, спали на тощихъ подстилкахъ изъ жесткихъ листьевъ, прибрежнаго камыша, и только болѣе счастливымъ удавалось доставать ветхія тряпки изношенныхъ ковровъ.

Вокругъ этого первобытнаго селенія «презрѣнныхъ со-

бакъ» помѣщалось другое стадо изъ настоящихъ уже дикихъ собакъ. Онѣ также устраивали свои логова въ скалахъ, рѣдко подходили къ людямъ, бродили ночью вокругъ ихъ конуръ, обнюхивая—не завалилась-ли гдѣ-нибудь, какимъ-нибудь чудомъ, обглоданная до-нельзя, баранья косточка, или не забылъ-ли кто старую, жирную, грязную тряпку, которую можно было бы изжевать съ истиннымъ наслажденіемъ. Впрочемъ, этимъ ремесломъ занимались только тѣ псы, у которыхъ лѣнь была сильнѣе голода и мѣшала имъ идти на фуражировку въ городъ, куда ихъ днемъ не пускали. Всѣ прочіе песики, съ наступленіемъ ночи, бодро пробирались въ городъ, по-одиночкѣ или по-парно и всю ночь бродили по площадямъ и улицамъ. Они жадно обнюхивали всѣ уголки и камешки, ждали подъ окнами: не выброситъ-ли какая-нибудь правовѣрная душа остатковъ своего жирнаго обѣда, а такъ какъ мусульманская цивилизація не доросла еще до помойныхъ ямъ, то правовѣрные безъ церемоніи пользовались этой ассенизаціей собачьихъ желудковъ. Благо, что эта ассенизація ничего имъ не стоила.

Стая голодныхъ песиковъ, дождавшись обычной подачки, съ жадностью бросались на нее. Всѣ они съ пафосомъ грызлись изъ-за каждой косточки и, вылизавъ всѣ камни, отправлялись далѣе, къ другому окошечку. Болѣе свирѣпые и сильные прямо шли къ мяснымъ лавкамъ, гдѣ лежали приготовленные для нихъ кучи бараньихъ кишекъ, внутренностей, испорченнаго мяса и тому подобныхъ деликатесовъ. Но, разумѣется, эти счастливцы принадлежали къ самымъ зубастымъ атлетамъ, т.-е. были, такъ сказать, аристократы собачьей породы.

Такимъ образомъ каждую ночь въ добромъ мусульманскомъ городѣ совершались собачьи оргіи, къ крайнему скандалу всѣхъ заѣзжихъ фрэнковъ. Цѣлую ночь и каждую ночь то тамъ, то здѣсь раздавались неистовый вой и лай

грызущихся песиковъ, и никто не смѣлъ выходить на улицу безъ здоровой палки и фонаря.

Но съ первымъ разсвѣтомъ утренней зари все это зубастое племя, съ сытыми желудками, мирно расходилось по своимъ домамъ въ сосѣдство къ бѣдному, отверженному люду, лишенному даже и этого утѣшенія — служить для ассенизаціи города, въ которомъ благоденствуютъ ихъ правовѣрные братья. Вѣроятно, многіе изъ нихъ въ тайнѣ завидовали сытымъ песикамъ.

Одинъ изъ такихъ песиковъ, здоровая высокая собака, Ханымъ, съ радостнымъ лаемъ и воемъ встрѣтилъ братьевъ далеко отъ ихъ дома. Это былъ воспитанникъ Абассана и самый вѣрный другъ той пещерки, въ которой жили братья и которую никакъ нельзя было назвать домомъ.

Тѣмъ не менѣе цѣлый день деньской Ханымъ сторожилъ усердно этотъ домъ. Онъ стоялъ на порогѣ конурки или лежалъ въ ней и чутко дремалъ, кидаясь съ лаемъ на всякую собаку и человѣка, которые подходили къ входу. Онъ былъ единственная собака, которая принадлежала обществу людей изъ цѣлой стаи собакъ, жившихъ около селенія. Каждый вечеръ, уложивъ спать хозяевъ, онъ отправлялся на фуражировку въ городъ. Но въ этотъ вечеръ ему долго пришлось ждать. Онъ чутко прислушивался къ ночному сумраку, насторожив острыя уши и жадно втягивая воздухъ своей тонкой зубастой мордой. Его косматая сѣрая шерсть то прилегала, то снова ежомъ поднималась на крѣпкой, твердой, какъ кость, спинѣ. Наконецъ, онъ не выдержалъ и тихо, жалобно воя, отправился отыскивать братьевъ.

Когда онъ нашелъ ихъ и кинулся къ нимъ съ радостными прыжками, съ визгомъ и лаемъ, то Абассанъ тихо съ трудомъ приподнялъ голову съ плеча брата и также радостно улыбнулся своему вѣрному другу.

А. П. Зографъ

Ханымъ, проводивъ братьевъ до дома, отправился на фуражировку, бѣгомъ, во всѣ лопатки, чтобы наверстать потерянное время.

Дотащившись, чрезъ силу, до своей конуры, Аль-Джабаръ тихо уложилъ брата на тощую подстилку, подложилъ ему подъ голову соломы изъ своей постели и напоилъ его водой изъ тыковки.

— Ну, теперь спи, моя душа!—сказалъ онъ.—Завтра, можетъ быть, пошлетъ тебѣ облегченіе Аллахъ милосердый. Завтра мы купимъ хлѣба и сыра. Деньги у насъ есть.—И онъ ощупалъ полуфранковую монету въ изорванномъ кошелькѣ, пришитомъ къ бурнусу.

Потомъ, шатаясь, онъ пошелъ къ озерку или, правильнѣе, къ болотцу, которое тускло бѣлѣло, подернутое паромъ среди черной ночи. Онъ проглотилъ нѣсколько глотковъ теплой, вонючей воды, совершилъ омовеніе, намочилъ голову и, помолясь на небо, усѣянное яркими звѣздами, освѣженный, отправился спать.

Голова его кружилась, руки дрожали, но онъ чувствовалъ довольство совершеннымъ подвигомъ, довольство привычнымъ насиженнымъ угломъ и полною возможностью насладиться сномъ—этимъ единственнымъ, величайшимъ богатствомъ каждаго бѣдняка. И онъ повалился почти на голую землю и чуть не съ оника заснулъ, какъ убитый.

Но не могъ уснуть Абассанъ. Онъ даже не могъ повернуться и лежалъ неподвижно, не ворочаясь, на томъ самомъ мѣстѣ, на которое положилъ его братъ. Онъ только тихо шевелилъ горячими губами и чуть слышно шепталъ какія-то безсвязныя рѣчи. Въ его головѣ постоянно вертѣлось колесо самыхъ нелѣпыхъ грезъ. Ему казалось, что онъ лежитъ на серебристой водѣ и эта вода тонкими нитями расходится отъ его головы. Нити тянутся шире и дальше, перекрещиваются, сплетаются, расплетаются. Онъ жадно

ловитъ ихъ губами и не можетъ поймать, а губы горятъ, пухнутъ, страшно пухнутъ и превращаются въ огромныя мягкія подушки: «ахъ какъ хорошо должно быть спать на этихъ подушкахъ!—Но только онѣ горячія»...

Но что это сквозитъ сквозь серебристую, блестящую сѣтку свѣтлыхъ нитей?.. А это фрэнкская лэди, что бросила намъ серебрянную монетку. Добрая лэди! да хранитъ тебя Аллахъ!

Но все вдругъ закутывается сплошнымъ, чернымъ дымомъ и кто-то страшно ворчитъ въ этомъ дыму... Точно громъ гремитъ и перекатывается и притомъ въ самой головѣ Абассана. Онъ силится приподнять эту голову и не можетъ.

«Ба, да это Ханымъ! Что ты лаешь, Ханымъ? Ложись спать!..»—хочетъ сказать онъ. Но истрекавшіяся губы едва шевелятся и бормочутъ какія-то безсвязныя рѣчи...

Но тише, тише становится вокругъ. Голова кружится, точно кто-то тихо качаетъ Абассана на рукахъ. Такъ хорошо! пріятно! И чудныя свѣтлыя, серебристыя нити тянутся безъ конца. Но кто это такъ жалобно воетъ надъ нимъ и такъ сильно царапаетъ его лапой? Только Абассанъ вовсе не чувствуетъ боли отъ этого царапанья; онъ видитъ только, что отъ руки его ползутъ, тянутся во всѣ стороны красивыя свѣтлыя нити... Ба, да это опять Ханымъ царапаетъ его?!. Чего ему надо?.. Ложись спать!.. Абассанъ силится приподнять голову и взглянуть куда тянетъ его Ханымъ. — Что это?.. Человѣческая рука! въ крови! Она лежитъ подлѣ него и кажется Абассану, что эта рука той леди, которая подала блестящую серебряную монетку...

Но вдругъ опять страшный громъ, свалка... Это собаки грызутся.—Ахъ! Ханымъ не давай меня имъ, этимъ етрашнымъ собакамъ!—Онѣ растутъ сплошной стрѣной.—Онѣ наполняютъ воздухъ. Вездѣ смотрятъ ихъ страшныя зубастыя

морды и дико сверкаютъ злые глаза... Но все опять застилаютъ тонкія серебристыя нити. Ахъ какъ онѣ хороши! Онѣ свертываются въ тонкія, блестящія, сверкающія кольца; онѣ быстро кружатся, кружатся и Абассану кажется, что онъ самъ кружится, какъ свѣтлое, серебрянное веретено. Такъ легко, хорошо.

Вдругъ страшная рѣзкая боль въ ногѣ и Абассану кажется, что онъ сильно отдернулъ эту ногу. Но это ему только кажется, а на самомъ дѣлѣ онъ едва едва пошевелилъ пальцами. И снова закружился быстро, быстро... Такъ хорошо! Только воздуху не хватаетъ, дышать нечѣмъ... Онъ задыхается, хрипитъ...

Двѣ собаки подползли, какъ тѣни, и молча, не слышно; урывками начали грызть его ноги. Ханымъ ихъ не видитъ. Онъ напрасно теребитъ, тормошитъ Абассана, стараясь обратить его вниманіе на то, что онъ принесъ ему изъ города...

А въ городѣ былъ цѣлый собачій пиръ. Собравшись на площади, собаки видѣли, какъ по ней мчались верхомъ двѣ женщины, уносясь отъ человѣка, въ темномъ бурнусѣ. Но лошадь человѣка была быстрѣе, онъ заскакалъ имъ впередъ и рубанулъ ягатаномъ ту, которая была ближе къ нему. Женщина упала. Лошадь ея умчалась.

Арабъ слѣзъ съ лошади и подошелъ къ упавшей женщинѣ. Къ нему съ горы подбѣжало трое товарищей. Они обобрали Фрэнкскую женщину. Стащили ея кошелекъ, портфейль, часы, браслеты, дорогіе перстни.—Теперь можно сказать, что она познакомилась съ арабами основательно. —«Надо припрятать собаку»,—проговорилъ тихо одинъ изъ разбойниковъ.—«Не надо»!—сказалъ также тихо другой.— «Видишь—собаки! Съѣдятъ собаку и слѣдовъ не останется».—И дѣйствительно кругомъ была цѣлая стая собакъ. Онѣ навострили уши и жалобно визжали, чуя запахъ крови.

Разбойники ушли. Собаки со всѣхъ ногъ, гурьбой, бросились къ трупу. Въ попыхахъ придавили какую-то голодную, хромоногую. Она съ визгомъ кинулась въ сторону, затѣмъ на трехъ ногахъ, быстро ковыляя, подошла къ трапезѣ. Но у трапезы уже не было мѣста, со всѣхъ сторонъ ее встрѣчали зубастыя морды.

Женщина была еще жива. Она чуть слышно, жалобно стонала. Но собакамъ до этого было мало заботы. Поминутно огрызаясь, ворча и схватываясь съ сосѣдями, онѣ быстро принялись за работу, такъ что кости захрустѣли, и мясо, какъ снѣгъ начало таять подъ ихъ зубами.

Въ это время на оргію явился Ханымъ. Онъ уже издали услыхалъ запахъ свѣжей крови. На одно мгновеніе онъ остановился, не понимая откуда взялся здѣсь такой лакомый пиръ. Но это было только одно мгновенье. Въ слѣдующее мгновенье онъ стремглавъ бросился къ трупу. Песики заворчали, но онъ безъ всякой церемоніи схватилъ одного изъ нихъ за шиворотъ и швырнулъ его артистически на отлетъ. Песикъ ударился въ стѣнку и очутился мертвымъ. Но онъ еще не долетѣлъ до стѣны, какъ Ханымъ мгновенно продѣлалъ ту же операцію съ другимъ собратомъ. Онъ ловко взметнулъ его кверху и собратъ, сдѣлавъ два воздушныхъ пируэта, брякнулся на землю и съ визгомъ поджавъ хвостъ, бросился на утекъ, въ первый попавшійся переулокъ. Всѣ песики пріостановились въ недоумѣніи. Всѣ они принадлежали къ плебеямъ, всѣ были хилыя больныя, трусливыя собаки, и когда Ханымъ давнулъ основательно еще третьяго песика, а четвертаго на лету хамкнулъ за ногу такъ неосторожно, что кость хрустнула, то всѣ песики разомъ поняли, что дѣло дрянь и бросились въ разсыпную. Болѣе трусливые удрали безъ оглядки, поджавъ хвосты. Болѣе храбрые помѣстились въ почтительномъ отдаленіи и начали выжидать, по временамъ жалобно воя и отъ нетер-

пѣнія переминая ногами, или нѣсколько разъ перевертываясь на одномъ и томъ же мѣстѣ.

А Ханымъ принялся за дѣло вполнѣ солидно и аппетитно. Онъ сдѣлалъ честь правой ногѣ трупа и, когда первый голодъ былъ удовлетворенъ и желудокъ достаточно наполнился, онъ вспомнилъ о своемъ хозяинѣ, о несчастномъ больномъ Абассанѣ. Вѣдь онъ любилъ его такъ глубоко, какъ только могутъ любить однѣ собаки.

Наскоро онъ отгрызъ правую руку трупа и съ этимъ лакомымъ запасомъ отправился во всѣ лопатки во свояси.

III.

Солнце только что начинало всходить, какъ весь таборъ поднялся: совершилъ омовеніе, сотворилъ намазъ и молча принялся за обычныя дѣла.

Двое арабовъ проходили мимо конуры, въ которой спали Аль-Джабаръ съ Абассаномъ. Трупъ черной собаки лежалъ на ихъ дорогѣ. Они остановились въ недоумѣніи. Какимъ образомъ попалъ сюда этотъ трупъ?—Вѣрно большая собака забѣжала и околѣла. Но подъ трупомъ была кровь. Собака очевидно была убита.

Одинъ арабъ заглянулъ въ конуру къ друзьямъ и тихо подозвалъ другого.

Въ конурѣ, на порогѣ лежала другая убитая, или загрызенная собака.

Она лежала у окровавленныхъ, обглоданныхъ ногъ мертваго Абассана. Ханымъ обѣ лапы положилъ къ нему на грудь. Онъ не лаялъ, не бросался. Онъ жалобно смотрѣлъ на пришедшихъ и тихо вылъ.

Подлѣ него лежала отгрызенная рука мертвой женщины.

Арабы отошли и быстро распространили тревогу по всему табору.

Всѣ, старые и малые, дѣти и женщины шли, бѣжали, собиралась къ конурѣ братьевъ. Все это кричало, бранилось, голосило, жестикулировало. Алъ-Джабаръ спалъ, какъ мертвый, и только Ханымъ смотрѣлъ блестящими глазами, жалобно завывалъ и вздрагивалъ.

Наконецъ, разбудили Аль-Джабара.

Онъ быстро оглянулся, страшно поблѣднѣлъ, задрожалъ, сильно выругался и, схвативъ увѣсистый камень, изо всѣхъ силъ ударилъ имъ Ханыма.

Ханымъ завизжалъ, отскочилъ, но тотчасъ же опять, дрожа всѣмъ тѣломъ, припалъ къ дорогому для него тѣлу Абассана и принялся лизать его холодную руку.

Разумѣется, онъ никакъ не ожидалъ такой любезной награды за его ночные подвиги со стороны Аль-Джабара.

Вѣдь онъ всю ночь не спалъ и грызся съ собаками, которыя осаждали тѣло Абассана. Свидѣтелемъ тому было два загрызенныхъ песика. Одинъ лежалъ здѣсь, въ пещеркѣ другой валялся на дорогѣ.

Вѣдь это онъ, Ханымъ, принесъ вчера окровавленную руку фрэнкской леди. Онъ, вѣроятно, разсуждалъ такъ: Абассанъ очевидно боленъ. Я поѣлъ фрэнкскую женщину и мнѣ стало легко. Я принесу ему часть ея. Онъ поѣстъ и ему будетъ легко.

Конечно, въ этой логикѣ не доставало многихъ связующихъ посылокъ. Но вѣдь это была логика собаки.

Арабовъ не столько поразила смерть и несчастная судьба обглоданнаго Абассана:—такіе случаи не составляли особенной рѣдкости и диковинку въ таборѣ. Ихъ поразила бѣлая рука фрэнкской леди, въ которую былъ втиснутъ здоровыми зубами Ханыма довольно большой обрывокъ тонкаго кружева, запачканнаго грязью и кровью.

Эта ужасная рука была живая улика. Теперь весь таборъ долженъ откупаться отъ мусульманскаго правосудія. Онъ долженъ нести на его умилостивленіе всѣ жалкіе аббасики, всѣ копѣечки, которыя онъ собиралъ отъ фрэнкскихъ щедрыхъ путешественниковъ, стоя день-деньской на жару, на солнечномъ припекѣ, безъ пищи и питья.

Конечно, улика была пустая. Ее можно было всегда припрятать и не въ ней дѣло. Но весь таборъ очень хорошо понималъ, что случилось въ городѣ что-то необыкновенное, что онъ долженъ отвѣчать передъ мусульманскимъ правосудіемъ. Вѣдь всегда, во всѣхъ такихъ экстренныхъ случаяхъ, это правосудіе обращалось прямо къ табору и уносило изъ него жертву очищенія. И теперь каждый боялся за свою голову.

Тѣмъ съ большимъ ожесточеніемъ всѣ накинулись на несчастнаго Аль-Джабара. Вѣдь его братъ воспиталъ этого поганаго Ханыма. Но Абассанъ лежалъ мертвый, а съ Ханыма нечего взять. Очевидно, за все долженъ отвѣчать Аль-Джабаръ. Онъ виноватъ потому, что нужно-жъ кому нибудь быть виноватымъ. И вотъ, надъ нимъ кричали, его бранили отчаяннымъ образомъ. Бранили его мать, отца, бороду его дѣда, голову его прадѣда.

Аль-Джабаръ слушалъ или не слушалъ. Онъ сидѣлъ молча, какъ мумія, опустивъ голову на колѣни и закрывъ лицо руками, и только по временамъ нервно вздрагивалъ всѣмъ тѣломъ.

Наконецъ, во всемъ таборѣ не нашлось ни одной правовѣрной души, которая не надругалась бы надъ несчастнымъ Аль-Джабаромъ всласть и не оплевала бы его.

Всѣ разошлись и всѣ поспѣшили скорѣе въ городъ узнать, что тамъ случилось.

Аль-Джабаръ продолжалъ сидѣть неподвижно. Прошелъ часъ, два. Онъ не шевелился. Наконецъ, снова раздались

крикливые голоса. Раздался лошадиный топотъ. Пріѣхали солдаты. Крича и ругаясь, они вошли въ пещерку. На нихъ были разноцвѣтныя куртки и оборванныя чалмы, а за поясомъ торчали кинжалы, пистолеты и ятаганы. За плечами каждый солдатъ несъ длинное ружье, съ толстымъ дуломъ.

Одинъ высокій солдатъ подошелъ къ Аль-Джабару и ударилъ его кулакомъ по шеѣ.

— Вставай, собака!—закричалъ онъ.—Ступай, гадина, къ кади! Вырву я бороду твоего отца! Наплюю на могилу твоей матери!

Аль-Джабаръ вскочилъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Солдаты, не переставая браниться и колотить его, крѣпко связали ему руки и повели. Уходя, онъ оглянулся въ послѣдній разъ на трупъ Абассана.

Солдаты посадили его на лошадь. Крѣпко привязали къ сѣдлу и одинъ сѣлъ впереди его. Затѣмъ вся кавалькада мелкой рысью отправилась въ городъ. И всѣ въ таборѣ, крича на всѣ лады, побѣжали за ними.

Въ городѣ передъ домомъ паши собралась большая толпа и громко голосила. Всѣ отчаянно махали руками, кричали и бранили Аль-Джабара.

Паша сидѣлъ на улицѣ подъ большимъ навѣсомъ, на мягкихъ подушкахъ, и курилъ кальянъ. Подлѣ него сидѣлъ Аль-Рахимъ, извѣстный разбойникъ, и тоже курилъ кальянъ. Когда привезли Аль-Джабара, то паша накинулся на него.

— Говори, собака!—кричалъ онъ.—Признавайся, отверженный, какъ ты убилъ фрэнкскую леди? Насъ всѣхъ теперь завоюютъ сердитые фрэнки. Всѣмъ намъ будетъ весьма плохо. Уведутъ насъ въ плѣнъ фрэнкскія собаки. Говори! Признавайся, разбойникъ! Прокляну я душу твоего дѣда и прадѣда!..

Аль-Джабаръ молчалъ. Онъ хорошо понималъ, что говорить ему было нечего. Онъ былъ заранѣе осужденъ, а настоящій разбойникъ сидѣлъ подлѣ паши. И это зналъ весь народъ и находилъ это вполнѣ естественнымъ. Вѣдь Аль-Рахимъ былъ очень богатъ. Онъ былъ извѣстенъ даже Тунисскому бею и постоянно доставлялъ разныхъ женщинъ въ его гаремъ.

— У тебя, собака,—продолжалъ паша,—была найдена рука фрэнкской леди. Обыщите его сейчасъ-же!—закричалъ онъ.—У него вѣрно найдутся всѣ вещи фрэнкской женщины.

Аль-Джабара обыскали, встряхнули его платье и новенькій полуфранковикъ вывалился изъ его кармана.

— Вотъ, вотъ собака!—закричалъ паша.—Откуда у тебя эта монета?... Вѣдь она принадлежала френкской женщинѣ. Это ясно какъ день.

И паша на этотъ разъ сказалъ совершенную правду.

— Повѣсить собаку!—закричалъ онъ.—Эй, солдаты! Ведите вѣшать презрѣннаго.

Аль-Джабара отвели на маленькую площадку, позади дома паши.

Тамъ стояла висѣлица. Всѣ столпились около нея и замолкли въ ожиданіи интереснаго зрѣлища...

. . . . . .

Черезъ полчаса тѣло несчастнаго тихо качалось на перекладинѣ. И вплоть до вечера приходилъ народъ, ругался и плевалъ на повѣшаннаго. Пріѣзжали и милорды, и леди посмотрѣть на жертву мусульманскаго правосудія. Вѣдь это такъ интересно!...

Поздно вечеромъ, когда весь городъ уже спалъ, около висѣлицы очутился Ханымъ. Всю ночь онъ просидѣлъ около тѣла Аль-Джабара, опустивъ голову и тихо, жалобно воя.

По утру подошли къ висѣлицѣ солдаты. Одинъ изъ

нихъ схватилъ камень, отчаянно выругался и запустилъ его въ Ханыма. Камень глухо ударился по его ребрамъ. Онъ жалобно завизжалъ, залаялъ, легъ на землю и плотно прижался къ висѣлицѣ. Солдатъ подошелъ, стиснувъ зубы, вынулъ изъ-за пояса длинный пистолетъ и, выстрѣливъ въ упоръ, размозжилъ Ханыму голову....

АБУ-ГАССАНЪ

(Сказка).

Далеко, далеко, тамъ, гдѣ на высокихъ тонкихъ башняхъ горятъ золотые полумѣсяцы, гдѣ блестятъ изразцовые купола, гдѣ финиковыя пальмы уходятъ въ синее небо вѣерными вершинами, жилъ былъ, а можетъ быть, и теперь живетъ, добрый человѣкъ Абу-Гассанъ.

Много было всякаго добра въ его огромныхъ кладовыхъ, и все къ нему какъ съ неба валилось. Шли чуть не каждый день, переваливаясь съ боку на бокъ, цѣлые караваны вьючныхъ верблюдовъ и привозили къ его кладовымъ изъ далекихъ странъ и тонкія, пестрыя шали, и писанные золотомъ, звонкіе клинки ятагановъ, и яшмовыя чаши, и голубую бирюзу, и красные рубины, и крупный серебристый жемчугъ, и тяжелые, чистаго золота, слитки. Всѣмъ торговалъ Гассанъ, всего у него было вдоволь.

Каждый день вставалъ онъ ранёхонько, творилъ намазъ, глядя на восходящее солнце, и твердилъ стихъ изъ Корана: «Отри слезу вдовицы, помоги неимущему, накорми алчущаго, напой жаждущаго».

А жаждущіе, алчущіе, хромые, слѣпые, убогіе, всякіе нищіе и факиры давно уже стояли цѣлыми толпами на его широкомъ дворѣ и ждали его выхода.

Выходилъ Абу-Гасанъ, садился на широкій пестрый коверъ, на мягкія атласныя подушки, курилъ кальянъ изъ длиннаго чубука. А невольники его и приказчики выносили цѣлые мѣшки цехиновъ и рупій, и щедро одѣляли всѣхъ просящихъ и чающихъ.

И вся толпа кричала: «великъ Аллахъ и пророкъ его! Великъ халифъ Абу-Нассанъ-Альбенасаръ и вѣрный рабъ его Абу-Гассанъ, утѣха человѣчества!»

А поэты выходили изъ толпы, низко кланялись Абу-Гассану, сложивъ руки на груди, и затѣмъ громко пѣли:

«Солнце ласково сіяетъ на всѣхъ людей и грѣетъ ихъ щедро лучами своими. Такъ грѣетъ своими щедротами мудрый Абу-Гассанъ всѣхъ убогихъ и страждущихъ! Аллаху слава!

«Роза изливаетъ ароматъ свой въ долинѣ Гаразэма. Такъ изливаются милости изъ благоухающаго сердца Абу-Гассана на всѣхъ несчастныхъ. Аллаху слава!

«Ключъ утоленія течетъ изъ души его, звѣзды мудрости сіяютъ въ глазахъ его, амбра состраданія исходитъ изъ устъ его. Онъ великъ! Онъ утѣха человѣчества! Аллаху слава!»

И Абу-Гассанъ давалъ каждому поэту по горсти цехиновъ, для вдохновенія.

Затѣмъ выступали дервиши и факиры въ грязныхъ лохмотьяхъ, въ звѣриныхъ шкурахъ, съ бородами до земли. Они кланялись низко въ смиреніи своихъ сердецъ «утѣхѣ человѣчества» и говорили ему:

— Нѣтъ Бога, кромѣ Бога, а Магометъ пророкъ его! Двери Эдема открыты для праведныхъ. Свѣтлыя гуріи ждутъ ихъ на лонѣ вѣчности. Добрый Ангелъ Джебраилъ принимаетъ ихъ души на смертномъ одрѣ. Полное блаженство— удѣлъ всѣхъ скорбящихъ и пекущихся о страдающемъ человѣчествѣ!

И Абу-Гассанъ давалъ каждому факиру по горсти рупій, въ видѣ задатка на будущее блаженство.

И онъ думалъ, что онъ дѣйствительно утѣха человѣчества, что изъ него исходитъ ключъ утоленія скорби и исцѣленія всякихъ сердечныхъ ранъ и недуговъ. Одинъ разъ онъ поужиналъ вплотную рисовой кашей съ дамасскими финиками, сотворилъ намазъ и легъ спать.

Вдругъ среди ночи онъ услыхалъ голосъ, который говорилъ ему: «вставай, Гассанъ, идемъ!»

Онъ открылъ глаза и увидѣлъ, что какой-то черный, волнующійся призракъ стоитъ предъ нимъ.

— Великъ Аллахъ!—сказалъ Абу-Гассанъ съ изумленіемъ и ужасомъ.—Кто ты?

— Я Гардіилъ, Ангелъ скорби,—отвѣчалъ призракъ.—И Гассанъ увидалъ, что это былъ дѣйствительно Ангелъ въ длинной черной одеждѣ. Тонкія брови его блѣднаго лица были сдвинуты. Изъ-подъ опущенныхъ, сжатыхъ вѣкъ катились слезы.

— Вставай, Гассанъ, утѣха человѣчества, летимъ, и ты увидишь, что такое значитъ горе людское!

И онъ взялъ Гассана за руку, и самъ собою, невольно, Гассанъ поднялся съ постели и вылетѣлъ вмѣстѣ съ Ангеломъ въ широкое окно, сквозь которое ярко свѣтилъ полный мѣсяцъ.

Быстро летѣли они въ тепломъ ночномъ воздухѣ. Подъ ними темнѣли фиговые сады, кипарисовыя кладбища и сверкали фонтаны. Высоко летѣли они надъ спящими башнями минаретовъ, все мелькало въ прозрачномъ, серебристомъ туманѣ. И наконецъ, ничего уже болѣе не видалъ Гассанъ, кромѣ прозрачнаго тумана.

— Смотри,—сказалъ Ангелъ,—и ты увидишь первые зачатки людского горя!

Изъ необъятнаго тумана выступила, подобно картинѣ

волшебнаго фонаря, широкая, угрюмая пустыня. Какіе-то странные образы, обросшіе волосами, покрытые звѣриными шкурами, лазили по утесамъ и прятались въ темныя пещеры. Прислонившись къ искривленному старому дереву, сидѣла женщина и кормила грудью ребенка. Она робко, испуганно оглядывалась по сторонамъ, и вдругъ увидѣла большого чернаго медвѣдя, который выставилъ изъ-за утеса свою длинную широколобую голову. Быстро вскочила она и съ пронзительнымъ воплемъ обхвативъ крѣпко ребенка, побѣжала, спотыкаясь, по утесамъ. Но медвѣдь также быстро бросился за ней. Множество людей въ звѣриныхъ шкурахъ выскочило изъ пещеръ и побѣжало за ними въ погоню съ какимъ-то страннымъ оружіемъ.

Поскользнулась женщина, покатилась внизъ, выронила ребенка. Стрѣлой бросился на него медвѣдь, схватилъ его широкой пастью и, яростно рыча, въ три прыжка скрылся съ своей добычей, преслѣдуемый стрѣлами и криками странныхъ людей въ звѣриныхъ шкурахъ. А женщина, какъ безумная, дико озираясь, пошла, сѣла опять подъ искривленное, старое дерево, опустивъ голову на колѣни. По временамъ она поднимала ее, оглядывала все кругомъ, и протяжный заунывный стонъ вылеталъ изъ ея груди. Въ этомъ воплѣ было столько тоски и безвыходнаго горя, что сердце Абу-Гассана сжалось отъ боли.

— Улетимъ, пожалуйста,—сказалъ онъ Ангелу.—И они улетѣли.

Новая картина выплыла передъ ихъ глазами изъ серебристаго тумана.

Цѣлая толпа народа стояла кругомъ и весело смотрѣла, какъ крестьянинъ, съ длинной бородой, въ сѣромъ кафтанѣ, водилъ большого медвѣдя на цѣпи. Медвѣдь прыгалъ, а крестьянинъ заставлялъ его кланяться всѣмъ въ ноги.

— Аллахъ! Аллахъ!—сказалъ Гассанъ.—Человѣкъ побѣдилъ звѣря.

— Много горя прошло,—сказалъ Ангелъ скорби,—много пролито крови и слезъ, прежде чѣмъ совершилась эта побѣда. Но если-бъ не было этой крови и слезъ, этой борьбы, то не было-бы и побѣды!

Полетѣли дальше. И новая картина открылась передъ ними. Въ какомъ-то тускломъ, сѣромъ туманѣ развернулась большая равнина, скучная, низменная, болотистая. Какая-то приземистая деревушка пріютилась среди болотъ, подъ чахлыми, искривленнымм ивами и тощими березами. И видитъ Гассанъ, какъ бродятъ люди въ этой деревушкѣ, блѣдные, больные, опухшіе, съ большими зобами. Они ходятъ, какъ сонные, или падаютъ и умираютъ, какъ мухи осенью. Видитъ Гассанъ, какъ несутъ, везутъ гроба на кладбища, подъ тощія березы, и слышитъ, какъ стонутъ, плачутъ матери и жены, провожая эти гроба. Онъ видитъ, какъ въ грязи, среди улицы лежатъ пьяные, какъ свиньи въ болотѣ, и спятъ мертвецкимъ сномъ.

— Горе, тяжелое горе тяготѣетъ надъ ними,—говоритъ Ангелъ скорби.—Они идутъ темными, глухими закоулками, пока нужда не выведетъ ихъ на большую, торную дорогу, на широкій, свѣтлый путь. Но немногіе выйдутъ на него. Умираютъ всѣ слабые и нищіе духомъ и тѣломъ. А остаются крѣпкіе, богатые духомъ и мыслью.

И Ангелъ скорби махнулъ рукою. И вдругъ вся картина совершенно измѣнилась. Болота какъ не бывало. Среди цвѣтущей долины, покрытой фруктовыми садами и тучными пажитями, стоялъ большой, красивый городъ. Къ нему шли желѣзныя дороги, множество фабрикъ толпилось вокругъ него и онѣ дымили своими длинными трубами. Тутъ говоръ, бойкая жизнь кипѣла и катила впередъ на всѣхъ парусахъ.

— Аллахъ, Аллахъ!—сказалъ Гассанъ,—неужели ма-

ленькая деревушка могла превратиться въ такой большой городъ?..

— Нужда родитъ горе,—сказалъ Ангелъ,—горе ведетъ къ знанію, а знаніе ведетъ человѣка впередъ. Нужда всему научаетъ!

— Но отчего же,—спрашиваетъ Гассанъ,—изъ этихъ большихъ домовъ съ длинными трубами, откуда несется сильный стукъ, выходятъ люди такіе блѣдные, изнуренные. А эти женщины, отчего онѣ плачутъ? А эти дѣти, отчего они такъ худы и ходятъ, опустивъ голову?

Но ничего не отвѣчалъ на это Ангелъ скорби. Онъ молча полетѣлъ дальше, и Гассанъ за нимъ.

Давно уже исчезъ шумный городъ, а они все летѣли. Широкими волнами разстилалась, клубилась передъ ними какая-то сѣрая угрюмая мгла. Порой откуда-то налеталъ вѣтеръ, разрывалъ, уносилъ клочками этотъ тяжелый, холодный туманъ, и тогда мѣстами въ этихъ просвѣтахъ открывались цѣлыя толпы страшныхъ, темныхъ призраковъ. Они роились, махали руками, неслись куда-то, толкая и опрокидывая другъ друга. Глухой, несмолкаемый гулъ стоялъ надъ ними.

Сильнѣе, порывистѣе становился вѣтеръ, онъ несся вихремъ, онъ вылъ и стоналъ, съ бѣшенствомъ рвалъ волны тумана и гналъ и уносилъ ихъ далеко. Необозримое пространство развернулось передъ Гассаномъ, пространство, полное все тѣми же волнующимися призраками. Онъ смотрѣлъ направо и налѣво, онъ оглядывался назадъ, онъ смотрѣлъ на всѣ четыре стороны свѣта и на всѣхъ четырехъ сторонахъ свѣта мелькали, волновались все тѣ же темные призраки, и, казалось, не было имъ нигдѣ ни конца, ни предѣла.

— Это мое царство! Это великое море—горя людского,—сказалъ Ангелъ скорби, и они незамѣтно спустились къ

этому морю, и глухой гулъ, слышный издали, превратился въ нескончаемый, оглушительный стонъ, плачъ и вопль.

И видѣлъ Гассанъ, какъ отцы убивали дѣтей своихъ, чтобы не видать, какъ они умираютъ съ голода передъ ихъ глазами. Онъ видѣлъ, какъ матери несли на рукахъ трупы своихъ родныхъ дочерей, изуродованные и облитые кровью. Онъ видѣлъ дикіе, потухшіе глаза этихъ матерей, обезумѣвшихъ отъ сокрушающаго горя.

Онъ видѣлъ, какъ люди дрались и убивали другъ друга изъ-за клочка земли, изъ-за куска хлѣба. Онъ видѣлъ, какъ они ѣли землю, чтобъ не умереть съ голоду и все-таки умирали. Онъ слышалъ со всѣхъ сторонъ звонъ цѣпей и видѣлъ, какъ призраки стонали и метались подъ ихъ тяжестью, и не могли ихъ сбросить.

А вѣтеръ гудѣлъ надъ толпой, и заглушалъ ея вопли, и вылъ, и стоналъ, и пѣлъ заунывную пѣсню:

Горе людское, горе святое!
Ты разлилось какъ широкое море.
Что же ты, горе, стонешь надъ міромъ?
Плачемъ младенца, старческимъ стономъ,
Стонешь надъ бѣднымъ, стонешь надъ сирымъ,
Звенишь надъ могилой тоскующимъ звономъ.

И видѣлъ Гассанъ, какъ изъ всей толпы выдѣлялись призраки и поднимались надъ ея уровнемъ. Они указывали этой толпѣ на какой-то тусклый свѣтъ, который чуть-чуть мерцалъ на дальнемъ горизонтѣ.

— Это тѣ,—сказалъ Ангелъ скорби,—которые ощутили въ сердцахъ своихъ всю тяжесть людского горя и проникались къ людямъ глубокимъ состраданіемъ и любовью; тѣ, что встали выше толпы и видятъ впереди свѣтъ истины, какъ избавителя отъ страданій. Они указываютъ на него людямъ и—смотри, что будутъ дѣлать съ ними люди!— И Гассанъ увидѣлъ, какъ толпа бросала грязью въ этихъ

немногихъ, какъ она побивала ихъ каменьями и топтала въ пыли подъ ногами.

И Ангелъ скорби торопилъ ихъ погибель.

Жгли и мучили ихъ люди. Они ввергли ихъ въ великое точило и давили ихъ, и красный виноградный сокъ лился изъ точила, а брызги его летѣли во всѣ стороны свѣта и пятнали грудь Ангела скорби.

И все, что дано было людямъ во благо, все захватили сильные міра и князи князей его. И видѣлъ Гассанъ, какъ шли они величественной поступью, помахивая золотыми уборами и блестя багряными плащами. И слышалъ онъ, какъ земля колебалась и стонала подъ ихъ ногами, и былъ шумъ отъ одеждъ ихъ, какъ шумъ отъ водъ многихъ. Онъ видѣлъ, какъ эти сильные міра были сильны своимъ златомъ, и какъ несли этихъ золотыхъ тельцовъ, на своихъ плечахъ, блѣдные, изнуренные люди, женщины и дѣти. И, смотря на ихъ скорбныя, изнуренныя лица, Абу-Гассанъ невольно началъ искать у пояса свой кошелекъ. Онъ нашелъ его. Кошелекъ оказался цѣлымъ большимъ мѣшкомъ, полнымъ цехиновъ. Гассанъ жадно захвалъ ихъ цѣлыя пригоршни и началъ кидать въ толпу.

Съ жадностью бросилась она на это золото, призраки, блѣдные, изнуренные, какъ голодные звѣри, ловили, рвали его другъ у друга, и тотъ, кто больше захватилъ, тотъ влѣзалъ на другихъ, и самъ становился золотымъ тельцомъ.

Мигомъ опустѣлъ кошелекъ, а мимо Гассана шла все та же нескончаемая толпа голодныхъ и нуждающихся; она также сгибалась подъ тяжестью труда и горя и не было конца этимъ угнетеннымъ и скорбящимъ. У Гассана опустились руки.

— Аллахъ!—сказалъ онъ.—Неужели имъ нѣтъ выхода, и одни должны быть на верху, а другіе внизу?

— Еще не приспѣло время великой жатвы,—сказалъ Ангелъ скорби.—Еще долго будутъ волноваться волны людского горя и не скоро люди поймутъ его смыслъ. Долго еще будетъ продолжаться мое тяжелое царство. Легче будетъ гнетъ, но сильнѣе будутъ его чувствовать люди, и чѣмъ невыносимѣе будетъ ихъ скорбь, и плачъ, и стенаніе, тѣмъ быстрѣе и вѣрнѣе будутъ идти они къ истинѣ, и истина, наконецъ, освободитъ ихъ отъ всѣхъ страданій. Спи же спокойно, Гассанъ, утѣха человѣчества! Дѣлай добрыя дѣла и люби людей; но если бы камни твоего дома разсыпались въ прахъ, и каждая пылинка превратилась бы въ горы золота, и тогда ты не засыпалъ бы имъ скорбнаго пути человѣческаго, ты не остановилъ бы великаго дѣла горя людского.

И Ангелъ скорби махнулъ рукой, и отъ этого мановенія Гассанъ вдругъ полетѣлъ стремглавъ внизъ, въ какую-то громадную бездну, которая вся была, полна все тѣми же, стонущими, изуродованными призраками. Они были въ крови, гремѣли цѣпями, протягивали къ нему свои длинные костлявые пальцы, съ крикомъ, гамомъ и хохотомъ кружились и гнались за Гассаномъ. Онъ летѣлъ прямо внизъ, туда, гдѣ ярко свѣтило какое-то красное пламя. Онъ летѣлъ все глубже и глубже, крики становились громче и громче. Пламя нестерпимымъ свѣтомъ слѣпило ему глаза. Наконецъ, въ ужасѣ, онъ открылъ ихъ и опять зажмурилъ...

Прямо въ нихъ било своими лучами восходящее солнце. Оно свѣтило сквозь окно, изъ котораго ночью вылетѣлъ Гассанъ. И лежалъ онъ на своей постели, а на дворѣ давно уже ждалъ его новый караванъ, и верблюды дрались и неистово кричали.

— Аллахъ, Аллахъ! — сказалъ Гассанъ, — какая чепуха можетъ присниться человѣку! А все это оттого, что я поѣлъ вчера вечеромъ много рисовой каши съ дамасскими

финиками.—И онъ быстро вскочилъ съ постели, сотворилъ омовеніе, сталъ на колѣни на коверъ, и, жмурясь отъ блеска восходящаго солнца, началъ твердить, перебирая четки:

— Нѣтъ Бога, кромѣ Бога и Магометъ пророкъ его! Онъ премудръ! Онъ сказалъ: отри слезу вдовицы, помоги неимущему, накорми алчущаго, напой жаждущаго.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

ПЕРВАГО ТОМА.

		Стр.
1.	Слово	1
2.	Въ потьмахъ (сказка)	4
3.	Князь Костя (разсказъ)	102
4.	Двѣ стклянки (сказка)	251
5.	Мирра (Рождественскій разсказъ)	266
6.	Люди и собаки (картинка восточной цивилизаціи)	292
7.	Абу-Гассанъ (сказка)	310

113

t.81

PG 34
V2
v.1

Stanford University Libraries
3 6105 001 725 865

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

SEP 23 1998

SEP 22 1998